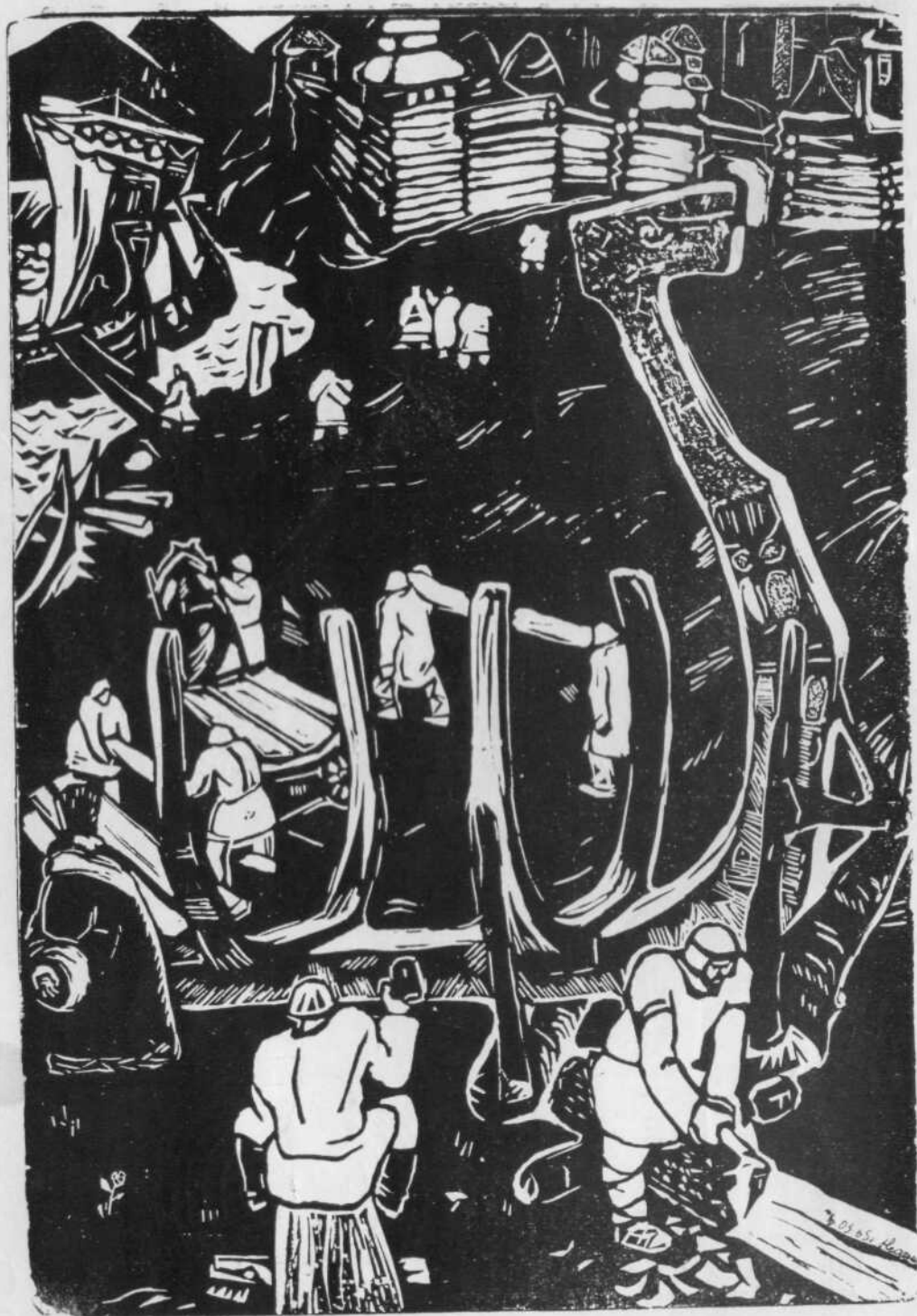




БАЙКАЛ

1968

1



Г. НЕДЕЦ. Первопроходцы (линогравюра).

Выходит
один раз
в 2 месяца
на русском
и бурятском
языках

Год издания
четырнадцатый

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ

Ц. НОМТОЕВ. Вечный огонь.	3
В. ЧИЛИКИН. Высота.	4
В. КУЗНЕЦОВ. Отцу. Парад сорок первого года. Шла весна на танках.	4
В. ПАНЧЕНКО. Цветы под облаками.	80

ПРОЗА

М. МЕЛЬЧАКОВ. Расколдованное место, повесть.	7
А. СТРУГАЦКИЙ, Б. СТРУГАЦКИЙ. Улитка на склоне, фантастическая повесть.	35
Рэй БРЕДБЕРИ. Карлик, рассказ.	138

В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО

В. ЗАИЦЕВ. Боги приходят из космо- са (окончание).	32
---	----

50 ЛЕТ СОВЕТСКОЙ АРМИИ

Его имя — призыв к подвигу.	
П. КУРОЧКИН. Гордость советской артиллерии.	73
А. ГОЛАНТ. Слушатель академии.	74
А. ФРОЛОВ. Бойцы вспоминают...	75
В. ПУЗИКОВ. Так сражались борсоевцы.	76
Н. СЕМЕНОВ. Где опасно — там и Бор- соев.	77
Бурятский Чапай (из письма ветеранов- борсоевцев).	78
Ж. ТУМУНОВ. По военным дорогам.	82
Е. ГОЛУБЕВ. С неба — в бой.	84
Б. ШАРАКШАНЭ. Бойцы невидимого фронта.	86

ОРЛЕНОК

В. ИРКУТ. Красный лед, рассказ.	92
Г. ГРАУБИН. Мучитель. Куропаткины дома (стихи).	97

1

январь—февраль

1968

БУРЯТСКОЕ
ГАЗЕТНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

В. НАЙДАКОВ. Актер, писатель, драматург.

98

ИЗ ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ

Арк. БЕЛИНКОВ. Поэт и толстяк.

103

ОЧЕРКИ И ПУБЛИЦИСТИКА

А. БАЛЬБУРОВ. На Угрюм-реке.

110

Д. ЖАЛСАРАЕВ. В стране гор и солнца.

115

Н. ЗАКУСИНА. Здравствуй, Байкал!

122

АВИАЦИЯ И КОСМОС — ВЕК XX

Ю. ГАРНАЕВ. Над крышами Европы.

127

Б. ЛЯПУНОВ. Фантасты о космосе.

133

Г. СЕРЕБРЯКОВА. О других и о себе.

144



Главный редактор Африкан Бальбуров.

РЕДКОЛЛЕГИЯ: Владимир Бараев (заместитель главного редактора), Юрий Быков, Юрий Гагарин, Георгий Граубин, Валентина Каржаубаева (ответственный секретарь), Исай Калашников, Барадий Мунгонов (редактор отдела прозы), Владимир Петонсв (редактор отдела критики и поэзии), Константин Седых, Михаил Степанов, Алексей Уланов, Гунга Чимитов (ответственный секретарь).

Цокто НОМТОЕВ

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ

*Памяти земляков-ульдургинцев,
павших в сражениях
Великой Отечественной войны*

Голубая грань
горизонта,
степь зеленая
и тайга—
моя родина,
мое тоонто,
дорогой улус Ульдурга...
Я стою в молчании
гордом,
по-солдатски — к виску ладонь:
на груди земли,
словно орден,
загорелся
Вечный
огонь!
Будут воды журчать спокойно,
будет мирным простор степной...
Будет вечная память воинам,
не пришедшим с войны
домой...
Бушевала метель
свинцовая,
и ушли они
бить врага,
и сложили отважные
головы
твои баторы,
Ульдурга.
Материнским наказам
преданны,
и заветам отцов
верны,
орошенную кровью
Победу
принесли сыновья с войны.
Принесли на плечах
бессмертья,
через трудные годы
битв,
отдав жизни свои
в расцвете
счастья, юности и любви...

Чтобы маки
в степи пылали,
чтоб в степи колосился хлеб,—
не вернулись баторы.
Пали
молодые,
в расцвете лет...
Но у тех,
кто живой и здоровый,
кто продолжил геройский род,
под знаменами
отчей Славы
память преданная встает!
Как немеркнувшее сказанье —
от отцов,
матерей
и жен —
не вернувшимся
с поля брани
вечный пламень огня
зажжен!
И пылают цветы,
как искры,
как сыновняя клятва
сама,
у подножия обелиска,
у святого для всех холма...
Я стою в молчании
гордом,
по-солдатски—к виску ладонь:
на груди земли,
словно орден,
подыхает Вечный огонь!

Перевел с бурятского Ю. Игумнов.

Владимир ЧИЛИКИН

ВЫСОТА

Живем порою мы
Но вот однажды
суровым голосом диспетчера
грозой омытый небосвод.

Нот здесь,
за взлетной полосой,
ему ты в верности поклялся,
сомкнув навечно
над собой
тугие своды плексигласа.

Тут риска
и стремленья смесь!
И что бы там ни говорили,
от жажды жить,
от жажды смечь

мы иногда
ломаем крылья.

И возвращаемся домой
в последний раз —
по вертикали...
...В ларингофон
врывался зной
и облака
с крыла стекали.

Смещение
роковой черты,
неясных красок,
звездной просини...
...А чье-то сердце
в небо просится —
ему нельзя
без высоты.

Вячеслав КУЗНЕЦОВ

ОТЦУ

И помню ощущение пустоты,
когда узнал, что не вернешься ты.

И жила
и образ твой
в себе хранил,
ведь ты в бою
Россию заслонил!..

Смотрю на фотографию твою,
растерянности сердца не таю.

Мальчишка!..
И сдается в этот миг:
ты не отец,
ты просто мой двойник.

Ты за меня остался на войне,
и вся теперь ответственность
на мне.

Мне жить и жить.
В борениях стареть
и на тебя, на юного, смотреть...

ПАРАД СОРОК ПЕРВОГО ГОДА

Настанет час,
настанет,
врага загоним в гроб!..
...Москва в аэростатах
и в рывтинах от бомб.

По жерлам мрачных улиц
с разбитых автострад
шли воины,
сутулясь,
на грозный тот парад.

С угрюмостью на лицах,
пропахшие огнем
шли молча по столице
нерадостным тем днем.

Небритые,—
рядами.
Живые,—
блещет медь!
Шли молча сквозь рыданье,

шагали
через смерть.

Парадный шаг
печатая,
под снегом и дождем
по траурной брусчатке
шли перед вождем.

Шатался ветер шальный,
устав от куража.
Шли торопливым шагом,
равнение держа.

По площади, по Красной,
одетые в сукно..
А что там дальше —
ясно.
В глазах черным-черно.

Но видела Россия,
ослепшая от слез,
и слышала Россия,
оглохшая от гроз!

ШЛА ВЕСНА НА ТАНКАХ

Весь мир внимал орудьям и моторам,
что клочкотали, руша и пыля.
Весна на танках шла по косогорам,
горбатилась и плавилась
земля.

Сгорали звезды на ветру том лютном
над братскими могилами полков.
К мажорным и торжественным салютам
примешивался плач российских вдов...

Солдаты шли, презрев огня кипенье,
само бессмертье смертью покорив.

Свидетельствую:
был в том наступлении
поистине космический порыв!

Гудел огонь, бетон и сталь корбя,
а города —
в щебенке и в золе...

Но шла весна на танках
по Европе,
и это
было главным на Земле.



Мих. Мельчаков

РАСКОЛДОВАННОЕ МЕСТО

ПОВЕСТЬ

Новое имя в литературе обычно связано с молодостью. И это закономерно. Начиная самостоятельную жизнь, человек пристально вглядывается в огромный и сложный мир, удивляясь его многокрасочности и многозвучности, открывая явления и вещи, поражающие воображение: это удивление, эти открытия будят мысль молодого художника, движут его перо.

Михаил Григорьевич Мельчаков далеко не молод, ему 45 лет. Его специальность — сплавщик леса. Должность — начальник рейда Селенгинской лесоперевалочной базы. Писал он раньше разве что в стенную газету. И вот его повесть — произведение самобытное и любопытное. В ее композиции, в языке автора, в речи героев без труда угадываются мотивы и строй русских песен, сказов и сказок, но при всем этом произведение остается самостоятельным, оригинальным. Мельчакову не нужно было идти по пути тех литераторов, которые, обильно уснащая речь своих героев пресловутыми «чаво», «каво» и «однако», думают, что пишут так, как говорит народ. Русский язык, а если точнее — язык сибирской деревни, то затейливый, как кружевная вязь, то холодный и острый, как лезвие бритвы, то ласковый, как лепет ручья, то лукавый, как улыбка деревенской красавицы, то грубый и корявый, как корневище лещина, но всегда точный и звучный — родная стихия Михаила Мельчакова. Впрочем, читатели и сами убедятся в этом. Конечно, его повесть, как всякое первое произведение, несет на себе следы неопытности, но опыт — дело постоянное.

Мельчаков работает много и серьезно. Он из тех, кто приходит в литературу не только с удивлением перед многокрасочным миром, но и с огромным запасом жизненных наблюдений, с мыслями, выношенными и выстраданными, ему есть что сказать.

ПРОЛОГ

*На краю села,
Где метель мела,
Хата старая
Приютилася.*

*Приютилася,
Покосилася,
На костыль нужды
Привалилася.*

*В хате той мужик
На одре лежал.
Над его двором
Ворон черн летал.*

*Глядел ворон тот
Под гнилой заплот,
Где без сил Серко
Упадет вот-вот.*

*У одра в лаптях
Парень млад стоял,
Парень млад стоял,
В кулачок рыдал.*

*— Не рыдай, сынок, —
Говорил отец, —
— Мобыть, голоду
И придет конец.*

*Изведут, mobsьть,
Кровососов всех,
И тебе, mobsьть,
Будет час утех.*

*А теперь прости,
Если что не так.
На нужду возьми
Под крестом пятак.*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Привалилась наша Коневка своими огородами и засеками к подножию сибирской тайги, как истрепанное ветрами перекасти-поле к высокому и прочному забору. Деревня была такой ветхой и потому с виду легкой, что мне всегда казалось: не прегради ей путь эта вечно-зеленая стена — перевернется она от самого слабого ветерка вверх окладными венцами. Мне даже хотелось, чтобы ее перевернуло и разрушило. Ненавидел я свою Коневку, потому что коневцы презирали и преследовали меня — и только за то, что я был сураз. Прильнуло это прозвище ко мне задолго до появления на свет, когда заметили коневцы у моей матери «востренькое» брюшко. Случилось это, по словам моей бабушки Марфы Абакумовны, когда моего дядю Васю медведь задрал, а дядя Петрован на японской войне сгинул. Из-за потери сыновей обуяло тогда дедушку горе, и начал он его в самогонке топить.

— Никакой подмоги в доме от его не было, одна только поруха, — рассказывала бабушка. — Поедет, бывало, по первому санному пути к приискателям в тайгу лук продать, чеснок, капусты кадушку, грибы соленые, маслице, которое летом с бедой пополам скапливали, а обратно ни с чем вернется. Не токмо денег каких, так ни горшков, ни мешков домой не привезет, без шапки и рукавиц зайвится. На руках у меня в ту пору еще трое было. Ну и того... пуще прежнего прихватила семью нужда. Приехали как-то в нашу Коневку монашки не монашки, одним словом, бабы богомольные. Жили они где-то далеко на большой таежной полянке, не то в монастыре, не то какой-то набожной артелью. Ездили по деревням, называли себя радательницами христовыми и брали к себе на воспитание в бедных семьях детей-подростков. И у меня они стали просить среднюю дочку — Феклу, твою потомошную мать. Как ни жаль было, а отдать пришлось. Подросла моя девка и обмонашилась так, что, бывало, не перекрестимши рта, не позевнет. И до тридцати шести годков так-то. А на тридцать семом году угораздило ее родить тебя тожно околь-

ными путями, без законного твоего отца. Вот потому, значит, ты и сураз.

— Почему меня не любят все, травят, как собаку?— спрашивал я у бабушки.

— А оттого и травят и бьют, что ты сураз.

— Причем же тут я?

— Причем ни при чем, а так уж сыспokon века повелось,— говорит мне бабушка, утирая подолом вначале с моих, а потом со своих глаз слезы.

— Должно быть, и ее травили— мать,— говорю я сквозь слезы.

— Было время, и ее травили. А теперича некого травить, разве что могилу ее.

Больше я ни о чем не спрашивал у бабушки. Я уже давно знал от нее, что, забеременев мной, мать была выдворена радетельницами Христа с таежной поляны. Вернулась она домой и упала перед бабушкой на колени, прося прощенья. Бабушка, конечно, простила ее, приняла обратно в свой дом. С той поры и не стало ей проходу на улице. Даже повивалка отказалась принять у нее роды. Пришлось этим делом заниматься опять-таки бабушке. Родив меня, мать не могла перенести людского презренья и вскоре удавилась.

Хотя я и не имею никакого представления о ней, а мне при подобных разговорах всегда становилось жаль ее и бабушку, жаль и себя, и дедушку, который жил задолго до моего появления на свет. Дедушку мне было жаль за то, что он, как казалось мне, от души и со всех сил старался утопить свое и бабушкино горе в самогонке. Нешутейное это дело! Бабушка говорит, что людское горе живет глубоко в утробе, под самым сердцем, попробуй его достань. Глотнет дедушка самогонки, а она, может, не туда попала, может, в другое место совсем. А если и туда, так начинает горе за свою жизнь бороться. Тонуть-то кому хочется! Вот и билось оно о дедушкины бока изнутри туда-сюда, спасаясь от своей гибели. Так билось, так колотилось, что дедушка с ног валился. Оттого и поруха в доме была, что хозяин его всю силу на борьбу с горем тратил. Не залезь он перед Благовещением на чердак, чтобы с его снег сгрести, да не умри с лопатой в руках, так, конечно, рано или поздно доконал бы он все-таки горе, утопил бы. Так я думал всегда. Думал и тихо подолгу плакал. А бабушка так же тихо уговаривала меня.

— Обожди, не реви,— говорила она сквозь слезы,— може, бог даст, еще обладится все.

Но бог ничего не давал, хотя и молились ему мы с бабушкой каждый вечер часами. Особенно усердствовала бабушка. Молясь перед образом Варвары-великомученицы, она всегда вслух просила ее огрaдить меня от гнева людского. Но гнев не прекращался. Меня по-прежнему травили и стар и млад. Каждый подросток мог преподнести мне оплеуху или бросить в меня тем, что ему под руку попадет. Взрослые же, проходя мимо, говорили:

— Что, сураз, и ты, как путный, на улицу вылез? Не мешало бы тебя, дьявола незаконного, за вихрень потрясти.

Были в Коневке и такие мужики, с которыми бабушка вела деловую дружбу, которые уважали ее за трудолюбие и резонную рассудительность. Такие мужики мне обид не чинили, но и не были со мной ласковы. Бывая у нас, они вроде бы не видели меня. Бабушка замечала это и при любых случаях не оставляла меня на их попечение.

С помощью Советов бабушка обзавелась лошаденкой. На ней она часто ездила по хозяйственным делам. Выезжая, всегда брала меня с собой, даже в дальнюю дорогу. Собирается зимой на мельницу, шестинудовые мешки сложит на сани так, что мне среди них всегда оста-



Рис. Виктора Кулеша.

нется уютное местечко, посадит туда, завернув в старую, оставшуюся от деда латаную-перелатаную шубу, и скажет:

— Держись хорошенько, поехали.

И там, на мельнице, в прокопченной и прокуренной избушке, она пристроит меня подальше от промерзших углов, поближе к печке. Тут же в комельке, на горячих угольях, выменяв у кого-нибудь муки на еще не размолотое зерно, испечет лепешку.

Росту бабушка была небольшого, а кости — широкой и крупной, добрые, черные глаза ее немного повыцвели. «Своего брата», баб, она не любила и называла их не иначе, как брякалками. Когда у нее не было лошаденки и свой отруб обрабатывать было нечем, она отдавала его богатому мужику Никите Хомутникову за толику ржи, которую он завозил к нам после каждого нового урожая.

К этой толике бабушке приходилось немало прирабатывать. Ее руки ценили богатые коневцы. Особенно много работы предлагали бабушке в великий пост, когда в каждом доме устанавливались кросны и с их помощью ткали холст. Простой холст из пачесных ниток или из ниток льна каждая коневская баба могла ткать с закрытыми глазами. А вот холст с замысловатыми узорами, из множества разноцветных ниток, употребляемый на половики и скатерти, ткала только моя бабушка. Для выполнения такой работы за ней приезжали даже из соседних деревень. И когда речь заходила о цене, она всегда начинала со «стола».

— Стол ваш,—говорила бабушка.— И быть он должен из двух кусков. Один для внука моего, сиротки,—послаще. Другой — похуже,— для меня. Пусть будет за работу плата поменьше, а для внука кусок должен сытный быть. А уж холст я вам на загляденье сотку.

Одним словом, бабушка жила только для меня. И я, подрастая, с каждым днем все больше осознавал это. И мне порой даже стыдно было, что не могу обойтись без ее помощи и защиты.

Иногда мне хотелось верить тому, что именно Варвара-великомученица послала мне ее за мои усердные молитвы, как незаменимую покровительницу. Этому мне хотелось верить, когда я возвращался в дом с расквашенным носом. Стоило мне в таком виде ступить на порог, как она одевалась и брала в руки клюку. Я уже знал, что «фулюган» получить от нее две-три «потычки» в затылок этим незаменимым оружием из кухонного арсенала. В последнее время появился у меня еще один защитник — наш коневский учитель Емельян Ефимович Жук, заменивший сухопарую, длинную учительку Фаю Сергеевну, которая не столько ребятишек учила, сколько спала да со слезами выколачивала себе любовь из поповского сына. Когда на глазах нового учителя ребятишки побили меня, он, узнав, в чем дело, заставил драчунов стоять у стенки школьного коридора несколько часов подряд. Но Емельян Ефимович по национальности был белорус, по-русски говорил плохо, и за это невзлюбили его коневцы.

— Что он знает, хохол-мазня, в наших русских порядках да обычаях?— говорили коневцы.— Доверила ему казна учить наших ребятишек мало-мальски читать, писать да рихметику складывать — и пусть учит, а не сует своего носа куда не положено.

Откровенно говоря, и мне-то Емельян Ефимович не очень нравился. Называл он меня Сэрожка, что по звучанию напоминало ненавистное мне прозвище сураз. А вообще-то с виду он был человек простой и добрый.

По-прежнему я боялся ходить без бабушки на реку, в лес, и на улице без нее лишний раз не показывался. По-прежнему она продолжала оставаться моей единственной защитницей. Не знаю, сколько бы еще томило меня это презренное имя — сураз, сколько бы еще бабушка молилась за меня перед образом Варвары-великомученицы, сколько раз бралась бы за клюку, если бы не произошло у нас в деревне такое, что потрясло многие коневские устои, окутанные древней затхлостью.

Кончались тридцатые годы. Не больше четырех месяцев оставалось до «советского рождества» — так звали в Коневке праздник Великого Октября. Вдруг из дома в дом потянулись слухи, что «порешили кумунисты» построить какую-то проволочную дорогу на столбах с непонятным названием — телеграф. Не успели коневцы как следует разобраться, что это за дорога, кому и для чего такая дорога нужна, как с лопатами и ломами в руках появились в деревне рабочие. Поселились они на опушке большой и реденькой березовой рощи, у самой поскотины, под холстяной крышей. С появлением рабочих появились и столбы. Шагали они от самого Новосибирска до земли

Кузнецкой, длинные да стройные, от летнего загара коричневые, с подстриженными топором макушками и с желтоватыми квадратными пятнами на боках, где черной масляной краской были написаны красивые, сытые нумерки. Шагали они к своей цели через Репьево, Гусинку, Митревку, Агафонику и через другие попутные деревни.

Как-то так получилось, что один из столбов не миновал нашего огорода. А огород у нас с бабушкой — это как есть вся усадьба. После развала бабушкиной семьи она и ограду под него «уподобила», увеличив таким образом посевную площадь под капусту и огурцы, под морковь, под помидоры. Соленые и свежие овощи в тайге, на приисках всегда были в красной цене, так что садить их был смысл.

Столб оказался в приспособленной под огород старой дедовской ограде, близехонько от нашего дома.

Но прежде чем его там поставить, один из приезжих рабочих пришел к бабушке за разрешением. Одежка на нем была такая, что сразу и не разберешь, как он в нее влезает: ни рубаха, ни штаны, все вместе сшито. Зашел, любезно поздоровался и говорит:

— Вы, бабушка, не будете возражать, если мы в вашем огороде небольшую площадь под столб займем?

Хотя и считали в Коневке мою бабушку человеком бывалым и смелым, но и она от такого неожиданного вопроса опешила. Стала в кути и стоит, ни слова, ни полслова сказать не может.

— Так как же, бабушка, все-таки со столбом-то? — переспросил рабочий.

— Не знаю, чего тебе и ответить, парень. Поставить-то его, оно, конешным делом, и не штука, да как бы от этого худо не было.

— Какое же может быть худо?

— Про ваши столбы-то, видишь ли, всякое люди бают. Вот если бы твой начальник мне на то какое-либо поручительство дал, бумагу какую, с печатью. Вдруг да капуста не родит али мак цвести не будет. Что тогда делать?

Рабочий широко улыбнулся, сказал: «Хорошо» — и ушел. А я, сидя на полатах, заплакал горькими навзрыд. Мне никаких худых разговоров, которые ходили по Коневке о телеграфе, даже слушать не хотелось. Мне хотелось, чтобы хоть один столб был в нашем огороде. Тогда бы, казалось мне, я стал самым счастливым в Коневке человеком. Увидел я в этом телеграфном столбе свое спасение. Мне казалось, что, как только поставят его в наш огород, так уйдет от меня навсегда презренная кличка — сураз. Признаться, теплилась у меня еще одна надежда на избавление от травли и побоев. Играл я однажды в своем огороде «в пахаря», кто-то подкрался и пустил мне четвертушкой кирпича прямо в голову. Прибежал я в дом, бледный и, как водится, с большими слезами. Бабушка смыла мне кровь и, выбрав в мешочках какую-то «пользительную» траву, приложила к ранке и аккуратно завязала ее. Уговаривать меня она начинала, как всегда, с одних и тех же слов:

— Обожди, не реви. — И помолчав немного, добавила: — Вот как-нибудь выберу время да к Егор Егорычу схожу, попрошу его, чтобы велел он в Совете мужикам против побоев руки поднять, чтобы не травили тебя ни малые ни большие, чтобы большие малых приструнивали. Теперича не то, что раньше, царского указа по такому делу из Питербурка ждать не надо. Теперича все в Совете порешить можно, поднял мужик руку — и конец всяким побоям и травле.

Не знаю, ходила или нет бабушка к председателю, поднимали или нет против побоев мужики руки, но в моей жизни никаких изменений не произошло. А теперь вдруг этот столб на нашем огороде! Может, он-то и принесет мне избавление. Сказывают люди, что теле-

граф — специальная проволочная дорога, и будет ездить по ней людское слово туда и сюда. Двигать его будет придуманный коммунистами аппарат. Из Новосибирска по этой проволочной дороге будут посылать музыку. А по деревьям будут эту музыку специальными ловушками ловить, и кто что скажет там, на самом краю земли, — тоже.

Одним словом, все те малые и большие коневцы, которым Егор Егорович, Емельян Ефимович да молодой красноармеец Федя Кудесников сумели втолковать, что телеграф — это вовсе не наваждение антихриста, а дело для народа нужное, что через него в Коневке будет развиваться культура, должны будут глядеть на меня и на столб в нашем огороде с большой завистью. Здесь, на мой взгляд, будет чему позавидовать, когда именно на нашем столбе поставят ловушку для музыки. Иначе ее поставить негде. Сельский Совет у нас в Коневке размещается на отшибе, далеко от места, где пойдет телеграф. А в нашем огороде все это сделать будет как нельзя лучше.

Во-первых, живем мы с бабушкой посреди Коневки, и когда попавшая в ловушку музыка заиграет, запоет, так на концах деревни ее всем в одинаковой мере слышно будет. Также всем слышно будет, когда с самого края земли какой-нибудь человек что-либо коневцам сказать вздумает.

Во-вторых, наш низенький домишко, под широкополой тесовой и уже позеленевшей от времени крыши, притулился в густых зарослях черемушника, темно-зеленого лапчатого пихтача, рябины и белых берез. Посадила эти деревья бабушка сразу же, как только они с дедом, после долгих мытарств по чужим углам да запечкам, перенбрались в свои стены. Посадила и назвала зеленоком. Зеленком бабушка любила и заботливо ухаживала за ним, и он ей в свою очередь тоже платил добром. Когда у бабушки начинала ныть поясница, она ломала пихтовые ветки, связывала из них веник и парила в жарко натопленной бане больное место. В пору цветения черемухи и рябины каждый день утром и вечером ходила она в зеленок, чтобы для здоровья «рама́т» понюхать. А осенью снимала ягоды. У берез в апреле бабушка брала сок. Пожалуй, не было для меня лучшего лакомства в раннюю весеннюю пору, чем этот березовый сок. Чай из него особенно сладковатого вкуса, просто одна прелесть. А квас! Выпьешь его чашку, так и прокатится он в желудок с приятным щекотом, а крепость его слегка ударит тебе в голову. Ранней же весной бабушка собирала с берез почку или, как она еще ее называла, завязь и готовила из нее лекарство от сорока болезней. Под березами, когда ей было «тяжко», она прятала свои слезы от людей. И любила весной,



стоя под ними, разговаривать с прилетевшими скворцами, которые буквально наводняли зеленки.

— Ну что, проголодался, поди?— спрашивала бабушка у первого появившегося в зеленке скворца.— Дорога-то у тебя не в одну версту была. Вон туто-ка под деревьями я немного чернозему накидала, покопайся в нем, червяка найдешь.

А сколько бывает прохлады и тишины в нашем зеленке! Особенно густо в нем того и другого в середине лета, когда солнце упирается лучами в крыши коневских избенок и подолгу стоит над ними, как вкопанное, нагревая все живущее на земле до истомы.

Словом, если как-то примудриться и поставить ловушку для музыки не в огороде, а в зеленке, то лучшего места для нее по всей Коневке не сыщешь. К тому же звучать она тут будет по-особенному. Это я сколько раз замечал. Вот взять, к примеру, гармошку Феди Кудесникова. Если он играет на ней где-нибудь на бревнах возле дома Семена Лутонина, звучит она там все-таки не так. Хорошо звучит, но звуки все равно не те. Стоит Феде перебраться к нашему зеленку и заиграть, так сразу его игра другой становится; как говорит бабушка, берет за сердце, и девки с парнями на ее зов собираются быстрее. Или вот еще пример. Сядет скворец на наш колодезный журавль, и как ни изопрется в своем пении, а все равно звуки не те, отличаются они от такого же пенья в зеленке.

Думал я и о том, что ловушка в Совете может не уцелеть, потому что бродит ночью по Коневке какая-то контра. Она Совет уже дважды поджигала и красный флаг на нем человеческим дерьмом обмазывала, а на стенках дегтем писала: «Русская земля для нас, а не для кумунистов». Правда, Федя Кудесников тоже отписал им, и отписал на той же стене: «Этому больше не бывать. Слышите вы, сволочи!» Но ответ — ответом, а ловушки все-таки контра может изуродовать. А мы с бабушкой ее наверняка сохраним. Особенно бабушка, она что хочешь сохранит и что хочешь найдет. Так, по крайней мере, по этому поводу коневцы говорят. Да и сам я об этом не хуже любого знаю. У нее все в мешочках, все в горшочках, и все хранится десятками лет. И с каждой мелочью связана частичка бабушкиной жизни. Потерял я как-то, играя на дворе, пуговицу от стеганки. И только вернулся в дом, бабушка сразу же спохватилась. Браня меня, она тут же взяла в руки костыль и пошла с ним на поиски. Я показывал ей места, где играл, а она, немного склонясь, стала перебирать концом костыля все то, подо что, по ее мнению, могла завалиться пуговица. Делала она это не торопясь и с таким вниманием, что для нее в это время окружающий мир вроде бы не существовал. Ища потерю, она приговаривала:

Черт, черт, поиграй
Да отдай игрушку.
Не отдашь игрушку,
Разобью твою избушку.

Прошло не больше часа, и пуговица была в ее руках.

— Можя, и не искала бы, так пуговица-то, вишь ли, шибко памятная,— как бы оправдываясь, говорила она мне.— Еще когда пришивала на твою одежду, так подумала, грешница, не потерял бы! Подумала и всплакнула. Дело-то, видишь ли, такое, что думавши о нем, без слезы не обойтись. Было оно, когда Васютка на свет появился. А появился он в начале страды, в поле под суслоном. Жала я тогда рожь по найму, ну и того... запросился он к жизни, на землю-матушку. А вокруг ни души, куды деться-то? Примяла стерню ногами, растрясла ржи сноп — и все тут. Обмыла мало-мальски новорожденного теплой водой из логушка, пупок отрезала, завязала его как следует

отдохнула часок-другой, завернула сыночка в котомку — и айда до дому. Выхожу на большак. И полверсты по ему пройти не успела, смотрю — со стороны Лываньской каторжной тюрьмы дрожки едут. А на тех дрожках-то — девица молодая под стражей ирода-жандарма сидит. Посмотрела она на меня, потом на моего Васютку, а ноги-то у него, сердешного, из котомки торчат, покачала головой и говорит жандарму: «Остановитесь-ка!» А когда я ей рассказала все, она усадила меня в дрожки, взяла Васютку из моих рук и велела ямщику сундучок открыть. Открыл ямщик, а в сундучке всякая ребячья одежда. Давай она моего младенца в ту одежду облаживать. Не по росту она, правда, ему была, а все равно не котомка. Так она до самой Коневки и продержала парнишку на руках. А в Коневке его в фатеру занесла да еще из сундучка ему одежды добавила. От сына, говорит, осталось. Похоронила, говорит, в каторжной тюрьме, а сама вот в ссылку следую. Так вот эта пуговица-то на подаренной лопатинке пришита была. А ты терять ее вздумал, головая садовая!

Костыль у бабушки тоже был особенный. Принадлежал он ее отцу, и несла его бабушка в своих руках из России в Сибирь больше двух лет. Костыль — это тоже целая история, и о ней бабушка могла рассказывать днями. Но пока не о костыле речь, а о том, что и дальше о телеграфе думал.

Мне казалось, что будут завидовать коневцы нам с бабушкой еще и потому, что доселе никем невиданная культура начнет развиваться на телеграфном столбе в нашем огороде, как хмель на высоком колу. Потом начнет она цвести цветом весенней зари или цветом радуги. Так небось сразу отскочит от меня всякая травля, как град от крыши. Отскочит и врежется глубоко в землю. А кто захочет найти ее там да обернуть против меня, так все равно не найдет. И перестанут тогда меня колотить за то, что я сураз. И не только перестанут, а наверняка будут приходить к нашему огороду, наваливаться животами на осиновые прясла и просить у меня из милости тех плодов, которые в сентябре, августе или того раньше созреют на развившейся культуре. Разве можно будет при таком положении относиться ко мне не по-человечески? О том, что плоды будут вкусные, я не сомневался. Но я плохо представлял себе их форму, величину и цвет. Зато хорошо чувствовал их запах. Веяло на меня от них немного тем, чем веет от нагретой солнцем земли после обильного грозового дождя, от капель смолы, выступивших на тех же телеграфных столбах, мягких и живых капель с пятнышками голубого неба внутри. Кроме того, ощущал я от плодов запах травы, которую бабушка заготавливала летом на покосах и морила, чтобы потом ее отваром начисто выжигать из моих коленок и лодыжек всякую трескотню.

Таково было мое понятие о телеграфе. Такое или примерно такое же было оно и у тех коневцев, которые уяснили себе, что телеграфный столб — он только с виду столб, на самом же деле культура без него, как упряжка без супони. Эти коневцы тоже всячески старались заполучить по столбу в свою ограду. Они готовы были и ямы выкопать своими руками. А Мирошка Змазнев, сосед наш, пообещал даже четверть самогонки поставить и всю бригаду, работавшую на установке столбов, в поминальник записать — на листок о здравии. Наш брат — ребяташки — тоже усердствовали. Они воровали дома яички, сметану, стряпню и несли рабочим, жившим под холстяной крышей. А рабочие только посмеивались над подачками и над теми, кто их приносил. Убедившись, что через самогонку дела тут не провернешь, здоровенный и неповоротливый мужчина, Яша Пермляк, стал наседать на председателя Совета Егора Егорыча.

— Ты куда смотришь, власть? Разве такое дело у нас по уму делается? Ведь стоило им вдоль прясла моей ограды податься три-

четыре сажени вперед, к погребушке, потом забрать маленько левее, и столб оказался бы как раз в моей ограде. Поглядел бы ты, Егорыч, куда его теперича-то мостят! Выбухали яму на уличной стороне ограды, возле того угла, где я дрова складываю да где у меня всякое барахлишко валяется. Какая же там культура вырастет? Там щепья полным-полно.

— Ничего, Яков, сделать не могу, у них все по плану. Что касается культуры, так ее развитие не будет зависеть от того, где будут размещены телеграфные столбы. Это ты после сам поймешь.

— Крутишь ты мне, власть, однако,— сказал Пермяк и пошел от нашей бани, где состоялся у них этот разговор.

Кстати, о слове «культура». Употребляли его коневцы в своем богатом лексиконе давно, подразумевая под ним так же, как и я, только то, что росло в огородах. Поэтому-то, как слышали люди, что с телеграфом придет в Коневку культура, так и стали ожидать, что на столбах кроме проволочной дороги должно произрастать что-то никем не виданное и не пробованное. Думается мне, что это слово в Коневку занесла моя бабушка. Думается потому, что именно она щеголяла им больше всех. Бывало, завидуя бурному развитию и росту всего, что садила и сеяла бабушка в своем огороде, и, не сдерживая своего восхищения, коневцы говорили: «Эк, воротит-то у тебя в огороде все, Абакумовна, как на опаре! Того и гляди, прясла от растительности повалятся». Здесь и пускала бабушка в обиход свое любимое слово — культура.

— Ничего! Слава богу, растет все в добром здравии, не жалуюсь,— отвечала она.— Мак-культура растет, лук-культура — тоже ничего, хрен-культура — все равно тебе лес, а хмель-культура — чистый разбойник, так и норовит на чужое место залезти.

Но ни пшеницу, ни рожь в Коневке культурой не называли. Назови кто-нибудь в то время овес культурой, так тот же Пермяк, смеясь, сказал бы: «Какая же овес — культура? Огурец — другое дело, а овес — нет». Поэтому-то и хотелось Пермяку зарыть столб в хорошую землю, где не было щепья, чтобы уж родилась на нем культура как культура, а не какой-то там прощелыга-овес. Хотелось Пермяку, чтобы со столбом все по уму было, но ничего из этого не вышло.

А у меня со столбом все как нельзя лучше получалось. Я торжествовал победу, когда за длинным столом в нашей горнице, при открытых в зеленых окнах бабушка угощала самого начальника-бригадира. Еще до угощения бригадира я понял, что не будет она возражать против установки телеграфного столба в нашем огороде. Понял я это потому, что на столе для бригадира, как для самого лучшего гостя, появились конопляные шанежки, на тарелочке — штук пять яичек всмятку, заваренная кипятком черемуха и клубничное варенье, которое она дает мне один раз в неделю, по субботам, после бани, три-четыре ягодки на стакан чая, и непременно велит положить их по одной за щеку.

— Иначе,— говорила она,— по нечаянности сомистишься да не вовремя сглотнешь и скуска как следует не распробуешь.

Кроме всего прочего заваривала бабушка для гостя «базарский» чай. В обычное время она заваривает его только по субботам и редко посреди недели, когда ее дочь, моя тетка Апроська, приходит с очередными слезами да жалобами на своего мужика, змея подколенного. Разговор у бабушки с бригадиром за столом был долгий и обстоятельный.

— Ты уж, сынок, на мою доуку не обидься,— говорила она бригадиру.— Я резон люблю и боюсь, как бы с этим столбом не стать посмешищем. Хочется моей душе поверить в доброту вашей затеи,

а осмыслить, какой она на деле будет, ума не приложу. Как это людское слово по проволоке поедет? Как оно за ее зацепится? Как его поймать можно будет? Тожно думать замучилась. Да и одна ли я так-то? Весь народишко возле этих столбов чисто измызгался. А тут ишо разговоры разные. Мы, люди верующие, побаиваемся: не накликают бы себе лишний грех на душу. Душа-то, видишь ли, наша христианская, она и без столба от грехов черным-черна. Такая у меня думка с одной стороны, а с другой стороны она иная совсем. Я вот при крепостном праве десять лет прожила. С семи годков на господ робить начала. Потому о слободе мыслишку с давних пор вынашивала. Когда Колчак с разбоем по деревням двинулся, так я партизанам помогала. Не с ружьем, конечно, и не с пулеметиной в руках, а этим самым... Ну как бы тебе сказать... Одним словом, укрывала да переодевала партизанского человека, который ходил вражью силу выведывать. Сижу как-то на западне, шерсть пряду с лучинкой. Время за полночь перевалило. Слышу, легонький стук в дверь. Вышла, окликнула. А мне в ответ голос у двери: «Откройте, Абакумовна, я от Петровича». Петрович — это расейский человек. Раньше у нас в Коневке ссылку отбывал за политику и к нам, бывало, в баню мыться ходил. Частенько чаевничали с ним да про житье-бытье толковали. Доброй он души человек, правду-матку любил. Бед у него после девятьсот пятого непереворот было, а все пережил. Каторгу пережил, ссылку пережил. Перед тем как царя сместить, скрылся из Коневки. И тут вдруг, на тебе, человек от него да еще глухой ночью! Открывать, не открывать? — подумала. — Вдруг да с разбоем кто. Стою, мнусь в сенцах-то, а он мне опять: «Открывай, — говорит, — Абакумовна, пересол тебе в душу». Тут все мои сумленья рассеялись. Такая поговорка у Петровича была и сказал он ее так же, как Петрович. Впустила, смотрю — мужик не стар, не молод. «Петрович, — говорит, — просил вас, Марфа Абакумовна, мне мало-мальский приют представить да так, чтобы чужому глазу я недоступен был». «Где он теперича, сердешный?» — спрашиваю. «Об этом, — говорит, — потом. А поклон вам от него от бела лица до сырой земли». Ну, слава тебе господи, думаю, жив человек, здоров. Допытываться, что к чему — не мое бабье дело. Покормила его, а он попросил у меня самую худую бабью одежду и спать лег. А утром, переодевшись, ни свет ни заря — ушел с сумой на плечах. Потом появился дня через четыре, так же ночью, а в суме кусков полно. Пролежал день на полатах — и опять ушел. И так все уходил да приходил, а я гадала — к чему бы его ходьба? Почему он, мужик, а переодевается в бабуньценку? Потом слышу от мужиков: партизан на большаке тьма-тьмуцая, перекрыли белякам путь-дорогу. Те постреляли, постреляли и давай обратно разворачиваться. А куда развернешься? Развернуться некуда, кругом партизаны. Что на этом большаке было, уму непостижимо! Попали беляки в партизанскую мялку, так попали, что мой зять Савоська до теперича со своим отцом колчаковской одеждой торгуют. Партизанам что — набили беляков на большаку, как мышей на гумне, харч какой был, ружья — позабрали и уехали. А Савоська с отцом всю ночь битых раздевали. Всякого добра тайно от людей два воза под бастриками привезли. После боя заехал Петрович со своими в нашу Коневку, и окружил его народишко, спасибо говорит. Как не поблагодарить человека за добро! Ведь редко у кого колчаковская метла по амбару не гуляла. Я его по старой привычке чаевничать пригласила. Почаевничал бы, отвечает, Абакумовна, с превеликим удовольствием, да времени в обрез. Потом отозвал меня в сторону и говорит: «Если бы не твой сарафан, Абакумовна, в который ты нашего человека переодевала, да не полати твои, не поколотить бы нам беляков. Уважила ты нас, пересол тебе в душу, как нельзя луч-

ше. А почаевничать мы еще успеем. Теперича пойти,— говорит,— так чего доброго еще беды натворишь. В Коневке,— говорит,— у вас белячи приспешники есть, тебе отомстить могут». Попрощался он со мной, сел на коня, посмотрела я на него — ну, вылитый Георгий Победоносец! Так вот она и добывалась, слобода-то,— где пулей, где хитростью да ловкостью. Стоит она теперича вроде бы на всех четырех ногах — прочно, хорошо. А было бы еще лучше, если бы она с верой в бога была. Как-то неловко жить человеку без молитвы на устах.

Закончила бабушка свой рассказ и не торопясь начала допивать чай, поставив правую руку с блюдцем на ладонь левой. Допила она чай и перевернула чашку вверх дном. Еще помолчала немного и добавила:

— От жизни в сторону теперича, сынок, уходить нельзя. Ее всегда локтем чутя надо, а с богом это было бы удобней. Как же иначе-то?

— Да-а-а,— многозначительно протянул бригадир.— Вот если бы его кому-нибудь видывать приходилось. Ведь вместо бога-то, мамаша, картинка одна, кем-то выдуманный портрет. Верил и я в него когда-то. И чем больше верил, тем больше мурцовки хлебал. С десятков лет прошло, как бросил,— и ничего, живу. К новому придерживаюсь, новое строю. И тебе, мамаша, советую гнать от себя людей, которые тебя разной брехней потчуют. А столбу ты со своим мальчонкой только радоваться будешь. Я велю ребятам, чтобы они на нем громкоговорители поставили. Пусть люди видят, что мы и без бога умеем обходиться.

— Вижу, сынок,— сказала бабушка,— что мне лиха не желаеть.

Я соскочил после ее таких слов с полатей и с криком «ура» выбежал на улицу. Но мне не бегалось, не игралось. Мне хотелось слушать, о чем бабушка с бригадиром дальше будут говорить, и я присел в зеленке.

— Вот ты, сынок, про этот самый громкий говоритель толкуешь, а что это за штуковина?— спрашивала бабушка у бригадира.— Мне сто лет гадать — не разгадать. Теперича столько новых слов да названьев всяких понавыдумано, голова от них кругом ходит. Вот Егор Егорыч, председатель наш, надьсы такое на сходке завернул, что люди глаза вытаращили. Анцативу, говорит, теперича всем для новой власти показывать надо и тузиаэзм. А где его, этот самый тузиаэзм, взять? И как его новой власти показать? Я своей молодой барыней раньше была грамоте обучена, числа слагать умею, печатное читать — и то ничего в толк взять не могла.

— Громкоговоритель, мамаша,— это вещь, это штука такая, аппарат, а не слово. Ну да через недельку — две сами увидите.

Бригадир после угощения поблагодарил бабушку и ушел. А моему восторгу не было конца, потому что сверстники, недруги мои, пронюхав все, не отходили от нашего огорода. Я, вроде бы никого не замечая, ходил по огороду между грядок с деловым видом и тихонько насвистывал. И ни один из них за это время не бросил в меня палкой или комком глины, как это было раньше, и ни один не обозвал меня суразом.

После ухода бригадира меня не манило ни на еду, ни на сон. Причиной тому было еще и то, что на следующий день, по договоренности с бабушкой, в наш дом должны были перебраться все рабочие во главе с бригадиром, всего человек пятнадцать. Бабушка им будет готовить еду, а они ей за это даже деньги платить будут. В нашем амбаре будут храниться какие-то части от телеграфа и еще чего только ни будет.

Почти всю ночь я не мог заснуть. Стоило мне только закрыть глаза, как передо мной появлялся телеграфный столб необыкновенной высоты, подпирая своей заостренной макушкой небо. А на ней, зацепившись подолом рубахи, болтался Федя Кудесников с гигантскими ножницами в руках. Он пластал ими небо на части и вместе со звездами сбрасывал отрезанные куски на землю. А я ловил их и раздавал коневцам. Они брали их из моих рук и говорили: «Смотрите, он не помнит зла. И за что только мы его со света сживали!»

Крепко я заснул перед самым утром. А когда проснулся и выбежал на двор, возле распахнутых дверей нашего амбара стояла запряженная в телегу лошадь. Бригадир да тот рабочий, которому бабушка говорила в отношении письменного поручительства, сгружали с телеги в амбар ящики с белыми «чашечками».

— А, хозяин появился!—увидя меня, сказал бригадир.— Давай-ка мы с тобой познакомимся.— И он протянул мне свою широкую, жесткую ладонь:— Дядя Ваня.

— Серенька,— ответил я.

— Ты что, помогать пришел?

— Могу и помочь. Бабушке я все помогаю: картошку чищу, картошку толку и пол мою, когда у нее поясница болит, да еще шесток подбеливаю.

И не дожидаясь приглашения, вскочил на телегу, положил себе в подол рубахи несколько чашечек, которые выкатились из разбитого ящика, и понес их в амбар. Когда подвода была разгружена, дядя Ваня подал мне вожжи и сказал:

— Управляй!

Я взял вожжи и встал на ноги. Куда ехать, мне говорить не надо было. Я знал, что ехать надо было к палатке. У ворот перед нами расступилась большая толпа ребятишек и подростков. Я понужнул лошадь, она сразу же пошла на рысь, и вся толпа побежала за телегой, погналась за ней. Но гналась не для того, чтобы стащить меня и поколотить, а из-за непомерного любопытства и зависти. Никто меня в этот день суразом не обозвал и никто ни разу не сделал попытки ударить меня. Наоборот, когда мы вечером с дядей Ваней, накосив для лошади на ночь травы в покотине, возвращались домой, на задок телеги прицепились Колька Яши Пермяка да Митька Тараса Лодкина. Они поглядывали на меня, дружески посмеивались. А когда мы стали заезжать в нашу узенькую оградку, они соскочили с телеги и остались стоять возле ворот. Потом Митька крикнул мне:

— Серень, а Серень! Будешь с нами дружить?

— Ишь ты, дружить! — ответила из огорода бабушка.— Поди, не раз ему нос-то до крови кvasил, а теперича тебя с ним на дружбу потянуло!

«Ага, подумал я, бабушка-то, кажись, тоже поняла, что в телеграфном столбе, который будет красоваться в нашем огороде, заложена еще одна хорошая суть». А для бабушки она, может быть, была главная.

Дружить я ни с кем не хотел. Был я у дяди Вани уже заправским кучером, вернее не кучером, а ямщиком. Меня и рабочие так звали — ямщикок с кулачок. Три раза в день я вместе с ними садился за стол, ел из общего котла овсяную кашу с салом. Накрутившись за день до приятной истомы, я крепко засыпал и снов уже больше никаких не видел. И никак я не мог избавиться теперь хотя бы на время от своих бывших обидчиков. Они навязчиво предлагали мне свою дружбу, стараясь подкупить меня тыквенными и подсолнечными семечками. Но мне хотелось настоящей дружбы. Такой, какая была у дяди Вани со всеми рабочими. Кроме того, я был занят другими

мыслями. Спросил как-то у меня дядя Ваня про школьные дела. А никаких у меня школьных дел не было. Учился я недолго и все время приходил домой с разбитым носом. Потому и пришлось бросить учебу. Теперь шел мне одиннадцатый год. И мечтал я сразу записаться в третью группу, то есть идти учиться наравне со своими сверстниками. Бабушка научила меня маленько читать, маленько писать. Короче говоря, мне было за что зацепиться. К этой бы зацепке еще найти хороших друзей, чтобы один из них учил меня грамоте за первую группу, второй бы за вторую, а уж Емельян Ефимович учил бы меня тому, что должен знать ученик третьей группы.

Не меньше, чем учеба, беспокоила меня еще одна мысль: как к нам с бабушкой будут относиться те коневцы, которые принимают телеграф за наваждение антихриста? Чего только они ни говорили про него, чего ни выдумывали! Главным запевалой в этом деле был муж тетки Апроськи — змей подколодный. Ходил он вечерами по Коневке и наводнял ее разными слухами. Особенно он перед бабами да стариками усердствовал.

— Знаете, дедки, знаете, бабоньки, откуда кумунисты да советчики этому наваждению название такое выкопали?— говорил змей.— Выкопали они его из старинных времен. Вот я недавно на приисках, у старателей с торгами был, так они бают, что жил когда-то, давным-давно, в старину еще, один граф. И начал тот граф отучать хрестьян от веры в господа. Так же начал отучать, как теперича Советы отучают. Прознал господь про подлые дела его и умертвил того графа прежде времени. Умертвил, а душу из него не вынул. Так сорок деи душа графова в могиле ревмя ревела, все на небо просилась. На сорок первом дню притихла, зная, тоже померла. Оставалась, значит, в теле графа, изгнила, истлела. Кумунисты теперича о том безбожнике вспомнили и дали сему наваждению такое имя: «В теле графа». Но поскольку они теперича всякие названия переиначивают да укорачивают, так и это название переиначили да укоротили. Вот и получился—телеграф. У них ведь теперича все так. Волость они на рик переделали, Москву — на цык. И все это для того, чтобы людям непонятно было.

Разговор змея, как дорожная пыль вихрем, немедленно был подхвачен злыми на Советы языками.

— Все это истинная правда, что Савоська Митрохин от приискателей привез,— говорил мужикам Никитка Хомутников.— Если бы они добро людям этим телеграфом делали, небось, каждому бы по столбу в ограде поставили.

— Обождите, мужики,— говорил коневцам псаломщик, коротенький, толстый и пухлый мужичишка, по прозвищу Биток,— немного времени остается антихристам по земле разгуливать. Недалек день, когда всех их постигнет кара господня. Вон в Легостаевом кумунисты двенадцать раз подряд святой ключик навозом заваливали, да ничего не вышло. Придут утром посмотреть, а ключик чистенький. Кто его очищает? Давай караулить по ночам с ружьями. Вдруг с неба голубок припорхал. Сел над ключиком — и нет навоза. Задумали кумунисты в него из кремневок стрелять. Один стрелил, другой стрелил. Пришли стреляки домой, а у них дети окровавленные на полу валяются. Значит, господь во время выстрелов пули-то на ихних же детей поворачивал.

Заходили эти слухи и в наш дом. Тогда бабушка подливала масла в лампадку и подолгу молилась. Опять у меня появилась забота: не раздумала бы она со столбом. Дошли эти слухи и до Егора Егорыча. Собрал он всех коневцев в Совет и говорит:

— Ну, кто дымом от догорающей старины республику коптить вздумал? Выходи! Посмотрим, чего вы стоите.

Установилась в Совете такая тишина, все равно как в нашем зеленоке в летнюю пору. Я стоял, привалившись к стене, возле дяди Вани, и смотрел, как Савоська, ерзая на скамье, прятался за широкую спину Пермяка. Если бы на него в это время смотрела бабушка, так она непременно бы сказала: «Что, не по норке?» А мне хотелось крикнуть ему: «Балаболка!» Так в Коневке называют каждого, кто врет.

Егор Егорыч в это время встал на ноги и, вытянув шею, своими зеленовато-серыми глазами пристально глядел в зал, явно кого-то отыскивая.

— А ну, товарищи, выводите-ка сюда виновных за уши!— сказал он.— А то поприжались среди людей, не сыщешь.

— Знает кошка, чье мясо съела,— сказал Пермяк.— Вот тут, Егорыч, самая главная копоть-то, кажись, за моей спиной скрывается.

— А, Савоська-змея! Ну, иди сюда, Митрохин, да расскажи народу, какие ты про телеграф байки баял.

— То, Егорыч, не мои байки!— подскочив с места, ответил Савоська.

— В другом месте, я для тебя Егорка-советчик, а теперь и отчество мое вспомнил. Чьи байки? Говори!

— Приискательские,— ответил Савоська.

— Ты мне не брешь! Рабочий человек никогда не скажет такую подлость на Советскую власть. Повезу тебя завтра к старателям, поставлю перед ними, и все они в один голос произнесут, что ты первый в мире шарамыжник и спекулянт.

— Побелел, небось, все равно, что с мельницы вернулся,— сказал Тарас Лодкин.

— За такое надо языки каленым железом прижигать.

— Не один он такую чушь треплет.

— Надо так сделать, чтобы геппеушник приехал да протокол на них составил! Чего попускаться-то!

— Ты разреши, Егорыч, мы его на улку выведем, снимем штаны да крапивою задок ему почешем.

— За такое не крапивою надо, а плеткой с солью!

И пошел гудеть Совет. Егор Егорыч колотил по пустому графину толстым карандашом, призывая коневцев к порядку. Но слабый звон был еле слышен среди множества людских голосов, и никто на него не обращал внимания. Егор Егорыч еще немного поколотил по графину карандашом и сел.

Савоська стоял белый, как мел. Коротко подстриженные волосы на его голове взъерошились. Смотрел он своими большими и красивыми, но плутоватыми и всегда немного влажными глазами куда-то вверх. Для меня в это время противней его среди коневцев никого не было. Я стоял и думал: чего это бабушка выдала за Савоську свою дочь, первую коневскую красавицу? Теперь стой и красней за него, ведь как никак — родня.

Мне казалось, что весь этот шум, крики могут с таким же успехом обрушиться и на нас с бабушкой. Найдется какой-нибудь человек и скажет, что у них все с тещей заодно. В случае чего, дядя Ваня — надежда. А надежда ли? Дядя Ваня знает же, что бабушке тоже надо так, чтобы «слобода» не без веры в бога была. Дядя Ваня новому верит, новое строит. А вера в бога, как ее Федя называет,— давно изъезженная кобылка.

Ах ты, бабушка, бабушка! Если бы ты развязала свою судьбу с богом да со своей Варварой-великомученицей, совсем бы не то было! Был бы нашим зятем не этот противный Савоська, а Федя Кудесников, который дружит с теткой Апроськой. Правда, встречались они редко — Федя ездил по соседним деревням комсомольские ячейки

сколачивать. Но все равно была у них настоящая любовь. О том я раза два собственными ушами слышал. Целуя тетку Апроську в нашем зеленке, Федя спрашивал:

— Любишь?

— Люблю, Феденька, люблю.

— До гроба?

— До гроба, Федюша, до гроба, милый.

Потому-то и ходил Федя к нашему зеленку с гармошкой. Потому-то и сочинял для тетки Апроськи любовные стишки и читал ей, когда бабушка на легостаевский святой ключик молиться уходила. В такие времена они были самыми счастливыми людьми. Делить свои радости им никто не мешал. А в обычные времена бабушка точила Апроську за бездомного «касамольца». А она молча краснела. Потом прятала свои слезы там же, где их бабушка прятала, — под березами. Покончив со слезами, тетка Апроська бралась за какое-нибудь дело. И, делая его, тихо и грустно напевала:

Свиданья редкие,
Но очень сладкие,
Да у любви дела
Не очень гладкие.
А как им гладким быть,
И как им плавно плыть,
Когда родная мать
Велит его забыть.

Так оно и было, бабушка требовала забыть Федю Кудесникова. — Выбрось ты его из головы! — говорила Апроське бабушка. — Какой же он мужик? Ни кола, ни двора. Чем ты с ним за жизнь цепляться станешь? Чем за кормилицу-землю ухватишься? Ну, гармонис он, слов нету. Даже мне, старухе, его игру послушать хочется. А дальше-то что? Лба не крестит. Пахать не умеет. Одно только, что комсомольской ячейкой командывает да в читалке книжки перекладывает. А теперича в Совет такого председателя послали, что он и без Федькиной ячейки чего хошь сделает. Сразу видно — человек ухватистый. Не успел приехать да как следует обосноваться, а через реку по его затее новый мост перекинули. Никитка Хомутников теперича за переправу на реке с людей лишнюю копейку не рвет. Общественный колодец на улице наладили. Бедным семенами помогли. А Федька что? Разве только гитировать умеет. Под венец он с тобой не пойдет. А без венца какая же ты мужняя жена?

— Пусть, мама, он в наш дом идет да живет, — говорила тетка Апроська. — Он за свою работу жалованье получает, нахлебником не будет.

— Это по какому-такому праву парень к девке должен в дом идти? Побойся бога, девка! Ишь, чего надумала. Я, твоя родная мать, после такого должна от стыда воспламениться. — Потом ласково: — Не торопись. Хорошие женихи от тебя не уйдут. Я разве худого хочу? Да у меня душа-то о твоём счастье не меньше свербит, чем у тебя самой.

Такой разговор повторялся между ними не один раз.

Потом от домовитого Савоськиного отца в нашем доме сваты появились. Как только они ни расхваливали жениха! И умен, и хорош, и удал, и пригож, и сила в нем есть. Чего только, по словам сватов, в женихе не было! Долго скрывалась от сватов Апроська, но потом, по строжайшему повелению бабушки, сдалась.

На девичниках и на свадьбе была тетка мрачна, как осенняя ночь. Помню, уцепилась она руками за свои косы, когда начали их расплетать, и упала перед бабушкой на колени:

— Не губи ты жизнь мою, мама!— кричала она в слезах. — Ой, тяжело мне, тяжело...

— Обвыкнется все, доченька, обомнется, обладится. Не терзайся. Не ты первая, не ты последняя. Такая уж доля наша бабья.

Через неделю после свадьбы пришла тетка Апроська к нам и, не говоря ни слова, упала на кровать, от слез вздрагивая. Много раз приходилось мне видеть слезы бабушки и ее, теткыны, слезы, но таких я не видывал. Тогда-то и понял я, что не всякую слезу можно спрятать от людских глаз за печкой или под березами. Такие слезы не спрячешь. Билась тетка, как тяжело больная в бреду. Пробовала ее бабушка утешить, но теткыно горе было так велико, что бабушка не смогла с ним справиться и тоже заплакала. Потом и я пришел к тетке на кровать и, обняв ее, тоже заплакал.

Лились наши слезы долго, с зимнего полудня до сумерек, пока не пришел расправиться с женой пьяный Савоська. Тут-то и состоялось его первое знакомство с бабушкиной клюкой. Огрела она его раза два-три и вытолкала на улицу. Вернувшись, стукнула клюкой об пол и сказала:

— Хватит! Перестань! Може, обладится все.— Иди, сполоснись холодной водой. А я самовар поставлю. Будем чаевничать.

За столом тетка рассказывала, что на чердаке Митрохиных висит окровавленная белогвардейская одежда. Готовясь к очередному выезду с торгами на прииск, свекровь заставила ее стирать эту одежду, которую Савоськин отец перешивал на гражданскую, и продавали они ее старателям вместе с нашим зяtkом. Здесь-то и похвастал Савоська перед своей молодой женой, что было у них ее два воза.

— Постылые-то они, мама,— говорила тетка,— глаза бы мои на них не глядели. Савоська—чисто змей подколодный. Нет мне там жизни, мама, и не будет.

Легли мы в тот вечер с теткой спать рано. А бабушка зажгла лампадку и долго молилась перед образом Варвары-великомученицы. Молилась и просила у нее помощи и даже упрекала ее:

— Матушка, заступница ты моя, поди, видела ты сегодня горячую слезу нашу. За что же, милостивая, казнишь ты дитя мое? Я ли не молюсь тебе, благодатная? Образумь ты супостатов, пошли рабе божьей Апросинье счастья и радости.

Но я еще тогда был убежден в том, что клюка с крашеным черенком помогает бабушке лучше, чем Варвара-великомученица. Утром она опять, вооружившись ею, выгнала Савоську за ворота нашей огорода.

Теперь, когда змей подколодный стоял в Совете перед всем коневским обществом, мне хотелось сбегать домой, принести клюку и избить его при народе — за горькую жизнь теткы да за нелепые байки, которые распускал он по Коневке про телеграф.

Наконец, коневцы затихли. Выговорившись, они ждали, что скажет председатель. Но Егор Егорыч вроде бы не торопился делать своего заключения. Он явно нервничал. Это было видно по шраму на его лице, который изуродовал его правую половину от уха до подбородка. Если Егор Егорыч был спокоен, шрам оставался красным, а тут он посинел, как синее от тепла срубленная осина. Выдавала его еще и выцветшая до неопределенного цвета косматая правая бровь. Она прыгала над глазом вверх-вниз, вверх-вниз, как прыгает трясогузкин хвост. Потом Егор Егорыч тяжело вздохнул, встал и заговорил:

— Эх ты, Митрохин, Митрохин! Попал бы ты мне в другое время, лет десять назад, так не вакшался бы я с тобой. Отрубил бы к чертовой матери башку — и делу конец. А теперь она у тебя охраняется самым демократичным в мире законом. Нашим законом, на-

родным, советским. Ну что, товарищи, что с ним делать будем?— снова обратился председатель к коневцам.

— Язык ему на первый случай узлом завязать надо,— посоветовал Пермяк.

— А что толку-то? Пойдет он к Битку или к Никитке Хомутникову — и развяжут.

— Гепеушника надо, гепеушника, чтобы он ладом поискал, кто Совет поджег. Может, Савоська-змей?

— Хорошо, товарищи! Я обещаю принять самые строгие меры с болтунами,— сказал Егор Егорыч.— А теперь можно расходиться.

Мужики, расходясь, советовали:

— Ты, Егорыч, того, покруче с ними. Чуть чего, дак намордники им подевать — да и только.

— Надо, чтобы с Легостаева человек приехал и рассказал бы, как там дело было со святым ключиком да колоколами.

— Хорошо, хорошо, товарищи! Я об этом РИК попрошу.

Идя из Совета, я стал просить дядю Ваню, чтобы он завтра же распорядился выкопать яму под столб в нашем огороде. Я все еще побаивался, что бабушка передумает.

— Завтра по всей Коневке с ямами покончим. А дня через два-три уже развезем и поставим столбы,— ответил мне дядя Ваня.

На другой день после собрания, в сумерках, мы с бабушкой пошли в нашу деревянную церквушку. Яма в огороде под столб была уже выкопана, и бабушка решила окропить ее на всякий случай святой водой. В силу святой воды к тем временам я уже не верил, как и в силу Варвары-великомученицы. Но в такой момент мне не хотелось возражать бабушке. Между нами в то время установилась своеобразная уступчивость. Поскольку бабушка не возражала против столба, я не возражал против святой воды. Вообще все эти дни, чтобы не портить ей настроения, я старался быть послушным. После каждой еды как можно усердней крестил свою «образину», а на сон грядущий творил молитву «Богородица-дева, радуйся». Смысла ее я не понимал, но все равно старался читать как можно выразительнее. Особенно нажимал я на свои голосовые связки в тех местах молитвы, которые всегда приходились бабушке по нраву. Эти места я хорошо знал. Мы их даже певали с ней отрывками. Сидит она, бывало, за самопрядкой зимой часов двенадцать, четырнадцать подряд. Крутит и крутит ее ногой. Прервется на обед, на ужин — и опять крутит. Тянется из хохлатой кудели бесконечная тонкая «суровая» нитка и сматывается на деревянную катушку самопрядки. Скучно станет бабушке сидеть молча, и хзатит она своим тонким голосом из «девы радуйся» такой отрывок: «Да благословенна ты в женах. Да благословен плод в чреве твоём». А я, играя с деревянными кониками, вначале запева молчу. А она пропоеет раз-другой и скажет:

— Ну, чего же ты? Давай, подтягивай. Молитву-то для так я тебя учила, что ли?

И я, кашлянув, начинал подтягивать. Голосок мой дрожал, как дрожит от самопрядки огонек на конце лучины.

— Выше бери, выше! — вставляет между пеньем бабушка.

И я беру выше. Но тут же чувствую, что беру лишку. Бабушка опять кричит:

— Тожно понижe маленько!

Бабушка увлекалась не только пеньем молитв. Знала она еще и множество народных песен. Бытовало у нас в Коневке вечерование с прясницами. Зимой, в святки, двигалось оно по деревне с одного края на другой, из дома в дом, от девки к девке. Время от времени бывали такие вечерования и у нас. Собиралась молодежь, конечно, не к бабушке, а к тетке Апроське. Здесь-то и удивляла бабушка де-

вок и парней своим на редкость приятным голосом. Кто-нибудь из девок запевал одну из ее любимых, а она подхватывала в нужном месте и выводила песню до конца с какой-то особенной выразительностью и чистотой:

На крутом бережку,
Во зеленом леску,
Жил рыбак молодой
В храме воли святой.
Жил один, не тужил,
В речке рыбу ловил.
Весь улов рыболов
Добрым людям дарил.
Налетел ураган,
Лес и волю измял,
Рыбака-удальца
В железа заковал.

Часть своего песенного таланта бабушка сумела передать и нам с теткой. И мы с ней оказались неплохими песенниками. А чего стоили для меня бабушкины сказки! С героями ее сказок мне не один раз приходилось бывать в тех местах, где земля с небом сходится, где макушки деревьев проросли сквозь горизонт, предоставив свои ветви сказочным обитателям неба. Вили они на них себе из золотой паутины гнезда и пели удивительные сказочные песни на своем сказочном языке. Живал я с героями бабушкиных сказок среди царевичей и батраков, среди умных и дураков, бывал в лесах дремучих и водах кипучих, с князьями сладкое вино пил и с чертями огненные веревки вил.

Немало времени бабушка уделяла тому, чтобы научить меня грамоте. Была в нашем доме единственная маленькая книжечка. Называлась она «Как тонул Ерошка», это был короткий рассказ. В нем говорилось о бурном весеннем половодье на небольшой реке, которое подхватило прибрежную лдину вместе с игравшим на ней мальчиком по имени Ерошка. Вот по этой книжке я и постигал науку. Была она для меня в первую очередь азбукой. Решив учить меня грамоте, бабушка «отпятинала» в книге карандашом все буквы в порядке алфавита и, беря меня к себе на колени, указывала на помеченную букву, называла ее, а я за ней повторял. Когда алфавит был освоен, я стал читать. Вначале по буквам, потом по слогам, а потом все бойчее и бойчее. Тогда эта книга стала для меня уже хрестоматией. А потом — задачиком. Вначале бабушка научила меня считать до ста и писать цифры. После этого стала задавать по книге арифметические упражнения.

— Ну-тка, посчитай тожно, сколько в Ерошке букв, — говорила мне бабушка.

Посчитав, я отвечал ей:

— Шесть.

— А сколько в слове «берег»?

— Пять.

— Вот теперича сложиь мне Ерошку с берегом. Сложил? Тожно прибавь к тому все Ерошкины крики.

Буквы в Ерошкиных криках мне посчитать было нетрудно, потому что тонувший мальчишка только и кричал: «Мамка!» И кричал всего пять раз.

— С криками и с берегом в Ерошке будет тридцать шесть, — отвечаю я.

— Молодец! Теперича отыми мне от всего этого мужика с лодкой.

Я тут же отнимаю и называю ей результат — двадцать шесть.

Так и научился я двум первым арифметическим действиям в пределах сотни.

Между делом бабушка учила меня, кроме грамоты, еще и разным житейским правилам. Теперь, подходя к церкви, я вспомнил одну из бабушкиных наук — ступать на каждую ступеньку крыльца божьего храма, заходя в него только правой ногой, «иначе счастья не будет». Так я и сделал на этот раз. Так сделала и бабушка. Но все равно нам не повезло, все равно мы возвращались из церкви без святой воды, с пустым горшком. Случилось это так. Зашли мы в храм, когда там уже шло молебствие по случаю какого-то праздника. Бабушка купила дешевенькую свечу, зажгла ее и, крестясь, поставила к подножию образа своей любимой Варвары-великомученицы. Когда молебствие кончилось, бабушка подошла к отцу Захарию и попросила освятить воду, которую мы зачерпнули в своем колодце и принесли в церковь в глиняном горшке.

— Ямку святой водицей сбрызнуть хочу, отец Захарий, — проговорила она, намереваясь передать ему в руки горшок.

— Какую такую ямку? — спросил поп.

— Под телеграфный столб, батюшка, — ответила бабка.

— О, идолица старая! Смутьянка! — закричал на нее поп. — Вот огрею тебя крапирницей по лбу, так образумишься, сатана седовласая!

Бабушка, кажется, не поверила, что поп обозвал именно ее, чуть ли не самую богомольную прихожанку, и переспросила:

— Неужто, батюшка, это ты меня так-то?

— Нет, себя! Чего глаза-то вылупила, окаянная? Вон из храма, бесстыдница!

— Ты что, батюшка, никак очумел? К тебе прихожанка с душой пришла, а ты? Тьфу, греховодник! Обожди, тожно я на тебя в Совет пожалуюсь.

— Тьфу! Тьфу! — плевалась дорогой бабушка.

Когда мы оказались с ней на скамейке возле калитки нашего дома, она проговорила:

— Вот тебе и святой отец! Да где же это она, матушка правда, заблудилась?

На скамейке мы сидели недолго. Передохнув маленько, мы пошли в дом. Здесь бабушка снова заговорила:

— Обожди, тожно и без тебя обойдусь.

Она сняла образок Варвары-великомученицы и начала обходиться без попа. Из того же горшка она обмыла образок над чистым тазом. Это и была святая вода, которой бабушка сбрызнула ямку под телеграфный столб. Так она готовила святую воду не раз. Бывало, попадет в ведро мышь, утонувшая в колодце, так лучшего дезинфицирующего средства у нее не было. Возьмет бабушка образок и обмоет его прямо над колодцем.

Вскоре я совсем почти перестал верить не только в Варвару-великомученицу, но и во всевышнего. И вот почему.

Года два или три подряд гуляла по тайге в наших местах банда Жирова, недобитого белогвардейского офицера. Не один дом опустошила она и у коневских мужиков. В целой округе жили люди под страхом. Не спасали от бандитов самые хитрые затворы на дверях амбаров, плотные, крепкие ставни на окнах домов и злые цепные псы. Не раз за банду гепеушники брались, да все без толку. Не раз намеревались взяться за поимку банды и наши, коневские мужики, однако дальше намерений дело не шло. Председателем в Совете у нас в то время был Лаврушка Зуй, непутевый кривоногий мужичиш-

ка. Окружил он себя свитой из бедняков, носил большую, окованную железом, кожаную сумку, в которой, по его словам, хранил он секретные «гумаги» да разные «планты» по вопросам строительства каких-то невероятных казарм, где будут жить защитники революции. Коневцы ему верили, все время ждали этого строительства. А Лаврушка тем временем обкладывал их своеобразными налогами — щетиной, волосом, кошачьими и собачьими шкурами. Обрезали мужики лошадям хвосты и гривы, дергали с хребтинок живых свиней щетину, душили на перекладах амбаров кошек и собак, обдирали и несли все это Лаврушке в Совет. «Что же сделаешь? Надо, так надо». Занятному сборами да поборами, не до банды было Лаврушке. Тогда-то и внесла моя бабушка коневцам такое предложение:

— Коль власть не чешется, о помощи надо господу просить, предать злодеев анафеме — и делу конец!

Бабушку поддержали. Собрались коневцы миром да пошли к попу. Пояснили ему свои намерения. А он им в ответ:

— Я, светы мои, еще жить хочу.

— Так живи, батюшка, себе на здоровье, разве мы против?

— Вы-то не против, так Жиров будет против.

— Как так?

— А вот так, светы мои, отрубят он мне за анафему голову — и делу конец. И вам, ходатаям, вместе со мной не сдобровать. В Усовом этого злодея священник проклятью предал, а назавтра его тело в крови нашли.

Пришла бабушка домой и рассказала нам с теткой об этом случае, омывая свой нескладный от расстройства рассказ слезами.

— Что же это такое делается, господи ты наш милостивый! — возмущаясь, говорила бабушка.

Тетка Апроська тоже заплакала, приговаривая:

— Надо же было тебе ходить да хлопотать! Батюшка-то теперь правый останется, а на вас кто-нибудь Жирову шепнет, и не сносить вам всем головы. Есть у него свои люди в каждом селе. Того же батюшку или Никитку Хомутникова Жиров ни разу не грабил. А уж у них ли брать нечего!

Я был злой на бабушку за то, что она впуталась в такое страшное дело, но злись не злись, а спасти бабушку как-то надо. Мы решили с теткой спрятать ее на ночь в подполье. Бабушка сначала не хотела туда лезть.

— Господь не выдаст — свинья не съест, — говорила она.

— Бог-то бог, да и сам не будь плох, — отвечала ей тетка.

— Оно так, да несподручно мне в своем собственном доме прятаться.

— Несподручно тебе было и в церковь ходить, хлопотать перед попом об анафеме, — ответила ей тетка. — Проймешь ты его проклятием, бездушного да кровожадного!

Мы с теткой приготовили кой-какую одежку бабушке под бок, отырыли подполье. Помолилась она перед образом своей заступницы, взяла из наших рук подстилку и залезла в подполье. Мы с теткой улеглись на западне. Всю ночь я не сомкнул глаз. Не верил я рассказам батюшки о том, что бандиты растерзали усовского попа. Не верил потому, что если бы такое дело стряслось, так о нем непременно бы вся деревня говорила. Такая уж она, наша Коневка. Любые вести-новости до нее в первую очередь доходят. Тут что-то не то. Расправа над попом была учинена дня два назад, а знал о ней только один отец Захарий. Не может того быть! Если и в самом деле что-то случилось с усовским попом, то почему? Почему бог не уберет от злодеев своего служителя?

Тогда-то, в беспокойную, бессонную ночь на западне и упало в

мою душу сомнение. Не знаю, что думала в эту ночь в подполье моя бабушка. Но на другой день она спросила у бога о том, где матушка-правда находится. Но бог, как всегда, молчал.

Вечером не пришлось уже уговаривать ее, чтобы пряталась от злодея Жирова, за ужином она сама об этом заговорила.

— Сподручней-то мне хорониться, однако, в огороде в подсолнухах. В подполье духота и теснота, к тому же, если как следует поищут, так и найдут, а из подсолнухов, в случае чего, на зады уползти можно.

Поужинав, я пошел тихонько в подсолнухи, наломал листьев, принес охапку соломы и устроил бабушке хорошую постель. Устроил и, привалившись на нее, подумал: как здесь хорошо! Земля теплая и пахучая, высокая, головастая зелень кругом, и небо такое чистое и ласковое. Все хорошо. Только нет для нас с бабушкой и теткой Апроськой хорошей жизни на этой пахучей земле. А по всем статьям она должна быть. Ведь по бабушкиным словам выходит, что у каждого человека имеется свой покровитель на небе. И пророки, и апостолы, и херувимы, и серафимы, и ангелы, и архангелы, и сам страдатель за спасение рода человеческого — Христос с учениками, и его непорочная, благочестивая мать, и Варвара-великомученица, и Кирика с Улитой, Иван-отсечник, Евдокия-плющиха, словом, целая армия заступников, под командованием самого господа, а мою бабушку, всем им до костей и мозга преданную, мне одному от злодеев прятать приходится. И решил я при случае во всем в этом по возможности разобраться. А теперь сумерки окончательно спустились, и мне нужно было привести бабушку в укрытие.

После ночлега в огороде ее настроение немного улучшилось. Она ушла с теткой отрабатывать долги Никитке Хомутникову, а я снял иконы с божницы и стал внимательно рассматривать их, осторожно пробуя шилом все места, сколько-нибудь похожие на божественную силу. Не обнаружив ничего убедительного, с приходом бабушки стал расспрашивать ее, видела ли она когда-нибудь свою заступницу Варвару.

— Не, не видела, — ответила мне бабушка, ничего не подозревая.

— А бога?

— Это чего еще выдумал! — закричала она на меня. — Кто же его когда видел? Господь для человека непостижим, и никто его никогда не видел.

— А как же тогда его на икону срисовали? — не унимался я. — И как узнали, что он есть?

Но бабушка ничего ответить не смогла. Так и осталось во мне сомнение в боге.

Собирать налоги с коневцев щетиной, волосом, собачьими да кошачьими шкурами Лаврушке долго не пришлось. Приехали те же гепеушники и засадили его в каталажку. Произвели в его доме обыск. Вытряхнули из сундуков ситцы да кой-какую одежонку, хромовые шкурки, подметки. Одним словом, все, что приобрел Лаврушка за «налоги» в какой-то заготовительной конторе. Разделались с нашим председателем часа за два, за три, не больше. У него даже окованную железом сумку отобрали. И то сказать, Лаврушка — не Жиров!

— Ты смотри, каким манером к наживе пристроился, стервец! — негодовала бабушка. — Слободную власть опачкал. Сейчас Пермьяк с Тараской Лодкиным в Совет пошли. Хотят выпросить у гепеушников Лаврушку под самосуд. Пермьяк говорит, что он, Лаврушка, дважды заставлял его кобыленке хвост обрезать. Первый раз только до коленок обрезал, а он увидел и говорит: «Что-то долговат у твоей кобылы хвост. Теперича такой моды нет, кобылам длинные хвосты носить. Немедля укороть, а волосья в Совет!» Ну и отхватил его Пермьяк по

самую репицу. Весна пришла, так комары чуть не загрызли кобылу. Пришлось Пермяку самому ходить около ее целыми ночами с хворостинкой вместо хвоста.

Самосуд Лаврушке учинить не удалось — увезли его. А на председательское место был посажен тот самый дотошный советчик, Егор Егорыч. По известным причинам на улице я появлялся очень редко. Однако же о всех делах нового «дотошного советчика» я узнавал в тот же день. Приносила их в дом, может быть, не менее до всего дотошная моя бабушка.

Приехав в Коневку, первым долгом Егор Егорыч раздобыл где-то оружие и организовал охрану деревни от бандитов. И налеты Жирова прекратились. Коневцы повеселели, оживились. А у меня свалилась с плеч забота о бабушкиной судьбе. Мы не стали прятать ее на ночь в подсолнухах. «Вот, оказывается, что надо было. А совсем не анафемы отца Захария, и не бабушкины просьбы перед образом Варвары», — думал я.

Вскоре за Егор Егорычем в Коневке появился Федя Кудесников. Появился он в военной форме, обтянутый новыми скрипучими ремнями. Как-то сразу стала кружиться возле него молодежь. Как заиграл Федя первый раз в пору заката на своей «восьмипланашной» тальянке, так сразу все коневские девки охнули. Бабы и мужики повысовывались в открытые окна. Чего только ни выговаривала тальянка под тонкими и длинными Федиными пальцами! Выводил он на ней такое, что коневцы только диву давались. Перебирал Федя на ней лады то снизу грифа доверху, то сверху донизу, и все в таком стройном порядке, что эхо у реки не успевало вторить его переборам.

— Не иначе как новый председатель такого гармониста для девок и парней в РИКе выхлопотал, — говорили о Феде коневцы.

До его появления у нас в Коневке кроме трехструнной балалайки никакого музыкального инструмента не бывало. Играл на ней для девок и парней Лукашка Соколов. Ему давно перевалило за тридцать. Беден и хром был он, и за него ни одна из девок замуж не шла. Жил он в старой маленькой развалюхе на самом краю Коневки и мало-мальски чеботоничал. Зимой и летом, редко стриженный и бритый, всегда одетый в длинный пониток, ковылял он по деревне в толпе молодежи и нехитро наигрывал на своей трехструнке подгорную, саратово, польку-бабочку да краковяк. Но однажды произошел с Лукашкой каверзный случай, после которого лишилась коневская молодежь и этого скупого музыкального удовольствия. Произошел он в день проводин масленицы. Шел Лукашка, как всегда, в окружении девок и парней, по укатанной лотками дороге. Не то он запутался в полах своего длинного понитка, не то поскользнулись его «калешные» ноги на обледеневшей дороге. Одним словом, Лукашка упал. Да так неловко, что полы его понитка взметнулись на его косматую голову. И увидели девки ничем не прикрытое Лукашкино тело от пупка и ниже. Увидели, взвизгнули и разбежались. Помолчать бы уж им после того надо было. Так нет! Сошлись они и давай над балалаешником зубы мыть. Посмотрел он на девок, подковылял к прислу и разбил в сердцах балалайку вдребезги. Разбил и пошел к своей развалюхе, по-детски рыдая. Каялись после того девки много раз, даже организовали складчину и купили ему балалайку. Ходили и уговаривали его поиграть, но он наотрез отказался.

И тут вдруг Федя со всевозможными маршами, фокстротами да вальсами! Даже невозмутимый Семен Лутонин — и тот поражался Фединой игрой. Придет бывало к девичьим игрищам и скажет:

— Ну-ка, Федюха, сыграй-ка мне вальц «На сопках Манджурии».

Сыграет ему Федя. А он:

— Ну и да-а-а! Вот если бы примудриться да твою музыку на картину срисовать. Ох, и загляденье было бы! Ей-богу!

Потом Федя организовал комсомольскую ячейку. Вначале было два человека — Федя да учитель Емельян Ефимович Жук. Потом они вовлекли в нее еще человека три-четыре. Стали они во главе коневских парней и девок, навезли книжек, организовали читалку, ликбез. В школе денно и ночью гудел народ. В ней не только учились, но и ставили постановки или, как их бабушка называла, «подстановки». От этих «подстановок» коневцы в восторге были. Только о них да ее организаторах и шел среди людей разговор.

Прошло немного времени, и комсомольцы еще больше поразили коневцев. А произошло это так. Сколотил Егор Егорыч комсомольцев со всех окружающих деревень в один отряд, и накрыли они банду Жирова где-то на далекой таежной заимке. Бабушка говорила, что подослали они к банде своего человека, втерся он в доверие к Жирову и стал у него не то адъютантом, не то ординарцем. Выбрал посланец Егор Егорыча удобный момент и наметнул Жирову тонкий ременный кнут на шею, когда он в ходок садился. С перетянутой глоткой много ли насопровиляешься! Доставили Жирова в Коневку связанным. Потом уже на лесной заимке с бандой разделались.



Победа над бандой произвела на всех глубокое впечатление. «Вот это сила! — думалось мне. — Не то, что у Варвары-великомученицы». Выбрал я после того удобный момент, когда бабушки дома не было, снял с божницы Варварин образок и прямо в глаза высказал ей все, что о ней думал:

— Эх ты, Варвара! Ничего-то ты не стоишь. Не потому ты, видно, великомученицей зовешься, что когда-то и где-то сама много мучилась, а потому, что людей попусту мучаешь.

Это был мой последний разговор со святым ликом, перед которым я склонял голову, которому молился.

Что касается комсомольцев, так их чествовали за ликвидацию банды всей деревней. Ходила на то чествование и бабушка. А когда вернулась, так рассказывала:

— Яша Пермяк преподнес им от общества ни много, ни мало, на каждого по две сотни яиц, по пять фунтов масла да фунта по три овечьей шерсти. Егор Егорыч хотел выставить его из Совета вместе с подарками. Ты, говорит, што, Пермяк, им взятку суешь, да еще в Совете, да еще в моем председательском присутствии и у всего на



рода на глазах? Под суд тебя, говорит, за такое дело! Но Пермяк есть Пермяк. Ощетинился на председателя. Это, говорит, никакая не взятка, это подарок от общества. По доброй, говорит, воле сами принесли. А ты, говорит, как председатель наш, не имеешь никакого права в таком деле саботажничать. Народ зашумел, закричал, — рассказывала дальше бабушка, — и председатель сдался. Взятку комсомольцам передали честь по чести, как положено, на расшитых рукотерниках. И председателю там доля была, да принять он ее наотрез отказался. Толкал, толкал все это ему Пер-

мяк в руки, а он только машет ими, как петух крыльями. А чего отказываться, чего руками махать, все от души ведь давано. Дело-то ведь какое сделали! Теперича хоть люди спокой увидят, хоть вздохнут слободней.

(Окончание следует)





В. ЗАЙЦЕВ,
кандидат филологических наук

БОГИ ПРИХОДЯТ ИЗ КОСМОСА

на нем трех главных очагов культуры того времени—Южная Америка, Индия — Китай и Ближний Восток?

Можно, конечно, возразить, что это просто «бродячий» сюжет, возникший где-то в одном пункте Земли и распространившийся по различным континентам. Но в условиях больших расстояний и отсутствия путей сообщения и средств связи в I веке сюжет не мог распространиться так быстро. Будь между тремя легендами дистанция хотя бы в один—два века, версия «бродячего» сюжета была бы правомерной.

Молчание века¹

Со времен тюбингенских критиков школы Ф. Бауэра сложилось представление, что первый век нашей эры «молчит» относительно Иисуса Христа. Указание И. Флавия («Иудейские древности») на личность Христа было объявлено христианской интерполяцией (вставкой); упоминания о нем в сочинениях Тацита, Плиния Младшего, Светония стали считать недостоверными. Синоптические Евангелия (от Матфея, Марка и Луки) рассматривались как тенденциозные документы, результат исключительно «рукотворческой» деятельности заинтересованных эксплуататорских групп. Так, Д. Штраус признавал историчность Христа, а Евангелия относил к легендам. Бауэр же вообще считал Христа вымыслом церковников. А. Гарнак, в отличие от них, доказывал историчность новозаветных письменных документов (в частности, трех первых Евангелий), но признавал образ «церковного» Христа синкретическим, рядом с существованием исторического прототипа.

Так на протяжении многих десятилетий вошло в разговорный обиход выражение «молчание века». Между тем, в новейших исследованиях (А. Робертсон, А. Донини и многие др.) совершенно справедливо делается заключение о несостоятельности подобной оценки I века и о неправильности

Двойники Христа

В Южной Америке существует сказание о Кетцалькоатле, белом человеке с бородой, проповедовавшем царство добра и справедливости, учившем народы устройению жизни. Кетцалькоатль пришел на Землю неизвестным образом с Востока, а ушел так: вышел на берег океана, сжег себя и превратился в утреннюю звезду, предварительно пообещав вторичное свое появление на Земле.

О Кетцалькоатле написано много исследований. Есть евангельская, ирландская, скандинавская и атлантическая версии, объясняющие эту фигуру (см. Д. Вайан. История ацтеков, М., 1949, стр. 133—134). Советский ученый Ю. Кнорозов в предисловии к книге Диего де Ланда «Сообщения о делах в Юкатане» (М.—Л., изд. АН СССР, 1955, стр. 17) утверждает, что это личность из IX—X вв. н. э. Другие говорят, что это один из ранних проповедников католицизма, примерно в VI в., еще до плавания Колумба, перебравшийся через океан в Южную Америку. Третьи утверждают, что Кетцалькоатль—один из апостолов Христа, возможно, Фома. Д. Вайан, ссылаясь на ацтекские и испанские хроники, говорит, что царя толтеков можно отнести к рубежу нашей эры.

Если мы обратимся к исследованию С. Георгиевского «Принципы жизни Китая» (СПб., 1888), мы найдем в нем не менее, чем Кетцалькоатль, странную личность с именем Чжан-дао-лин, который считался сыном девственницы, в 60 г. I в. н. э. стал правителем провинции Чзян-чжоу, а после смерти вознесся на небо.

Нельзя ли предположить, что Кетцалькоатль у толтеков, сын девы Чжан-дао-лин у китайцев, Иисус у народов Ближнего Востока, судя по времени (во всех трех случаях I век), характеру деятельности, характеру появления и исчезновения,—это лица одного порядка, одних обстоятельств и, может, члены одного космического экипажа, разбросанного по земному шару в соответствии с наличием

характеристики источников, содержащих указания на существование Христа. Находка в Верхнем Египте хенобоксионских документов окончательно делает беспочвенной подобную характеристику, разрушая тенденциозное представление о «молчании века».

Но есть один вопрос, который требует ответа: почему историки I—II вв. не говорят о космическом характере личности Христа? Почему мы вынуждены в данном случае ссылаться на апокрифы и евангельские документы, подвергая их соответствующему переосмыслению, пользуясь только косвенными аргументами?

В I веке римские историки и хронисты могли и не видеть Христа, а говорить о нем вынуждены были на основании молвы, легенд, слухов, смешанных с невежественными предрассудками, суевериями и вымыслом. Живые же свидетели, как например, Иоанн Теолог, подвергались гонению. Мы предполагаем, что приземление «небесного храма» состоялось к западу или северо-западу от Египта. Картину «пришествия» могли наблюдать многие полудикие кочевые племена северной части Африки. И, конечно, слухи, доходившие до центров цивилизации, были слабой пищей для добросовестных и в меру скептических историков и летописцев. Поэтому в их записях мы находим упоминание только о том, как Христос «служил людям», но не найдем указания на его космическую природу.

Вещественных, прямых доказательств в пользу своей правоты мы представить пока не можем. Поэтому мы и оперируем доказательствами только косвенными. Но, по нашему глубокому убеждению, косвенных аргументов может со временем накопиться столько, что они приобретут характер аргументов прямых. Правда, необходимо принципиально решить вопрос: что считать прямыми, а что косвенными доказательствами? Можно ли, например, считать косвенным аргументом многочисленные евангельские и апокрифические указания на то, что Иисус «пришел с небес»? На наш взгляд, подобные вещи следует рассматривать отнюдь не как иносказания. Такого же взгляда мы придерживаемся, например, относительно записей в древних китайских хрониках «Хуайнаньцзы» и «Шаньхайцзин» о «небесных колесницах», с которых на Землю сходили люди. А подобных записей в памятниках древней письменности содержится чрезвычайно много.

Спекуляция на новых знаниях?

Иногда можно слышать такое рассуждение: как только на Земле появились спутники и космические корабли, как только человек проник в околоземное пространство—нашли ученые, которые нача-

ли переносить эти атрибуты космической эры не только в будущее, но и в прошлое, ища в других временах аналог нашей эпохи; это нечто иное, как спекуляция на новых знаниях.

Люди, рассуждающие так, забывают, что наука всегда развивается подобным образом: **прошлое и будущее во все века объясняются с помощью настоящего**, «иные времена» всегда трактуются с позиций «времен нынешних». Такова особенность человеческого познания: по мере накопления сведений наука раздвигает картину познания в обе стороны, в будущее и в прошлое. Двусторонняя направленность научного прогресса—это закон, «ниже не преминешь».

Память истории

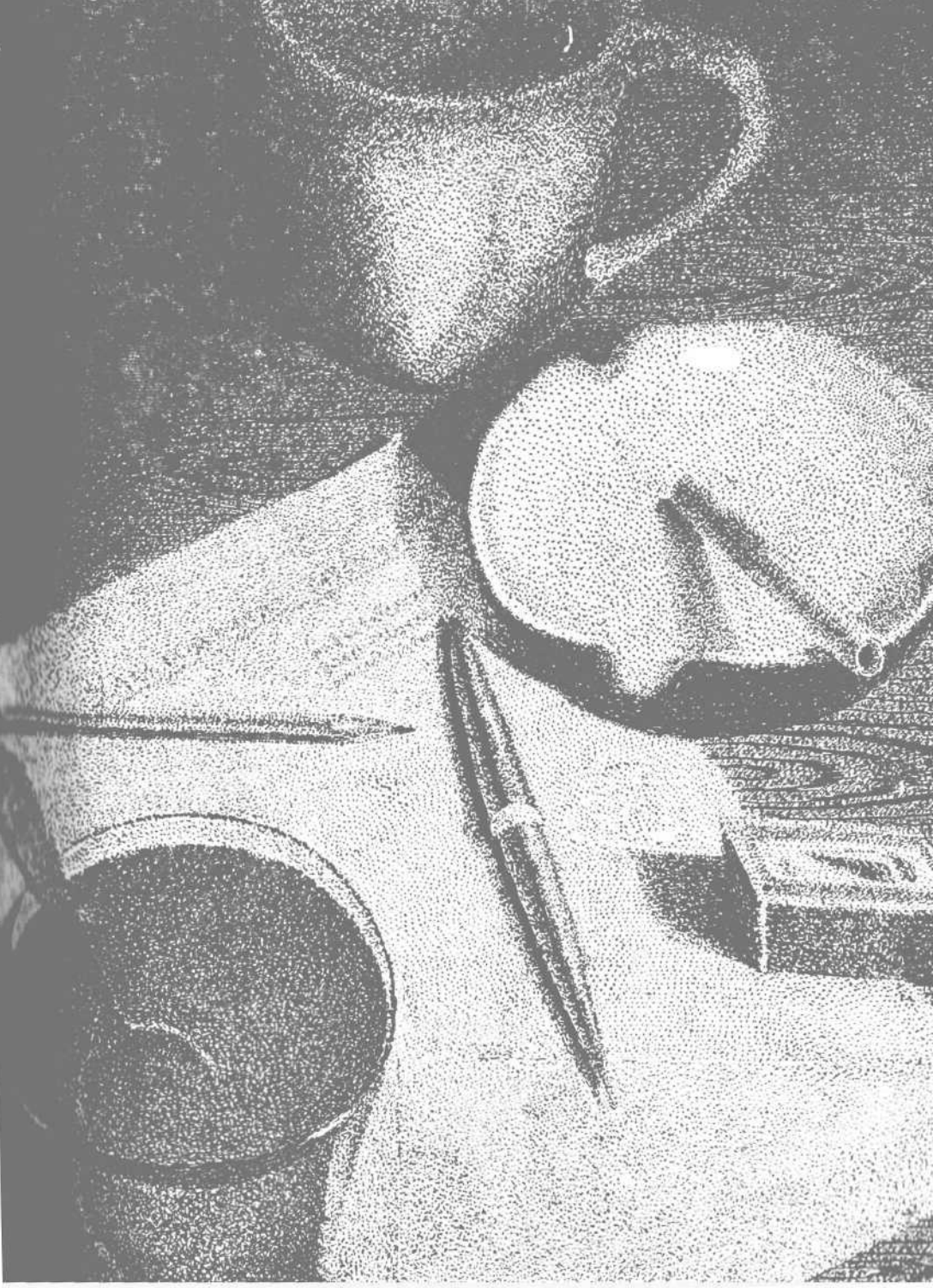
Следует учитывать, что сама «историческая» память человечества слишком несовершенна. Об этом еще Экклезиаст писал: «Бывает нечто, о чем говорят: смотри, вот это новое, но это было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после».

Несовершенство «исторической» памяти трудно объяснить. Конечно, определенную роль в этом играла этническая, территориальная и профессиональная разобщенность человечества. Имела значение и та особенность, что во все времена лишь ограниченный круг людей был хранителем знаний, большая часть человечества к знаниям не допускалась. Следует также считаться и с тем, что в знаниях видели большую опасность для рода человеческого; существовало убеждение, что извечно установлен определенный «порог познания», за который нельзя переступать без риска для судеб земной цивилизации. Поэтому трудно говорить, почему роду людскому приходится снова и снова открывать ценности, которые были известны в минувшие времена. Закон обновления? Закон обязательного повторения на новом уровне пройденных этапов? Инстинкт самосохранения человечества? Не будем пока гадать. Одно остается несомненным, не требующим никаких догадок—это разрушительная деятельность людей и времени. И, пожалуй, не столько времени, сколько людей, прямо-таки одержимых «демоном разрушения». Французский археолог Д. До в своей книге «Этапы археологии» писал:

«Вода, мороз и солнце атакуют камень и дерево; влажность земли и соли, содержащиеся в ней, разрушают фундаменты, терзают металл; морской ветер и песок разъедают колонны, землетрясения разрушают дворцы и храмы. Этна разрушила Катану, а Везувий—Геркуланум и Помпеи; в результате изменения береговых линий скры-

Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий

Улитка на склоне



лись под водой многие древние поселения. Но не меньше природы сделали люди. Армии и отдельные лица грабили и разрушали, поджоги уничтожили храм Артемиды в Эфесе и Александрийскую библиотеку, города возникали на древних руинах, древние сооружения служили карьерами для добычи камня для следующих поколений, они превращали в щебень рельефы и статуи, рядом со всеми великими руинами греческими и римскими стояли печи для выжигания извести.

Форум, Палатин и Акрополь были добычей каменщика, в XVIII в. храм Гигантов в Агригенте дал материал, необходимый для постройки ближайшей дамбы, в XVII в. часть бронзовых украшений пантеона Адриана послужила для изготовления пушек, религиозный фанатизм христиан и мусульман привел к разрушению многих статуй, Феодосий II в 435 г. приказал разрушить все языческие храмы. Парфенон, использованный турками как пороховой завод, был бомбардирован венецианцами, храмы перестраивались в церкви, а церкви—в мечети.

Создается отчетливое впечатление, что вся история—это история созидания и последующего за тем разрушения людьми результатов своей созидательной деятельности.

Каждое открытие тайны—

рождение новых тайн

Некоторые считают, что введение «рационалистического» угла зрения в рассмотрение загадок, оставшихся от прошлого,—это недостаточно благородное занятие, наносящее определенный ущерб человеку как нравственно-этическому единству. «Люди нуждаются в тайне. Не нужно все открывать, надо пощадить тайну! Не убивайте тайну!»—говорят любители иррационального.

Если отрешиться от «провинциализма во времени», являющегося разновидностью «чванства», которое «всегда бывает отвратительным для потомства»; если помнить о том, что «в дальнейшем будет наука XXI века и даже XXX, с позиций которых на-

ши познания о космосе могут показаться совсем другими, чем кажутся нам сейчас» (мы цитируем слова американского профессора Дж. Аллена Хайнека)—то можно ответить «охранителям тайны»: за каждым разгаданным секретом истории или природы открывается новая таинственная перспектива, целая «анфилада» тайн, которых хватит для всех поколений. Высший нравственный долг ученого—стремиться к разгадке всех этих хитростей и секретов, участвовать в процессе, имя которому—бесконечность, ибо каждое открытие тайны—это рождение новых тайн.

Отказываясь от естественного права говорить вслух и выносить свои мысли на суд общества, боясь показаться перед людьми наивными и «недостаточно научными», не уподобляемся ли мы добровольно тем грешникам в аду, которых «бог» лишает права «зывать о милости»? «Бог», видимо, делает это потому, что не до конца уверен в своей правоте; поскольку он милостив и всеблаг, он может снизить на жалобы грешников в минуту своей слабости, чего не может себе позволить в минуту твердости. А грешники, зная, что они правы, забывают о своем праве на «милость» и вынуждены постепенно смиряться со своей участью, повторяя практику своей земной жизни. «Каким я был, таким и в смерти буду»,—говорил один из грешников Данте.

Каждая мысль—это уже факт. Но мысль не может существовать в герметически замкнутом объеме. Она развивается только в условиях контакта с мыслящим коллективом. Мысль в глобальном масштабе—фактор космический. Тейяру де Шардену казалось, что с течением времени Земля «окутывается единой мыслящей оболочкой, образующей функционально одну обширную крупинку мысли в космическом масштабе».

Мысль имеет своего материального носителя—слово. Человек, осужденный на длительное одиночество и молчание, перестает мыслить. В каждом случае—это утрата для мыслящего человечества.

Мы не все еще знаем о природе и смысле мышления. Но мы понимаем, что без мышления нет жизни, нет прогресса.

Основной смысл нашей статьи—призыв к ученым не отмахиваться от «роковых» проблем, а принять непосредственное участие в их освещении и решении.

ЗА ПОВОРОТОМ, В ГЛУБИНЕ
ЛЕСНОГО ЛОГА
ГОТОВО БУДУЩЕЕ МНЕ
ВЕРНЕЙ ЗАЛОГА.

ЕГО УЖЕ НЕ ВТЯНЕШЬ В СПОР
И НЕ ЗАЛАСТИШЬ,
ОНО РАСПАХНУТО, КАК БОР,
ВСЕ ВШИРЬ, ВСЕ НАСТЕЖЬ.

Б. ПАСТЕРНАК.

ТИХО, ТИХО ПОЛЗИ,
УЛИТКА, ПО СКЛОНУ ФУДЗИ,
ВВЕРХ, ДО САМЫХ ВЫСОТ!

И ССА,
сын крестьянина.

Рис. Севера ГАНСОВСКОГО.

Глава первая

С этой высоты лес был как пышная пятнистая пена; как огромная, на весь мир, рыхлая губка; как животное, которое затаилось когда-то в ожидании, а потом заснуло и проросло грубым мохом. Как бесформенная маска, скрывающая лицо, которого никто еще никогда не видел.

Перец сбросил сандалии и сел, свесив босые ноги в пропасть. Ему показалось, что пятки сразу стали влажными, словно он и в самом деле погрузил их в теплый лиловый туман, скопившийся в тени под утесом. Он достал из кармана собранные камешки и аккуратно разложил их возле себя, а потом выбрал самый маленький и тихонько бросил его вниз, в живое и молчаливое, в спящее, равнодушное, глотающее навсегда, и белая искра погасла, и ничего не произошло — не шевельнулись никакие ветки и никакие глаза не приоткрылись, чтобы взглянуть на него.

Если бросать по камешку каждые полторы минуты; и если правда то, что рассказывала одноногая повариха, по прозвищу Казалунья, и предполагала мадам Бардо, начальница группы Помощи местному населению; и если неправда то, о чем шептались шофер Тузик с Неизвестным из группы Инженерного проникновения; и если чего-нибудь стоит человеческая интуиция; и если исполняются хоть раз в жизни ожидания; тогда на седьмом камешке кусты позади с треском раздвинутся, и на полянку, на мятую траву, седую от росы, ступит директор, голый по пояс, в серых габардиновых брюках с лиловым кантом, шумно дышащий, лоснящийся, желто-розовый, мох-

Не ищите в этой повести восторженного описания грядущих чудес науки и техники. Не ищите также пророчеств и предвидений в области социологии и морали. Тот, кто любит фантастику именно такого рода, пускай обратится, например, к недавно переизданной Детгизом повести тех же авторов «Возвращение»: там есть лирические и остроумные эскизы конструкций будущего коммунистического общества, построенные на научном предвидении.

«Улитка на склоне» — это фантастика совсем другого рода. И другого уровня — гораздо более сложная, рассчитанная на восприятие квалифицированных, активно мыслящих читателей. Таких читателей в нашей стране очень много — без преувеличения можно сказать, что больше, чем в какой-либо другой стране мира. А общедоступность произведений искусства (то есть, доступность любого произведения любому читателю) — это ведь вообще фикция. Не существует некий «читатель вообще» — есть очень неодинаковые читательские аудитории, определяющиеся уровнем понимания мира, степенью активности, возрастом, профессией, средой (не говоря уж о разнице индивидуальных вкусов и пристрастий). Существуют и различные уровни сложности в литературе. Юморески раннего Чехова вполне доступны каждому грамотному человеку; для понимания зрелого чеховского творчества нужна зрелость мысли и чувства.

шатый, и ни на что не глядя, ни на лес под собой, ни на небо над собой, пойдет сгибаться, погружая широкие ладони в траву, и разгибаться, поднимая ветер размахами широких ладоней, и каждый раз мощная складка на его животе будет накатывать сверху на брюки, а воздух, насыщенный углекислотой и никотином, будет со свистом и хлопотанием вырываться из разинутого рта.

Кусты позади с треском раздвинулись. Перец осторожно оглянулся, но это был не директор, это был знакомый человек Клавдий-Октавиан Домарошнер из группы Искоренения. Он медленно приблизился и остановился в двух шагах, глядя на Переца сверху вниз пристальными темными глазами. Он что-то знал или подозревал, что-то очень важное, и это знание или подозрение сковывало его длинное лицо, окаменевшее лицо человека, принесшего сюда, к обрыву странную тревожную новость; еще никто в мире не знал этой новости, но уже ясно было, что все решительно изменилось, что все прежнее отныне больше не имеет значения и от каждого, наконец, потребуются все, на что он способен.

— А чьи же это туфли? — спросил он и огляделся.

— Это не туфли, — сказал Перец. — Это сандалии.

— Вот как? — Домарошнер усмехнулся и потянул из кармана большой блокнот. — Сандалии? Оч-чень хорошо. Но чьи это сандалии?

Он придвинулся к обрыву, осторожно заглянул вниз и сейчас же отступил.

— Человек сидит у обрыва, — сказал он, — и рядом с ним сандалии. Неизбежно возникает вопрос: чьи это сандалии и где их владелец?

— Это мои сандалии, — сказал Перец.

— Ваши? — Домарошнер с сомнением посмотрел на большой блокнот. — Значит, вы сидите босиком? Почему?

— Босиком — потому что иначе нельзя, — объяснил Перец. — Я вчера уронил туда правую туфлю и решил, что впредь всегда буду сидеть босиком. — Он нагнулся и посмотрел через раздвинутые колени. — Вон она лежит. Сейчас я в нее камешком...

Домарошнер проворно поймал его за руку и отобрал камешек.

— Действительно, простой камень, — сказал он. — Но это пока ничего не меняет. Непонятно, Перец, почему это вы меня обманываете. Ведь туфлю отсюда увидеть нельзя — даже если она действительно там, а там ли она, это особый вопрос, которым мы займемся попозже, — а раз туфлю увидеть нельзя, значит, вы не можете рассчитывать попасть в нее камнем, даже если бы вы обладали соответствующей меткостью и действительно хотели бы этого и только этого: я имею в виду попадание... Но мы все это сейчас выясним. — Он поддернул брюки и присел на корточки.

— Итак, вы вчера тоже были здесь, — сказал он. — Зачем? Почему вы вот уже вторично пришли на обрыв, куда остальные сотрудники Управления, не говоря уже о внештатных специалистах, ходят разве для того, чтобы справиться нужду?

Перец сжался. Это просто от невежества, подумал он. Нет, нет, это не вызов

Так что я вовсе не собираюсь, из опасения, что «Улитка на склоне» будет кому-то непонятна, давать к ней разъяснительные примечания: я знаю, что этой повести обеспечена достаточно широкая аудитория. Я просто хочу дать некоторые необходимые справки, так сказать, библиографического характера.

Дело в том, что в «Байкале» публикуется лишь одна часть (примерно, половина) этой повести. Другая ее часть была опубликована в 1966 году в ленинградском сборнике фантастики «Эллинский секрет». Трудно и даже невозможно определить, какая из этих частей является первой, какая — второй. Действие одной из них происходит в таинственном и жутком Лесе, другой — в Институте, который занимается проблемами, связанными с этим Лесом. В одной из них главным героем является бывший сотрудник Института, Кандид, об исчезновении (или гибели) которого иногда упоминают персонажи другой части; этим и ограничивается внешняя, сюжетная связь между ними, в остальном их действие развивается параллельно и независимо друг от друга.

Конечно, для более полного понимания повести надо прочесть обе книги. Но то, что публикует на своих страницах «Байкал», на мой взгляд, представляет вполне достаточный самостоятельный интерес.

Ариадна Громова.

и не злоба, этому не надо придавать значение. Это просто невежество. Невежеству не надо придавать значение, никто не придает значение невежеству. Невежество испражняется в лес. Невежество всегда на что-нибудь испражняется.

— Вам, наверное, нравится здесь сидеть,— вкрадчиво продолжал Домарошнинер.— Вы, наверное, очень любите лес. Вы его любите? Отвечайте!

— А вы? — спросил Перец.

— А вы не забывайте,— сказал он обиженно и раскрыл блокнот.— Вы прекрасно знаете, где я состою, а я состою в группе Искоренения, и поэтому ваш вопрос, а вернее, контрвопрос абсолютно лишен смысла. Вы прекрасно понимаете, что мое отношение к лесу определяется моим служебным долгом, а вот чем определяется ваше отношение к лесу — мне не ясно. Это нехорошо, Перец, вы обязательно подумайте об этом, советую вам для вашей же пользы, не для своей. Нельзя быть таким непонятным. Сидит над обрывом, босиком, бросает камни... Зачем, спрашивается? На вашем месте я бы прямо рассказал мне все. И все расставил бы на свои места. Откуда вы знаете, может быть, есть смягчающие обстоятельства, и вам в конечном счете ничто не грозит. А, Перец?

— Нет,— сказал Перец.— То есть, конечно, да.

— Вот видите. Простота сразу исчезает, и ее больше нет. Чья рука? — спрашиваем мы. Куда бросает? Или, может быть, кому? Или, может быть, в кого? А зачем?.. И как это вы можете сидеть на краю обрыва? От природы это у вас или вдруг вы специально тренировались? Я, например, на краю обрыва сидеть не могу. И мне страшно подумать, ради чего бы это я стал тренироваться. У меня голова кружится. И это естественно. Человеку вообще незачем сидеть на краю обрыва. Особенно, если он не имеет пропуска в лес. Покажите мне, пожалуйста, ваш пропуск, Перец.

— У меня нет пропуска.

— Так. Нет. А почему?

— Не знаю... не дают вот.

— Правильно, не дают. Нам это известно. А вот почему не дают? Мне дали, ему дали, им дали и еще многим, а вам почему-то не дают.

Перец осторожно покосился на него. Длинный тощий нос Домарошнинера шмыгал, глаза часто мигали.

— Наверное, потому что я посторонний,— предположил Перец.— Наверное, по этому.

— И ведь не только я вами интересуюсь,— продолжал Домарошнинер доверительно.— Если бы только я! Вами интересуются люди и поважнее... Слушайте, Перец, может быть, вы отсыдете от обрыва, чтобы мы могли продолжать? У меня голова кружится смотреть на вас.

Перец поднялся, запрыгал на одной ноге, натягивая сандалию.

— Ох, да отойдите же вы от края! — страдальчески закричал Домарошнинер, махая на Переца блокнотом.— Вы меня убьете когда-нибудь своими выходками!

— Уже все,— сказал Перец, притопывая.— Больше не буду. Пошли?

— Пошли,— сказал Домарошнинер.— Но я констатирую, что вы не ответили ни на один мой вопрос. Вы меня очень огорчаете, Перец. Разве так можно?— Он посмотрел на большой блокнот и, пожав плечами, сунул его под мышку.— Странно даже. Решительно никаких впечатлений, я уже не говорю об информации.

— Так, а что отвечать? — сказал Перец.— Просто мне нужно было здесь поговорить с директором.

Домарошнинер замер, словно застряв в кустах.

— Ах, вот как это у вас делается,— сказал он изменившимся голосом.

— Что делается? Ничего не делается...

— Нет-нет,— шепотом сказал Домарошнинер, озираясь.— Молчите и молчите. Не надо никаких слов. Я уже понял. Вы были правы.

— Что вы поняли? В чем это я прав?

— Нет-нет, я ничего не понял. Не понял и все. Вы можете быть совершенно спокойны. Не понял и не понял. И вообще я здесь не был и вас не видел.

Они миновали скамеечку, поднялись по выщербленным ступеням, свернули на

аллею, посыпанную мелким красным песком, и вступили на территорию Управления.

— Полная ясность может существовать лишь на определенном уровне,—говорил Домарошнинер.— И каждый должен знать, на что он может претендовать. Я претендовал на ясность на своем уровне, это мое право, и я исчерпал его. А там, где кончаются права, там начинаются обязанности..

Они прошли мимо десятиквартирных коттеджей с тюлевыми занавесками на окнах, миновали гараж, пересекли спортивную площадку, и пошли мимо складов, мимо гостиницы, в дверях которой стоял с портфелем болезненно-бледный комендант с неподвижными выпученными глазами, вдоль длинного забора, за которым скрежетали двигатели. Они шли все быстрее, потому что времени оставалось мало, потом они побежали, и все-таки, когда они ворвались в столовую, было уже поздно, и все места были заняты, только за дежурным столиком в дальнем углу оставалось еще два места, а третье занимал шофер Тузик, и шофер Тузик, заметив, что они в нерешительности топчутся у порога, помахал им вилкой, приглашая к себе.

Все пили кефир, и Перец тоже взял себе кефиру, так что у них на столе на заскорузлой скатерти выстроилось шесть бутылок, а когда Перец задвигал под столом ногами, устраиваясь поудобнее на стуле без сиденья, звякнуло стекло, и в проход между столиками выкатилась бутылка из-под бренди. Шофер Тузик ловко подхватил ее и засунул обратно под стол, и там снова звякнуло стекло.

— Вы поосторожнее ногами,— сказал он.

— Я нечаянно,— сказал Перец.— Я же не знал.

— А я знал? — возразил шофер Тузик.— Их там четыре штуки, доказывай потом, что ты не домкрат.

— Ну я, например, вообще не пью,— с достоинством сказал Домарошнинер. —

— Знаем мы, как вы не пьете,— сказал Тузик.— Так-то и мы не пьем.

— Но у меня печень больна! — забеспокоился Домарошнинер.— Вот справка.

Он выхватил откуда-то и сунул под нос Перцу мятый тетрадный листок с треугольной печатью. Это, действительно, была справка, написанная неразборчивым медицинским почерком. Перец различил только одно слово: «антабус».

— А есть еще за прошлый год и за позапрошлый, только они в сейфе.

Шофер Тузик справку посмотреть не стал. Он выцедил полный стакан кефиру, понюхал сустав указательного пальца и, прослезившись, сказал севшим голосом:

— Вот, например, что еще бывает в лесу? Деревья. — Он вытер рукавом глаза.— Но на месте они не стоят: прыгают. Понял?

— Ну-ну? — жадно спросил Перец. — Как так — прыгают?

— А вот так. Стоит оно неподвижно. Дерево, одним словом. Потом начинает корчиться, корячиться и ка-ак даст! Шум, треск, неразбери-поймешь. Метров на десять. Кабину мне помяло. И опять стоит.

— Почему? — спросил Перец.

— Потому что называется: прыгающее дерево,— объяснил Тузик, наливая себе кефиру.

— Вчера прибыла партия новых электропил,— сообщил Домарошнинер, облизывая губы.— Феноменальная производительность. Я бы даже сказал, что это не пилы, это пилящие комбайны. Наши пилящие комбайны искоренения.

А вокруг все пили кефир — из граненых стаканов, из жестяных кружек, из кофейных чашечек, из свернутых бумажных кулчков, прямо из бутылок. Ноги у всех были засунуты под стулья. И все, наверное, могли предъявить справки о болезнях печени, желудка, двенадцатиперстной кишки. И за этот год, и за прошлые годы.

— А потом меня вызывает менеджер,— продолжал Тузик в повышенном тоне,— и спрашивает, почему у меня cabina помята. Опять, говорит, стервец, налево ездил? Вы вот, пан Перец, играете с ним в шахматы, замолвили бы за меня словечко, он вас уважает, часто о вас говорит... Перец, говорит, это, говорит, фигура! Я, говорит, для Переца машины не дам, и не просите. Нельзя такого человека отпускать. Поймите же, говорит, дураки, нам же без него тошно будет! Замолвите, а?

— Хорошо,— упавшим голосом произнес Перец.— Я попробую.

— С менеджером могу поговорить я,— сказал Домарошнинер.— Мы вместе слушали, я был капитаном, а он был у меня лейтенантом. Он до сих пор приветствует меня прикладыванием руки к головному убору.

— Потом еще есть русалки,— сказала Тузик, держа на весу стакан с кефиром.— В больших чистых озерах. Они там лежат, поняла? Голые.

— Это вам, Туз, померещилось от вашего кефира,— сказал Домарошнинер.

— А я их сам и видел,— возразил Тузик, поднося стакан к губам.— Но воду из этих озер пить нельзя.

— Вы их не видели, потому что их нет,— сказал Домарошнинер.— Русалки — это мистика.

— Сам ты мистика,— сказал Тузик, вытирая глаза рукавом.

— Подождите,— сказал Перец.— Подождите. Тузик, вы говорите, они лежат... А еще что? Не может быть, чтобы они просто лежали и все.

Возможно, они живут под водой и выплывают на поверхность, как мы выходим на балкон из прокуренных комнат в лунную ночь и, закрыв глаза, подставляем лицо прохладе, и тогда они могут просто лежать. Просто лежать и все. Отдыхать. И лениво переговариваться и улыбаться друг другу...

— Ты со мной не спорь,— сказал Тузик, рассматривая Домарошнинера в упор.— Ты в лесу-то когда-нибудь был? Не был ведь в лесу-то ни разу, а туда же.

— И глупо,— сказал Домарошнинер.— Что мне в вашем лесу делать? У меня пропуск есть в ваш лес. А вот у вас, Туз, никакого пропуска нет. Покажите-ка мне, пожалуйста, ваш пропуск, Туз.

— Я сам этих русалок не видел,— повторил Тузик, обращаясь к Перцу.— Но я в них вполне верю. Потому что ребята рассказывают. И даже Кандид вот рассказывал. А уж Кандид про лес знал все. Он в этот лес как к своей бабе ходил, все там знал на ощупь. Он и погиб там, в этом своем лесу.

— Если бы погиб,— сказал Домарошнинер значительно.

— Чего там «если бы». Улетел человек на вертолете, и три года о нем ни слуху, ни духу. В газете траурное извещение было, поминки были, чего тебе еще? Разбился Кандид, конечно.

— Мы слишком мало знаем,— сказал Домарошнинер,— чтобы утверждать что-либо со всей категоричностью.

Тузик плюнул и пошел к стойке взять еще бутылку кефира. Тогда Домарошнинер нагнулся к уху Перца и, бегая глазами, прошептал:

— Имейте в виду, что относительно Кандида было закрытое распоряжение... я считаю себя вправе информировать вас, потому что вы — человек посторонний...

— Какое распоряжение?

— Считать его живым,— гулко прошептал Домарошнинер и отодвинулся.— Хороший, свежий кефир сегодня,— произнес он громко.

В столовой подняли шум. Те, кто уже позавтракал, вставали, двигая стульями, и шли к выходу, громко разговаривая, закуривали и бросали спички на пол. Домарошнинер злобно озирался и всем, кто проходил мимо, говорил: «Как-то страшно, господа, вы же видите, мы беседуем...»

Когда Тузик вернулся с бутылкой, Перец сказал ему:

— Неужели менеджер серьезно говорил, что не даст мне машину? Наверное, он просто шутил?

— Почему шутил? Он же вас, пан Перец, очень любит, ему без вас тошно, и отпускать вас отсюда ему просто-таки невыгодно... Ну, отпустит он вас, ну и что ему от этого? Какие уж тут шутки.

Перец закусил губу.

— Как же мне уехать? Мне здесь делать больше нечего. И виза кончается. И потом я просто хочу уже уехать.

— Вообще,— сказал Тузик,— если вы получите три строгака, вас отсюда выпрут и два счега. Специальный автобус дадут, шофера среди ночи поднимут, вещичек собрать не успеете... Ребята у нас как делают? Первый строгач — и понижают его в должности. Второй строгач — посылают в лес, грехи замаливать. А третий строгач — с приветом, до свидания. Если, скажем, я захочу уволиться, выпью я пол-банки и дам вот этому по морде. — Он показал на Домарошинера. — Сразу мне снимают награжденные и переводят меня на дерьмовоз. Тогда я что? — выпиваю еще пол-банки и даю ему по морде второй раз, понял? Тут меня снимают с дерьмовоза и отсылают на биостанцию ловить всяких там микробов. Но я на биостанцию не еду, а выпиваю еще пол-банки и даю ему по морде в третий раз. Вот тогда уже все. Уволен за хулиганские действия и выслан в двадцать четыре часа.

Домарошнер погрозил Тузiku пальцем.

— Дезинформируете, дезинформируете, Туз. Во-первых, между действиями должно пройти не менее месяца, иначе все проступки будут рассматриваться как один, и нарушителя просто поместят в карцер, не давая никакого хода его делу внутри самого Управления. Во-вторых, после второго проступка виновного отправляют в лес немедленно в сопровождении охранника, так что он будет лишен возможности произвести третий проступок по своему усмотрению. Вы его не слушайте, Перец, он в этих проблемах не разбирается.

Тузик отхлебнул кефиру, сморщился, и крикнул:

— Это верно,— признался он.— Тут я, пожалуй, действительно... того. Вы уж извините, пан Перец.

— Да нет, что уж...— грустно сказал Перец.— Все равно я не могу ни с того ни с сего бить человека по физиономии.

— Так ведь не обязательно же по этой... по морде,— сказал Тузик.— Можно, например, и по этой... по заднице. Или просто костюм на нем порвать.

— Нет, я так не умею,— сказал Перец.

— Тогда плохо,— сказал Тузик.— Тогда вам беда, пан Перец. Тогда мы вот как сделаем. Вы завтра утром часикам к семи приходите в гараж, садитесь там в мою машину и ждите. Я вас отвезу.

— Правда? — обрадовался Перец.

— Ну. Мне завтра на Материк ехать, железный лом везти. Вместе и поедем.

В углу кто-то вдруг страшно закричал: «Ты что наделал? Ты суп мой пролил!»

— Человек должен быть простым и ясным,— сказал Домарошнер. — Не понимаю я, Перец, почему это вы хотите отсюда уехать. Никто не хочет уехать, а вы хотите.

— У меня всегда так,— сказал Перец.— Я всегда делаю наоборот. И потом почему это обязательно человек должен быть простым и ясным?

— Человек должен быть непьющим,— заявил Тузик, нюхая сустав указательного пальца.— Скажешь, нет?

— Я не пью,— сказал Домарошнер.— И я не пью по очень простой и каждому ясной причине: у меня больна печень. Так что вы меня, Туз, не поймаете.

— Что меня в лесу удивляет,— сказал Тузик,— так это болота. Они горячие, понял? Я этого не выношу. Никак я привыкнуть не могу. Врывается где-нибудь, несет с гати, и вот сижу я в кабине и вылезти не могу. Как ши горячие. Пар идет, и пахнет щами, я даже хлебать пробовал, только невкусно, соли там не хватает, что ли... Не-ет, лес — это не для человека. И чего они там не видели? И гонят, и гонят технику, как в прорубь, она там тонет, а они еще выплывают, она тонет, а они еще...

Зеленое пахучее изобилие. Изобилие красок, изобилие запахов. Изобилие жизни. И все чужое. Чем-то знакомое, кое в чем похожее, но по-настоящему чужое. Наверное, труднее всего примириться с тем, что оно и чужое, и знакомое одновременно. С тем, что оно — производное от нашего мира, плоть от плоти нашей, но порвавшее с нами и не желающее нас знать. Наверное, так мог бы думать питекантроп о нас, о своих потомках — с горечью и со страхом...

— Когда выйдет приказ,— провозгласил Домарошнер,— мы двинем туда не наши паршивые бульдозеры и вездеходы, а кое-что настоящее, и за два месяца превратим там все в... э-э... в бетонированную площадку, сухую и ровную.

— Ты превратишь,— сказал Тузик.— Тебе если по морде вовремя не дать, ты

родного отца в бетонную площадку превратишь. Для ясности.

Густо загудел гудок. В окнах задребезжали стекла, и сейчас же над дверью грянул мощный звонок, замигали огни на стенах, а над стойкой вспыхнула крупная надпись: «Вставай, выходи!» Домарошнинер торопливо поднялся, перевел стрелку на ручных часах и, не говоря ни слова, бросился бежать.

— Ну, я пойду,— сказал Перец.— Работать пора.

— Пора,— согласился Тузик.— Самое время.

Он скинул стеганку, аккуратно скатал ее и, сдвинув стулья, улегся, подложив стеганку под голову.

— Значит, завтра в семь? — сказал Перец.

— Что? — спросил Тузик сонным голосом.

— Завтра в семь я приду.

— Куда это? — спросил Тузик, ворочаясь на стульях. — Разъезжаются, подыме,— пробормотал он.— Сколько раз я им говорил: поставьте диван...

— В гараж,— сказал Перец.— К вашей машине.

— А-а... Ну приходите, приходите, там посмотрим. Трудное это дело.

Он поджал ноги, сунул ладони под мышки и заснул. Руки у него были волосатые, а под волосами виднелась татуировка. Там было написано: «Что нас губит» и «Только вперед». Перец пошел к выходу.

Он переправился по дощечке через огромную лужу на заднем дворе, обогнул курган пустых консервных банок, прыгнул сквозь щель в досчатом заборе и через служебный подъезд вошел в здание Управления. В коридорах было холодно и темно, пахло табачным перегаром, пылью, лежалыми бумагами. Никого нигде не было, из-за обитых дерматином дверей ничего не было слышно. По узкой лестничке без перил, придерживаясь за обшарпанную стену, Перец поднялся на второй этаж и подошел к двери, над которой вспыхивала и гасла надпись: «Помой руки перед работой». На двери красовалась большая черная буква «М». Перец толкнул дверь и испытал некоторое потрясение, обнаружив, что попал в свой кабинет. То есть, конечно, это был не его кабинет, это был кабинет Кима, начальника группы Научной охраны, но в этом кабинете Перцу поставили стол, и теперь этот стол стоял сбоку от двери у кафельной стены, и пол-стола занимал, как всегда, зачехленный «мерседес», а у большого отмытого окна стоял стол Кима, а сам Ким уже работал: сидел, согнувшись, и смотрел на логарифмическую линейку.

— Я хотел руки помыть...— сказал Перец растерянно.

— Помой, помой,— сказал Ким, мотнув головой.— Вот тебе умывальник. Теперь будет очень удобно. Теперь все к нам ходить будут.

Перец подошел к умывальнику и стал мыть руки. Он мыл руки холодной и горячей водой, двумя сортами мыла и специальной жиропоглощающей пастой, тер их мочалкой и несколькими щеточками различной степени жесткости. Затем, он включил электросушилку и некоторое время держал розовые влажные руки в завывающем потоке теплого воздуха.

— В четыре утра всем объявляли, что нас переведут на второй этаж,— сказал Ким.— А ты где был? У Алевтины?

— Нет, я был на обрыве,— сказал Перец, усаживаясь на свой стол.

Дверь распахнулась, в помещение стремительно вошел Проконсул, помахал приветственно портфелем и скрылся за кулисой. Было слышно, как скрипнула дверца кабинки и шелкнула задвижка. Перец снял чехол с «мерседеса», посидел неподвижно, а потом подошел к окну и распахнул его.

Лес отсюда не был виден, но лес был. Он был всегда, хотя увидеть его можно было только с обрыва. В любом другом месте Управления его всегда что-нибудь заслоняло. Его заслоняли кремевые здания механических мастерских и четырехэтажный гараж для личных автомобилей сотрудников. Его заслоняли скотные дворы подсобного хозяйства и белье, развешенное возле прачечной, где постоянно была сломана сушильная центрифуга. Его заслонял парк с клумбами и павильонами, с чертовым колесом и гипсовыми купальщицами, покрытыми карандашными надписями. Его заслоняли коттеджи с верандами, увитыми плющом, и с крестами телевизионных антенн. А отсюда, из окна второго этажа, лес не был виден из-за высокой кирпичной ограды, пока еще недостроенной, но уже очень высокой, которая возводилась вокруг плоского



одноэтажного здания группы Инженерного проникновения. Лес можно было видеть только с обрыва.

Но даже человек, который никогда в жизни не видел леса, ничего не слышал о лесе, не думал о нем, не боялся леса и не мечтал о лесе, даже такой человек мог легко догадаться о существовании его уже просто потому, что существовало Управление. Вот я очень давно думал о лесе, спорил о лесе, видел его в моих снах, но я даже не подозревал, что он существует в действительности. И я уверился в его существовании не тогда, когда впервые вышел на обрыв, а когда прочел надпись на вывеске возле подъезда: «Управление по делам леса». Я стоял перед этой вывеской с чемоданом в руке, пыльный и высохший после длинной дороги, читал и перечитывал ее и чувствовал слабость в коленях, потому что знал теперь, что лес существует, а значит все, что я думал о нем до сих пор,— игра слабого воображения, бледная немощная ложь. Лес есть, и это огромное мрачное здание занимается его судьбой...

— Ким,— сказал Перец,— неужели я так и не попаду в лес? Ведь я завтра уезжаю.

— А ты действительно хочешь туда попасть?— спросил Ким рассеянно.

Зеленые горячие болота, нервные пугливые деревья, русалки, отдыхающие на воде под луной от своей таинственной деятельности в глубинах, осторожные непонятные аборигены, пустые деревни...

— Не знаю,— сказал Перец.

— Тебе туда нельзя, Перчик,— сказал Ким.— Туда можно только людям, которые никогда о лесе не думали. которым на лес всегда было наплевать. А ты слишком близко принимаешь его к сердцу. Лес для тебя опасен, потому что он тебя обманет.

— Наверное,— сказал Перец.— Но ведь я приехал сюда только для того, чтобы поглядеть его.

— Зачем тебе горькие истины?— сказал Ким.— Что ты с ними будешь делать? И что ты будешь делать в лесу? Плакать о мечте, которая превратилась в судьбу? Молиться, чтобы все было не так? Или, чего доброго, возьмешься переделывать то, что есть, в то, что должно быть?

— А зачем же я сюда приезжал?

— Чтобы убедиться. Неужели ты не понимаешь, как все это важно: убедиться. Другие приезжают для другого. Чтобы обнаружить в лесу кубометры дров. Или найти бактерию жизни. Или написать диссертацию. Или получить пропуск, но не для того, чтобы ходить в лес, а просто на всякий случай: когда-нибудь пригодится, да и не у всех есть. А предел поползновений — извлечь из леса роскошный парк, как скульптор извлекает статую из глыбы мрамора. Чтобы потом этот парк стричь. Из года в год. Не давать ему снова стать лесом.

— Уехать бы мне отсюда,— сказал Перец.— Нечего мне здесь делать. Кому-то надо уехать, либо мне, либо вам всем.

— Давай умножать,— сказал Ким, и Перец сел за свой стол, нашел наспех сделанную розетку и включил «мерседес».

— Семьсот девяносто три пятьсот двадцать два на двести шестьдесят шесть ноль одиннадцать...

«Мерседес» застучал и задергался. Перец подождал, пока он успокоится, и запинаясь, прочитал ответ.

— Так. Погаси,— сказал Ким.— Теперь шестьсот девяносто восемь триста двенадцать подели мне на десять пятнадцать...

Ким диктовал цифры, а Перец набирал их, нажимал на клавиши умножения и деления, складывал, вычитал, извлекал корни, и все шло, как обычно.

— Двенадцать на десять,— сказал Ким.— Умножить.

— Один ноль ноль семь,— механически продиктовал Перец, а потом спохватился и сказал:— Слушай, он ведь врёт. Должно быть сто двадцать.

— Знаю, знаю,— нетерпеливо сказал Ким.— Один ноль ноль семь,— повторил он.— А теперь извлеки мне корень из десяти ноль семь...

— Сейчас,— сказал Перец.

Снова щелкнула задвижка за кулисой, и появился Проконсул, розовый, свежий

и удовлетворенный. Он стал мыть руки, напевая при этом приятным голосом «Аве Мария». Потом он провозгласил:

— Какое же это все-таки чудо — лес, господа мои! И как преступно мало мы говорим и пишем о нем! А между тем он достоин того, чтобы о нем писать. Он облагораживает, он будит высшие чувства. Он способствует прогрессу. Он сам подобен символу прогресса. А мы никак не можем пресечь распространение неквалифицированных слухов, побасенок, анекдотов. Пропаганда леса по существу не ведется. О лесу говорят и думают черт-те что...

— Семьсот восемьдесят пять умножь на четыреста тридцать два, — сказал Ким. Проконсул повысил голос. Голос у него был сильный и хорошо поставленный — «мерседеса» не стало слышно.

— «Живем как в лесу»... «Лесные люди»... «Из-за деревьев не видно леса»... «Кто в лес, кто по дрова»... Вот с чем мы должны бороться! Вот что мы должны искоренять. Скажем, вы, мосье Перец, почему вы не боретесь? Ведь вы могли бы сделать в клубе обстоятельный целенаправленный доклад о лесу, а вы его не делаете. Я давно за вами наблюдаю и все жду, и все напрасно. В чем дело?

— Так я ведь там никогда не был, — сказал Перец.

— Неважно. Я там тоже никогда не был, но я прочел лекцию, и, судя по отзывам, это была очень полезная лекция. Дело ведь не в том, был ты в лесу или не был, дело в том, чтобы содрать с фактов шелуху мистики и суеверий, обнажить субстанцию, сорвав с нее одеяние, напыленное обывателями и утилитаристами...

— Дважды восемь поделить на сорок девять минус семью семь, — сказал Ким. «Мерседес» заработал. Проконсул снова повысил голос.

— Я делал это как философ по образованию, а вы могли бы сделать это как лингвист по образованию. Я вам дам тезисы, а вы их разовьете в свете последних достижений лингвистики... или какая там у вас тема диссертации?

— У меня «Особенности стиля и ритмики женской прозы позднего Хэйана» на материале «Макура-но соси», — сказал Перец. — Боюсь, что...

— Пре-вос-ход-но! Это именно то, что нужно. И подчеркните, что не болота и трясины, а великолепные грязелечебницы; не прыгающие деревья, а продукт высоко-развитой науки; не туземцы, не дикари, а древняя цивилизация людей гордых, свободных, с высокими помыслами, скромных и могущественных. И никаких русалок! Никакого лилового тумана, никаких туманных намеков — простите меня за неудачный каламбур... Это будет превосходно, мингер Перец, это будет замечательно. И это очень хорошо, что вы знаете лес, что вы можете поделиться своими личными впечатлениями. Моя лекция была тоже хороша, однако, боюсь, несколько умозрительна. В качестве основного материала я использовал протоколы заседаний. А вы, как исследователь леса...

— Я не исследователь леса, — сказал Перец убедительно. — Меня в лес не пускают. Я не знаю леса.

Проконсул, рассеянно кивая, что-то быстро писал на манжете.

— Да, — говорил он. — Да, да. К сожалению, это горькая правда. К сожалению, это у нас еще встречается — формализм, бюрократизм, эвристический подход к личности... Об этом вы, между прочим, тоже можете сказать. Можете, можете, об этом все говорят. А я попытаюсь согласовать ваше выступление с дирекцией. Я чертовски рад, Перец, что вы, наконец, примете участие в нашей работе. Я уже давно и очень внимательно приглядываюсь к вам... Вот так, я вас записал на следующую неделю.

Перец выключил «мерседес».

— Меня не будет на следующей неделе. У меня кончилась виза, и я уезжаю. Завтра.

— Ну, это мы как-нибудь уладим. Я пойду к директору, он сам член клуба, он поймет. Считайте, что вы остались еще на неделю.

— Не надо, — сказал Перец. — Не надо!

— Надо! — сказал Проконсул, глядя ему в глаза. — Вы отлично знаете, Перец: надо! До свидания.

Он поднес два пальца к виску и удалился, помахивая портфелем.

— Паутина какая-то, — сказал Перец. — Что я им — муха? Менеджер не хочет, чтобы я уезжал, Алевтина не хочет, а теперь и этот тоже...

— Я тоже не хочу, чтобы ты уезжал,— сказал Ким.

— Но я не могу здесь больше!

— Семьсот восемьдесят семь умножить на четыреста тридцать два...

«Все равно я уеду,—думал Перец, нажимая на клавиши.— Все равно я уеду. Вы не хотите себе, а я уеду. Не буду я играть с вами в пинг-понг, не буду играть в шахматы, не буду я с вами спать и пить чай с вареньем, не хочу я больше петь вам песни, считать вам на «мерседесе», разбирать ваши споры, а теперь еще читать вам лекции, которых все равно не поймете. И думать за вас я не буду, думайте сами, а я уеду. Уеду. Уеду. Все равно вы никогда не поймете, что думать — это не развлечение, а обязанность...»

Снаружи, за недостроенной стеной, тяжело бухала баба, стучали пневматические молотки, с грохотом сыпался кирпич, а на стене рядом сидели четверо рабочих, голых по пояс, в фуражках, и курили. Потом под самым окном заревел и затрещал мотоцикл.

— Из леса кто-то,— сказал Ким.— Скорее умножь мне шестнадцать на шестнадцать.

Дверь рванули, и в комнату вбежал человек. Он был в комбинезоне, отстегнутый капюшон болтался у него на груди на шнурке рации. От башмаков до пояса комбинезон щетинился бледно-розовыми стрелками молодых побегов, а правая нога была опутана оранжевой плетью лианы бесконечной длины, волоочащейся по полу. Лиана еще подергивалась, а Перцу показалось, что это щупальце самого леса, что оно сейчас напряжется и потянет человека обратно — через коридоры Управления, вниз по лестнице, по двору мимо стены, мимо столовой и мастерских и снова вниз, по пыльной улице, через парк, мимо статуй и павильонов, к въезду на серпантин, к воротам, но не в ворота, а мимо, к обрыву, вниз...

Он был в мотоциклетных очках, лицо его было густо припорошено пылью, и Перец не сразу понял, что это Стоян Стоянов с биостанции. В руке у него был большой бумажный кулек. Он сделал несколько шагов по кафельному полу, по мозаике, изображающей женщину под душем, и остановился перед Кимом, спрятав бумажный кулек за спину и делая странные движения головой, словно у него чесалась шея.

— Ким,— сказал он.— Это я.

Ким не отвечал. Слышно было, как его перо рвет и царапает бумагу.

— Кимушка,— заискивающе сказал Стоян.— Я ведь тебя умоляю.

— Пошел вон,— сказал Ким.— Маньяк.

— В последний разок,— сказал Стоян.— В самый распоследний.

Он снова сделал движение головой, и Перец увидел на его тощей подбритой шее, в самой ямочке под затылком, коротенький розоватый побег, тоненький, острый, уже завивающийся спиралью, дрожащий, как от жадности.

— Ты только передай и скажи, что от Стояна, и больше ничего. Если в кино станет звать, соври, что срочная вечерняя работа. Если будет чаем угощать, скажи, мол, только что пил. И от вина тоже откажись, если предложит. А? Кимушка! В самый наираспоследнейший!

— Что ты ежишься?— спросил Ким со злостью.— А ну-ка повернись!

— Опять подхватил?— спросил Стоян, поворачиваясь.— Ну, это неважно. Ты только передай, а остальное все неважно.

Ким, перегнувшись через стол, что-то делал с его шеей, что-то уминал и массирует, растопырив локти, брезгливо скалясь и бормоча ругательства. Стоян терпеливо переминался с ноги на ногу, наклонив голову и выгнув шею.

— Здравствуй, Перчик,— говорил он.— Давно я тебя не видел. Как ты тут? А я вот опять привез, что ты будешь делать... В самый разизипоследнейший.— Он развернул бумагу и показал Перцу букетик ядовито-зеленых лесных цветов.— А пахнут-то как! Пахнут!

— Да не дергайся ты,— прикрикнул Ким.— Стой смирно! Маньяк, шляпа!

— Маньяк,— с восторгом соглашался Стоян.— Шляпа. Но! В самый разизипоследнейший!

Розовые побеги на его комбинезоне уже увядали, сморщивались и осыпались на пол, на кирпичное лицо женщины под душем.

— Все,— сказал Ким.— Убирайся.

Он отошел от Стояна и бросил в мусорное ведро что-то полуживое, корчащееся, окровавленное.

— Убираюсь,— сказал Стоян.— Немедленно убираюсь. А то ведь знаешь, у нас Рита опять начудила, я теперь с биостанции и уезжать как-то боюсь. Перчик, ты бы приехал к нам, поговорил бы с ними, что ли...

— Еще чего!— сказал Ким.— Нечего там Перецу делать.

— Как это нечего?— вскричал Стоян.— Квентин просто на глазах тает! Ты послушай только: неделю назад Рита сбежала — ну, ладно, ну, что поделаешь... а этой ночью вернулась вся мокрая, белая, ледяная. Охранник было к ней сунулся с голыми руками — что-то она с ним такое сделала, до сих пор валяется без памяти. И весь опытный участок зарос травой.

— Ну?— сказал Ким.

— А Квентин все утро плакал...

— Это я все знаю,— перебил его Ким.— Я не понимаю, причем здесь Перец.

— Ну как причем? Ну что ты говоришь? Кто же еще, если не Перец? Не я ведь, верно? И не ты... Не Домарошнера же звать, Клавдия-Октавиана!

— Хватит!— сказал Ким, хлопнув ладонью по столу.— Убейся работать и чтобы я тебя здесь в рабочее время не видел. Не зли меня.

— Все,— торопливо сказал Стоян.— Все. Ухожу. А ты передашь?

Он положил букет на стол и выбежал вон, крикнув в дверях: «И клоака снова заработала...»

Ким взял веник и смел все осыпавшееся в угол.

— Безумный дурак,— сказал он.— И Рита эта... Теперь все пересчитывай заново. Провалиться им с этой любовью...

Под окном снова раздражающе затрещал мотоцикл и снова все стихло, только бухала баба за стеной.

— Перец,— сказал Ким,— а зачем ты был утром на обрыве?

— Я надеялся повидать директора. Мне сказали, что он иногда делает над обрывом зарядку. Я хотел попросить его, чтобы он отправил меня, но он не пришел. Ты знаешь, Ким, по-моему, здесь все врут. Иногда мне кажется, что даже ты врешь.

— Директор,— задумчиво сказал Ким.— А ведь это, пожалуй, мысль. Ты молодец. Это смело...

— Все равно я завтра уеду,— сказал Перец.— Тузик меня отвезет, он обещал. Завтра меня здесь не будет, так и знай.

— Не ожидал, не ожидал,— продолжал Ким, не слушая.— Очень смело... А может, действительно, послать тебя туда — разобраться?..

Глава вторая

Перец проснулся оттого, что холодные пальцы тронули его за голое плечо. Он открыл глаза и увидел, что над ним стоит человек в исподнем. Света в комнате не было, но человек стоял в лунной полосе, и было видно его белое лицо с вытаращенными глазами.

— Вам чего? — шепотом спросил Перец.

— Очистить надо,— тоже шепотом сказал человек.

«Да это же комендант»,— с облегчением подумал Перец.

— Почему очистить?— спросил он громко и приподнялся на локте.— Что очистить?

— Гостиница переполнена. Вам придется очистить место.

Перец растерянно оглядел комнату. В комнате все было по-прежнему, остальные три койки были по-прежнему свободны.

— А вы не озирайтесь,— сказал комендант.— Нам виднее. И все равно белье надо на вашей койке менять и отдавать в стирку. Сами-то вы стирать не будете, не так воспитаны...

Пере́ц понял: коменданту было очень страшно, и он хамил, чтобы придать себе смелости. Он был сейчас в том состоянии, когда тронь человека — и он завопит, заверещит, задержится, посадит раму и станет звать на помощь.

— Давай, давай,— сказал комендант и в каком-то жутком нетерпении погянул из-под Пере́ца подушку.— Белье, говорят...

— Да что же это,— проговорил Пере́ц.— Обязательно сейчас? Ночью?

— Срочно.

— Господи,— сказал Пере́ц.— Вы не в своем уме. Ну, хорошо... Забирайте белье, я и так обойдусь, мне всего эта ночь осталась.

Он слез с койки на холодный пол и стал сдирать с подушки наволочку. Комендант, словно бы оцепенев, следил за ним выпученными глазами. Губы его шевелились.

— Ремонт,— сказал он наконец.— Ремонт пора делать. Обои все ободрались, потолок потрескался, полы перестилать надо...— Голос его окреп.— Так что место вы все равно очищайте. Сейчас мы здесь начнем делать ремонт.

— Ремонт?

— Ремонт. Обои-то какие стали, видите? Сейчас сюда рабочие придут.

— Прямо сейчас?

— Прямо сейчас. Ждать больше невыносимо. Потолок весь растрескался. Того и гляди...

Пере́ца бросило в дрожь. Он оставил наволочку и взял в руки штаны.

— Который час?— спросил он.

— Первый час уже,— сказал комендант, снова переходя на шепот и почему-то озираясь.

— Куда же я пойду?— сказал Пере́ц, остановившись с одной ногой в штанине.— Ну, вы меня устройте где-нибудь. В другом номере...

— Пере́цполнено. А где не пере́цполнено, там ремонт.

— Ну в дежурке.

— Пере́цполнено.

Пере́ц с тоской уставился на луну.

— Ну хоть в кладовой,— сказал он.— В кладовой, в бельевой, в изоляторе. Мне всего шесть часов осталось спать. Или, может быть, вы меня у себя как-нибудь поместите...

Комендант вдруг заметался по комнате. Он бегал между койками, босой, белый, страшный, как привидение. Потом он остановился и сказал стонущим голосом:

— Да что же это, а? Ведь я тоже цивилизованный человек, два института окончил, не туземец какой-нибудь... Я же все понимаю! Но невозможно, поймите! Никак невозможно! — Он подскочил к Пере́цу и прошептал ему на ухо:— У вас виза истекла! Двадцать семь минут уже, как истекла, а вы все еще здесь. Нельзя вам быть здесь. Очень я вас прошу...— Он грохнулся на колени и вытащил из-под кровати ботинки и носки Пере́ца.— Я без пяти двенадцать проснулся весь в поту,— бормотал он.— Ну, думаю, все. Вот и конец мой пришел. Как был, так и побежал. Ничего не помню. Облака какие-то на улицах, гвозди цепляют за ноги... А у меня жена родить должна! Одевайтесь, одевайтесь, пожалуйста...

Пере́ц торопливо оделся. Он плохо соображал. Комендант все бегал между койками, шлепая по лунным квадратам, выглядывал в коридор, высовывался в окна и шептал: «Боже мой, что же это...»

— Можно, я хоть чемодан у вас оставляю?— спросил Пере́ц.

Комендант лязгнул зубами.

— Ни в коем случае! Вы же меня погубите... Ну надо же быть таким бессердечным! Боже мой, боже мой...

Пере́ц собрал книги, с трудом закрыл чемодан, взял на руку плащ и спросил:

— Куда же мне теперь?

Комендант не ответил. Он ждал, приплясывая от нетерпения. Пере́ц поднял чемодан и по темной тихой лестнице спустился на улицу. Он остановился на крыльце и, стараясь унять дрожь, некоторое время слушал, как комендант втолковывает сонному дежурному: «...будет назад проситься. Не пускать! У него... (неясный злобный шепот). Понял? Ты отвечаешь...» Пере́ц сел на чемодан и положил плащ на колени.

— Нет уж, извините, — сказал комендант у него за спиной. — С крыльца попрошу сойти. Территорию гостиницы попрошу все-таки полностью очистить.

Пришлось сойти и поставить чемодан на мостовую. Комендант потоптался немного, бормоча: «Очень попрошу... Жена... без никаких эксцессов... Последствия... Нелзя...» и ушел, белея исподним, крадась вдоль забора. Перец поглядел на темные окна коттеджей, на темные окна Управления, на темные окна гостиницы. Нигде не было света, даже уличные фонари не горели. Была только луна — круглая, блестящая и какая-то злобная.

И вдруг он обнаружил, что он один. У него никого не было. Вокруг спят люди, и все они любят меня, я это знаю, я много раз это видел. И все-таки я один, словно они вдруг умерли или стали моими врагами... И комендант — добрый уродливый человек, страдающий базедовой болезнью, неудачник, прилепившийся ко мне с первого же дня... Мы играли с ним на пианино в четыре руки и спорили, и я был единственным, с кем он осмеливался спорить и рядом с кем он чувствовал себя полноценным человеком, а не отцом семерых детей. И Ким. Он вернулся из канцелярии и принес огромную папку с доносами. Десяносто два доноса на меня, все написаны одним почерком и подписаны разными фамилиями. Что я ворую казенный сургуч на почте, и что я привез в чемодане малолетнюю любовницу и прячу ее в подвале пекарни, и что я еще много чего... И Ким читал эти доносы и один бросал в корзину, а другие откладывал в сторону, бормоча: «А это надо обмозговать...». И это было неожиданно и ужасно, бессмысленно и отвратительно... Как он робко взглядывал на меня и сразу отводил глаза...

Перец поднялся, взял чемодан и побрел, куда глаза глядят. Глаза никуда не глядели. Да и не на что было глядеть на этих пустых темных улицах. Он спотыкался, он чихал от пыли и кажется несколько раз упал. Чемодан был невероятно тяжелый и какой-то неуправляемый. Он грузно терся о ногу, потом тяжело отплывал в сторону и, вернувшись из темноты, с размаху ударял по колену. В темной аллее парка, где совсем не было света и только зыбкие, как комендант, статуи смутно белели во мраке, чемодан вдруг вцепился в штанину какой-то отставшей пряжкой, и Перец в отчаянии бросил его. Пришел час отчаяния. Плача и ничего не видя из-за слез, Перец продрался через колючие сухие и пыльные живые изгороди, скатился по ступенькам, упал, больно ударившись спиной, и совсем уже без сил, задыхаясь от обиды и от жалости, опустился на колени у края обрыва.

Но лес оставался безразличным. Он был так безразличен, что даже не был виден. Под обрывом была тьма, и только на самом горизонте что-то широкое и слоистое, серое и бесформенное вяло светилось в сиянии луны.

— Проснись, — попросил Перец. — Погляди на меня хотя бы сейчас, когда мы одни, не беспокойся, они все спят. Неужели тебе никто из нас не нужен? Или ты, может быть, не понимаешь, что это такое нужно? Это когда нельзя обойтись без... Это когда все время думаешь о... Это когда всю жизнь стремишься к... Я не знаю, какой ты. Этого не знают даже те, кто совершенно уверен в том, что знают. Ты такой, какой ты есть, но могу же я надеяться, что ты такой, каким я всю жизнь хотел тебя видеть: добрый и умный, снисходительный и помнящий, внимательный и, может быть, даже благодарный. Мы растеряли все это, у нас не хватает на это ни сил, ни времени, мы только строим памятники, все больше, все выше, все дешевле, а помнить — помнить мы уже не можем. Но ты-то ведь другой, потому-то я и пришел к тебе издалека, не веря в то, что ты существуешь на самом деле. Так неужели я тебе не нужен? Нет, я буду говорить правду. Боюсь, что ты мне тоже не нужен. Мы увидели друга друга, но ближе мы не стали, а должно было случиться совсем не так. Может быть, это они стоят между нами? Их много, я один, но я — один из них, ты, наверное, не различаешь меня в толпе, а может быть, меня и различать не стоит. Может быть, я сам придумал те человеческие качества, которые должны нравиться тебе, но не тебе, какой ты есть, а тебе, каким я тебя придумал...

Из-за горизонта вдруг медленно всплыли яркие белые комочки света, повисли, распухая, и сразу же справа под утесом, под нависшими скалами суматошно забегали лучи прожекторов, заматались по небу, застревая в слоях тумана. Световые комочки над горизонтом все распухали, растягивались, обратились в белесые облачка и погасли. Через минуту погасли и прожектора.

— Они боятся, — сказал Перец. — Я тоже боюсь. Но я боюсь не только тебя, я еще боюсь и за тебя. Ты ведь их еще не знаешь. Впрочем, я их тоже знаю очень плохо. Я знаю только, что они способны на любые крайности, на самую крайнюю степень тупости и мудрости, жестокости и жалости, ярости и выдержки. У них нет только одного: понимания. Они всегда подменяли понимание какими-нибудь суррогатами — верой, неверием, равнодушием, пренебрежением. Как-то всегда получалось, что это проще всего. Проще поверить, чем понять. Проще разочароваться, чем понять. Между прочим, я завтра уезжаю, но это еще ничего не значит. Здесь я не могу помочь тебе, здесь все слишком прочно, слишком устоялось. Я здесь слишком уж заметно лишний, чужой. Но точку приложения сил я еще найду, не беспокойся. Правда, они могут необратимо загадить тебя, но на это тоже надо время и немало: им ведь еще нужно найти самый эффективный, экономичный и главное простой способ. Мы еще поборемся, было бы за что бороться... До свидания.

Перец поднялся с колен и побрел назад, через кусты, в парк, на аллею. Он попытался найти чемодан и не нашел. Тогда он вернулся на главную улицу, пустую и освещенную только луной. Был уже второй час ночи, когда он остановился перед привлекливо раскрытой дверью библиотеки Управления. Окна библиотеки были завешены тяжелыми шторами, а внутри она была освещена ярко, как танцевальный павильон. Паркет разохся и отчаянно скрипел, и вокруг были книги. Стеллажи ломились от книг, книги горами лежали на столах и по углам, и кроме Переца и книг в библиотеке не было ни души.

Перец опустил в большое старое кресло, вытянул ноги и, откинувшись, покойно положил руки на подлокотники. Ну, что стоите, сказал он книгам. Бездельники! Разве для этого вас писали? Доложите, доложите-ка мне, как идет сев, сколько посеяно? Сколько посеяно: разумного, доброго, вечного? И какие виды на урожай? А главное — каковы всходы? Молчите... Вот ты, как тебя... Да-да, ты, двухтомник! Сколько человек тебя прочитало? А сколько понял? Я очень люблю тебя, старина, ты добрый и честный товарищ. Ты никогда не орал, не хвастался, не бил себя в грудь. Добрый и честный. И те, кто тебя читают, тоже становятся добрыми и честными. Хотя бы на время. Хотя бы сами с собой... Но ты знаешь, есть такое мнение, что для того, чтобы шагать вперед, доброта и честность не так уж обязательны. Для этого нужны ноги. И башмаки. Можно даже немые ноги и нечищенные башмаки... Прогресс может оказаться совершенно безразличным к понятиям доброты и честности, как он был безразличен к этим понятиям до сих пор. Управлению, например, для его правильного функционирования ни честность, ни доброта не нужны. Приятно, желательно, но отнюдь не обязательно. Как латынь для банщика. Как бицепсы для бухгалтера. Как уважение к женщине для Домарошинера... Но все зависит от того, как понимать прогресс. Можно понимать его так, что появляются эти знаменитые «зато»: алкоголик, зато отличный специалист; распутник, зато отличный проповедник; вор, ведь, выжига, но зато какой администратор! Убийца, зато как дисциплинирован и предан... А можно понимать прогресс как превращение всех в людей добрых и честных. И тогда мы доживем когда-нибудь до того времени, когда будут говорить: специалист он, конечно, знающий, но грязный тип, гнать его надо...

Слушайте, книги, а вы знаете, что вас больше, чем людей? Если бы все люди исчезли, вы могли бы населять землю и были бы точно такими же, как люди. Среди вас есть добрые и честные, мудрые, многознающие, а также легкомысленные пустышки, скептики, сумасшедшие, убийцы, растлители, дети, унылые проповедники, самодовольные дураки и полухрипящие крикуны с воспаленными глазами. И вы бы не знали, зачем вы. В самом деле, зачем вы? Многие из вас дают знания, но зачем это знание в лесу? Оно не имеет к лесу никакого отношения. Это как, если бы лучшего строителя солнечных городов старательно учили бы фортификации, и тогда, как бы он потом ни тисился построить стадион или санаторий, у него все выходило бы какой-нибудь угрюмый редут с флешами, эскарпами и контрэскарпами. То, что вы дали людям, которые пришли в лес, это не знание, это — предрассудки... Другие из вас вселяют неверие и упадок духа. И не потому, что они мрачны или жестоки, или предлагают оставить надежду, а потому что лгут. Иногда лгут лучезарно, с бодрыми песнями и лихим посвистом, иногда плаксиво, стеной и оправдываясь, но — лгут.

Мочему-то такие книги никогда не сжигают и никогда не изымают из библиотеки, не было еще в истории человечества случая, чтобы ложь предавали огню. Разве что случайно, не разобравшись или поверив. В лесу они тоже не нужны. Они нигде не нужны. Наверное, именно поэтому их так много... то есть не поэтому, а потому что их любят... Тьмы горьких истин нам дороже... Что? Кто это тут разговаривает? Ах, это я разговариваю... Так вот я и говорю, что есть еще книги... Что?..

— Тише, пусть спит...

— Чем спать, лучше бы выпил.

— Да не скрипи ты так... Ой, да это же Перец!

— А что нам Перец, ты знай не падай...

— Неужоженный какой-то, жалкий...

— Я не жалкий,— пробормотал Перец и проснулся.

Перед стеллажом, напротив, была библиотечная лесенка. На верхней ее ступени стояла Алевтина из фотолаборатории, а внизу шофер Тузик держал лесенку татуированными руками и смотрел вверх.

— И всегда-то он какой-то неприкаянный,— сказала Алевтина, глядя на Переца.— И не ужинал, наверное. Надо бы его разбудить, пусть хоть водки выпьет... Что, интересно, такие люди видят во сне?

— А вот что я вижу наяву!..— сказал Тузик, глядя вверх.

— Что-нибудь новое?— спросила Алевтина.— Никогда раньше не видел?

— Да нет,— сказал Тузик.— Нельзя сказать, чтобы особенно новое, но это как кино бывает — двадцать раз смотришь и все с удовольствием.

На третьей снизу ступеньке лестницы лежали ломти здорового штруцеля, на четвертой ступеньке были разложены огурцы и очищенные апельсины, а на пятой ступеньке стояла полупустая бутылка и пластмассовый стаканчик для карандашей.

— Ты смотреть смотри, а лесенку держи хорошенько,— сказала Алевтина и придалась доставать с верхних полек стеллажа толстые журналы и выцветшие папки. Она сдувала с них пыль, морщилась, листала страницы, некоторые папки откладывала в сторону, а прочие ставила на прежнее место. Шофер Тузик громко сопел.

— А за позапрошлый год тебе нужно?— спросила Алевтина.

— Мне сейчас одно нужно,— загадочно сказал Тузик.— Вот я сейчас Переца разбуджу.

— Не отходи от лестницы,— сказала Алевтина.

— Я не сплю,— сказал Перец.— Я уже давно на вас смотрю.

— Оттуда ничего не видно,— сказал Тузик.— Вы сюда идите, пан Перец, тут все есть: и женщины, и вино, и фрукты...

Перец поднялся, припадая на отсиженную ногу, подошел к лестнице и налил себе из бутылки.

— Что вы видели во сне, Перчик?— спросила Алевтина сверху.

Перец механически взглянул вверх и сейчас же опустил глаза.

— Что я видел... Какую-то чепуху... Разговаривал с книгами.

Он выпил и взял дольку апельсина.

— Подержите-ка минуточку, пан Перец,— сказал Тузик.— Я себе тоже налью.

— Так тебе за позапрошлый год нужно?— спросила Алевтина.

— А как же?— сказал Тузик. Он плеснул себе в стаканчик и стал выбирать огурец.— И за позапрошлый, и за позапозапрошлый... Мне всегда нужно. У меня это всегда было, я без этого жить не могу. Да без этого никто жить не может. Одному больше надо, другому — меньше... Я всегда говорю: чего вы меня учите, такой уж я человек...— Тузик выпил с большим удовольствием и с хрустом закусил огурец.— А так жить невозможно, как я здесь живу. Я вот еще немного потерплю-потерплю, а потом угоню машину в лес и русалку себе поймаю...

Перец держал лестницу и пытался думать о завтрашнем дне, а Тузик, присев на нижнюю ступеньку, принялся рассказывать, как в молодости они с компанией приятелей поймали на окраине парочку, ухажера побили и прогнали, а дамочку попытались использовать. Было холодно, сыро, по крайней мере в молодости лет ни у кого ничего не получалось, дамочка плакала, боялась, и приятели один за другим от нее отстали, и только он, Тузик, долго тащился за нею по грязным задворкам, хватал, ругался, и все ему казалось, что вот-вот получится, но никак не получалось, пока

он не довел ее до самого ее дома, и там, в темной парадной, прижал к железным перилам и получил, наконец, свое. В Тузиковом изложении случай казался чрезвычайно захватывающим и веселым.

— Так что русалочки от меня не уйдут,— сказал Тузик.— Я своего не упускаю и сейчас не упущу. У меня что на витрине, то и в магазине — без обмана.

У него было смуглое красивое лицо, густые брови, живые глаза и полный рот отличных зубов. Он был очень похож на итальянца. Только вот от ног у него пахло.

— Господи, что делают, что делают,— сказала Алевтина.— Все папки перепутали. На, держи пока эти.

Она наклонилась и передала Тузику кипу папок и журналов. Тузик принял кипу, перебрал несколько страниц, почитал про себя, шевеля губами, пересчитал папки и сказал:

— Еще две штуки нужно.

Перец все держал лестницу и смотрел на свои сжатые кулаки. Завтра в это время меня уже здесь не будет, думал он. Я буду сидеть рядом с Тузиком в кабине, будет жарко, металл еще только начнет остывать. Тузик включит фары, развалится поудобнее, высунав левый локоть в окно, и примется рассуждать о мировой политике. Больше я ему ни о чем не дам рассуждать. Пусть он останавливается возле каждой закусочной, пусть берет каких угодно попутчиков, пусть даже сделает крюк, чтобы перевезти кому-нибудь молотилку из ремонта. Но рассуждать я ему дам только о мировой политике. Или буду расспрашивать про разные автомобили. Про нормы расхода горючего, про аварии, про убийства взяточников-инспекторов. Он хороший рассказчик, и никогда не поймешь, врет он или говорит правду...

Тузик выпил еще порцию, причмокнул, поглядел на Алевтиныны ноги и стал рассказывать дальше, ерзая, выразительно жестикулируя и заливаясь жизнерадостным смехом. Скрупулезно придерживаясь хронологии, он рассказывал историю своей половой жизни, как она протекала из года в год, из месяца в месяц. Повариха из концентрационного лагеря, где он сидел за кражу бумаги в голодное время (повариха приговаривала: «Ну, не подкачай, Тузик, ну, смотри!..»), дочка политического заключенного из того же лагеря (ей было все равно — кто, она была уверена, что ее все равно сожгут), жена одного моряка из портового города, пытавшаяся таким образом отомстить своему кобелю-мужу за непрерывные измены. Одна богатая вдова, от которой Тузику потом пришлось убежать ночью в одних кальсонах, потому что она хотела бедного Тузика взять за себя и заставить торговать наркотиками и стыдными медицинскими препаратами. Женщины, которых он возил, когда работал шофером такси: они платили ему по монете с гостя, а в конце ночи — натурой («...я ей говорю: что же это ты, а обо мне кто подумает — ты вот уже с четырьмя, а я еще ни с одной...»). Потом жена, пятнадцатилетняя девочка, которую он взял за себя по специальному разрешению властей — она родила ему двойню и, в конце концов, ушла от него, когда он попытался расплачиваться ею с приятелями за приятельских любовниц. Женщины... девки... стервы... бабочки... падлы... сучки...

— Так что никакой я не развратник,— заключил он.— Просто я темпераментный мужчина, а не какой-нибудь слабосильный импотент...

Он допил спиртное, забрал папки и, не простившись, ушел, скрипя паркетом и насвистывая, странно сутулясь, похожий неожиданно не то на паука, не то на первобытного человека. Перец беспомощно смотрел ему вслед, когда Алевтина сказала:

— Дайте мне руку, Перчик.

Она присела на верхней ступеньке, опустила руки ему на плечи и, тихонько взвизгнув, прыгнула вниз. Он поймал ее под мышки и опустил на пол, и некоторое время они стояли близко друг к другу, лицом к лицу. Она держала руки у него на плечах, а он держал ее под мышками.

— Меня из гостиницы выгнали,— сказал он.

— Я знаю,— сказала она.— Пойдемте ко мне, хотите?

Она была добрая и теплая и смотрела ему в глаза спокойно, хотя и без особой уверенности. Глядя на нее, можно было представить себе много добрых, теплых и сладких картин, и Перец жадно проглядел все эти картины одну за другой, и попытался представить самого себя рядом с нею, но вдруг почувствовал, что это не полу-



чается: вместо себя он видел Тузика, красивого, наглого, точного в движениях и пахнущего ногами.

— Да нет, спасибо,— сказал он и отнял от нее руки.— Я уж как-нибудь так.

Она сейчас же повернулась и принялась собирать остатки еды на газетный лист.

— А зачем же — так?— сказала она.— Я вам могу на диване постелить. До утра поспите, а утром найдем вам комнату. Нельзя же каждую ночь сидеть в библиотеке...

— Спасибо,— сказал Перец.— Только завтра я уезжаю.

Она изумленно оглянулась на него.

— Уезжаете? В лес?

— Нет, домой.

— Домой...— Она медленно заворачивала еду в газету.— Но ведь вы же все время хотели попасть в лес, я сама слышала.

— Да видите ли, я хотел... Но меня туда не пускают. Не знаю даже, почему. А в Управлении мне делать нечего. Вот я и договорился... Тузик меня завтра ответит. Сейчас уже три часа. Пойду в гараж, заберусь в Тузинов грузовик и подожду там до утра. Так что вы не беспокоьтесь...

— Значит, будем прощаться... А то, может, пойдете все-таки?

— Спасибо, но я лучше в машине... Проспать боюсь. Тузик ведь ждать не станет.

Они вышли на улицу и рука об руку пошли к гаражу.

— Значит, вам не понравилось, что Тузик рассказывал?— спросил она.

— Нет,— сказал Перец.— Совсем не понравилось. Не люблю, когда об этом рассказывают. Зачем? Стыдно как-то... и за него стыдно, и за вас стыдно, и за себя... За всех. Слишком бессмысленно все это. Как от большой скуки.

— Чаще всего это и бывает от большой скуки,— сказала Алеуткина.— А за меня вы не стыдитесь, я к этому равнодушна. Мне это совершенно безразлично... Ну вот, вам сюда. Поцелуйте меня на прощание.

Перец поцеловал ее, ощущая какое-то смутное сожаление.

— Спасибо,— сказала она, повернулась и быстро пошла в другую сторону. Перец зачем-то помахал ей вслед рукой.

Потом он вошел в гараж, освещенный синими лампочками, перешагнул через храпевшего на вытасненном автомобильном сиденье охранника, нашел Тузинов грузовик и забрался в кабину. Здесь пахло резиной, бензином, пылью. На ветровом стекле, растопырившись, покачивался Микки-Маус. Хорошо, подумал Перец, уютно. Надо было сразу сюда идти. Вокруг стояли молчаливые машины, темные и пустые. Громко храпел охранник. Машины спали, охранник спал и спало все Управление. И Алеуткина раздевалась перед зеркалом в своей комнате рядом с расстеленной кроватью, большой, двуспальной, мягкой, жаркой... Нет, об этом не надо. Потому что днем мешает болтовня, стук «мерседеса», весь деловой бессмысленный хаос, а сейчас нет ни искоренения, ни проникновения, ни охраны, ни прочих зловещих глупостей, а есть сонный мир над обрывом, призрачный, как все сонные миры, невидимый и неслышимый, и несколько не более реальный, чем лес. Лес сейчас даже более реален: лес ведь никогда не спит. А может быть, он спит и всех нас видит во сне. Мы — сон леса. Атавистический сон. Грубые призраки его охлажденной сексуальности...

Перец лег, скорчившись, и подsunул под голову скомканный плащ. Микки-Маус тихонько покачивался на ниточке. При виде этой игрушки девушки всегда вскрикивали: «Ах, какой хорошенький!», а шофер Тузик им отвечал: «Что на витрине, то и в магазине». Рычаг передач упирался Перцу в бок, и Перец не знал, как его убрать. И можно ли его убрать. Может быть, если его убрать, машина поедет. Сначала медленно, потом все быстрее, прямо на спящего охранника, а Перец будет метаться по кабине и нажимать на все, что попадает под руки и под ноги, а охранник все ближе, уже виден его раскрытый храпящий рот. Потом машина подпрыгивает, круто сворачивает, врезается в стену гаража, и в проломе показывается синее небо...

Перец проснулся и увидел, что уже утро. В распахнутых дверях гаража курили механики, и была видна площадка перед гаражом, желтая от солнца. Было семь часов. Перец сел, потер лицо и посмотрел в зеркальце заднего вида. Побриться бы надо, подумал он, но не вылез из машины. Тузика еще не было, и надо было ждать его здесь, на месте, потому что все шоферы забывчивы и всегда уезжают без него. Есть два правила общения с шоферами: во-первых, никогда не вылезай из машины.

если можешь терпеть и ждать; и во-вторых, никогда не спорь с шофером, который тебя везет. В крайнем случае притворись спящим...

Механики в воротах бросили окурки, тщательно растерли их носками ботинок и вошли в гараж. Одного Перец не знал, а второй был, оказывается, вовсе не механик, а менеджер. Они прошли рядом, причем менеджер задержался возле кабины и, положив руку на крыло, почему-то заглянул под грузовик. Потом Перец услышал, как он распоряжается: «Ну пошевеливайся, давай домкрат». «А он где?»—спросил незнакомый механик. «...!—споконно сказал менеджер.—Под сиденьем посмотри». «Откуда же мне знать,—раздраженно сказал механик.—Я же вас предупреждал, что я официант...». Некоторое время было тихо, потом водительская дверца кабины открылась и появилось хмурое расстроенное лицо механика-официанта. Он посмотрел на Переца, оглядел кабину, зачем-то подергал руль, а потом запустил обе руки под сиденье и начал там греметь.

— Это, что ли, домкрат?—спросил он негромко.

— Н-нет,—сказал Перец.—Это, по-моему, разводной ключ.

Механик поднес разводной ключ к глазам, осмотрел его, поджав губы, положил на подножку и снова запустил руки под сиденье.

— Это?—спросил он.

— Нет,—сказал Перец.—Это я могу вам совершенно точно сказать. Это арифмометр. Домкраты не такие.

Механик-официант, сморщив низкий лоб, разглядывал арифмометр.

— А какие?—спросил он.

— Н-ну... Такая железная палка... Они разные бывают. У них такая подвижная ручка...

— А вот тут есть ручка. Как у кассы.

— Нет, это совсем другая ручка.

— А если эту повертеть, что будет?

Перец совсем затруднился. Механик подождал, со вздохом положил арифмометр на подножку и снова полез под сиденье.

— Может, вот это?—сказал он.

— Пожалуй. Очень похоже. Только там должна быть еще такая железная спица. Толстая.

Механик нашел и спицу. Он покачал ее на ладони, сказал: «Ладно, отнесу ему это для начала» и ушел, оставив дверцу открытой. Перец закурил. Где-то сзади звякало железо и бранились. Потом грузовик начал покрякивать и вздрагивать.

Грузика все не было, но Перец не беспокоился. Он представлял себе, как они покаты по главной улице Управления, и никто не будет на них смотреть. Потом они свернут на проселок, потащат за собой кучу желтой пыли, а солнце будет подниматься все выше, оно будет справа от них и скоро начнет припекать, а они свернут с проселка на шоссе, и оно будет длинное, ровное, блестящее и скучное, и у горизонта будут струиться миражи, похожие на большие сверкающие лужи...

Мимо кабины снова прошел механик, катя перед собой тяжелое заднее колесо. Колесо разогналось на бетонном полу, и видно было, что механик хочет его остановить и прислонить к стене, но колесо только слегка свернуло и грузно выкатилось во двор, а механик неловко побежал за ним, все больше отставая. Потом они скрылись из глаз, и во дворе механик громко и отчаянно закричал. Послышался топот многих ног, и мимо ворот с криками: «Лови его! Заходи справа!» пробежали еще люди.

Перец заметил, что машина стоит не так ровно, как раньше, и выглянул из кабины. Менеджер возился возле заднего колеса.

— Здравствуйте,—сказал Перец.—Что это вы...

— А, Перец, дорогой!—радостно вскричал менеджер, не прекращая работы.—Да вы сидите, сидите, не вылезайте! Вы нам не мешаете. Заела, дрянь проклятая... Одно вот хорошо снялось, а второе заело...

— Как заело? Испортилось что-нибудь?

— Не думаю,—сказал менеджер, выпрямляясь и вытирая лоб тыльной стороной ладони, в которой он держал ключ.—Просто прижавело, наверное, немножко.

Ну я его сейчас, быстро... А потом мы с вами шахматшки расставим. Как вы полагаете?

— В шахматшки?— сказал Перец.— А где Тузик?

— Тузик-то? То есть, Туз? Туз у нас теперь старший лаборант. Направлен он в лес. Туз у нас больше не работает. А зачем он вам?

— Да так...— тихо сказал Перец.— Просто я предполагал...— Он открыл дверь и спрыгнул на цементный пол.

— Да вы зря беспокоитесь,— сказал менеджер.— Сидели бы там, вы же не мешаете.

— Да что же сидеть,— сказал Перец.— Ведь эта машина не поедет?

— Нет, не поедет. Без колес она не может, а колеса надо снять... Надо же, как заело! А, чтоб тебя... Ладно, механики снимут. Пойдемте-ка мы лучше расставим.

Он взял Переца под руку и отвел его в свой кабинет. Там они сели за стол. менеджер отодвинул в сторону кучу бумаг, поставил шахматы и выключил телефон.

— С часами будем играть?— спросил он.

— Да я как-то даже не знаю,— сказал Перец.

В кабинете было сумеречно и холодно, сильный табачный дым плавал между шкафами как студенистые водоросли, а менеджер — бородавчатый, раздутый, пестрящий разноцветными пятнами, — словно гигантский осьминог, двумя волосатыми щупальцами вскрыл лакированную раковину шахматной доски и принялся хлопотливо извлекать из нее деревянные внутренности. Круглые глаза его тускло поблескивали, и правый, искусственный, был все время направлен в потолок, а левый, живой, как пыльная ртуть, свободно катался в орбите, устремляясь то на Переца, то на дверь, то на доску.

— С часами,— решил, наконец, менеджер. Он вынул из шкафа часы, завел их и, нажавши кнопку, сделал первый ход.

Солнце поднималось. На дворе кричали: «Заходи справа!» В восемь часов менеджер в трудном положении глубоко задумался и вдруг потребовал завтрак на двоих. Из гаража с рокотом выкатывались автомобили. Менеджер проиграл одну партию и предложил другую. Они плотно позавтракали: выпили по две бутылки кефиру и съели по черствому штруцелю. Менеджер проиграл вторую партию, с преданностью и восхищением поглядел на Переца живым глазом и предложил третью. Он разыгрывал все время один и тот же ферзевой гамбит, не отклоняясь ни на ход от выбранного раз и навсегда проигрышного варианта. Он словно отработывал поражение, и Перец переставлял фигуры совершенно автоматически, ощущая себя тренировочной машиной: ни в нем, ни в мире не было ничего, кроме шахматной доски, кнопки часов и жестко заданной программы действий.

Без пяти девять репродуктор внутреннего вещания хрюкнул и объявил бесполым голосом: «Всем работникам Управления находиться у телефонов. Ожидается обращение Директора к сотрудникам». Менеджер стал очень серьезным, включил телефон, снял трубку и приложил ее к уху. Теперь в потолок были направлены оба его глаза. «Мне можно идти?»— спросил Перец. Менеджер страшно нахмурился, прижал палец к губам, а потом замахал на Переца рукой. В телефонной трубке раздалось гнусавое кваканье. Перец на цыпочках вышел.

В гараже было много народу. Лица у всех были строгие, значительные, даже торжественные. Никто не работал, все прижимали к ушам телефонные трубки. Только на ярко освещенном дворе одинокий официант-механик, потный, красный, растерзанный, хрипло дыша, гонялся за колесом. Происходило что-то очень важное. Нельзя же так, подумал Перец, нельзя, я все время в стороне, я никогда ничего не знаю, может быть, в этом вся беда, может быть, на самом деле все правильно, но я не знаю, что к чему и поэтому все время оказываюсь лишним.

Он заскочил в будку ближайшего телефона-автомата, сорвал трубку, жадно прислушался, но в трубке были только гудки. Тогда он почувствовал внезапный страх. зудящее опасение, что он опять куда-то опаздывает, что опять где-то что-то всем раздают, а он как всегда останется без. Прыгая через канавы и ямы, он пересек строительную площадку, шархнулся от заступившего ему дорогу охранника с пистолетом в одной руке и с телефонной трубкой в другой и по приставной лестнице вскарабкался на недостроенную стену. Во всех окнах он успел увидеть сосредоточенно застыв-

ших людей с телефонными трубками, затем над ухом у него пронзительно взвизгнуло, и почти сразу он услышал за спиной револьверный выстрел, прыгнул вниз, в кучу мусора, и бросился к служебному входу. Дверь была заперта. Он несколько раз рванул ручку, ручка сломалась. Он отшвырнул ее в сторону и секунду соображал, что делать дальше. Рядом с дверью было раскрытое узкое окно, и он влез в него, весь перепачкавшись в пыли и сорвав ногти на пальцах.

В комнате, куда он попал, было два стула. За одним сидел с телефонной трубкой Домарошинер. Лицо у него было каменное, глаза закрыты. Он прижимал трубку к уху плечом и что-то быстро записывал карандашом в большом блокноте. Второй стол был пуст, и на нем стоял телефон. Перец схватил трубку и стал слушать.

Шорох. Потрескивания. Незнакомый писклявый голос: «...Управление реально может распоряжаться только ничтожным кусочком территории в океане леса, омывающего континент. Смысла жизни не существует и смысла поступков тоже. Мы можем чрезвычайно много, но мы до сих пор так и не поняли, что из того, что мы можем, нам действительно нужно. Он даже не противостоит, он попросту не замечает. Если поступок принес вам удовольствие — хорошо, если не принес — значит, он был бессмысленным...» Снова шорох и потрескивания. «...противостоим миллионами лошадиных сил, десятками вздоходов, дирижаблей и вертолетов, медицинской наукой и лучшей в мире теорией снабжения. У Управления обнаруживаются, по крайней мере, два крупных недостатка. В настоящее время акции подобного рода могут иметь далеко идущие шифровки на имя Герострата, чтобы он оставался нашим любимейшим другом. Оно совершенно неспособно созидать, не разрушая авторитета и неблагодарности...». Гудки, свист, звуки, похожие на надрывный кашель. «...оно очень любит так называемые простые решения, библиотеки, внутреннюю связь, географические и другие карты. Пути, которые оно почитает кратчайшими, чтобы думать о смысле жизни сразу за всех людей, а люди этого не любят. Сотрудники сидят, спустив ноги в пропасть, каждый на своем месте, толкаются, острят и швыряют камешки, и каждый старается швырнуть потяжелее, в то время как расход кефира не помогает ни взрастить, ни искоренить, ни в должной мере законспирировать лес. Я боюсь, что мы не поняли даже, что мы, собственно, хотим, а нервы, в конце концов, тоже надлежит тренировать, как тренируют способность к восприятию, и разум не краснеет и не мучается угрызениями совести, потому что вопрос из научного, из правильно поставленного, становится моральным. Он лживый, он скользкий, он непостоянный и притворяется. Но кто-то же должен раздражать, и не рассказывать легенды, а тщательно готовиться к пробному выходу. Завтра я приму вас опять и посмотрю, как вы подготавливались. Двадцать два ноль-ноль — радиологическая тревога и землетрясение, восемнадцать ноль-ноль — совещание свободного от дежурства персонала у меня, как это говорится, на ковре, двадцать четыре ноль-ноль — общая эвакуация...».

В трубке послышался звук как от льющейся воды. Потом все стихло, и Перец заметил, что Домарошинер смотрит на него строгими обвиняющими глазами.

— Что он говорит? — спросил Перец шепотом. — Я ничего не понимаю.

— И не странно, — сказал Домарошинер ледяным тоном. — Вы взяли не свою трубку. — Он опустил глаза, записал что-то в блокноте и продолжал: — Это, между прочим, абсолютно недопустимое нарушение правил. Я настаиваю, чтобы вы положили трубку и ушли. Иначе я вызову официальных лиц.

— Хорошо, — сказал Перец. — Я уйду. Но где моя трубка? Это — не моя. А где тогда моя?

Домарошинер не ответил. Глаза его вновь закрылись, и он снова прижал трубку к уху. До Перца донеслось кваканье.

— Я спрашиваю, где моя трубка? — крикнул Перец. Теперь он больше ничего не слышал. Был шорох, было потрескивание, а потом раздалась частые гудки отбоя. Тогда он бросил трубку и выбежал в коридор. Он распахивал двери кабинетов и всюду видел знакомых и незнакомых сотрудников. Одни сидели и стояли, застывшие в полной неподвижности, похожие на восковые фигуры со стеклянными глазами; другие расхаживали из угла в угол, переступая через телефонный провод, тянувшийся за ними; третьи лихорадочно писали в толстых тетрадах, на клочках бумаги, на полях газет. И каждый плотно прижимал к уху трубку, словно боясь пропустить хотя бы слово. Свободных телефонов не было. Перец попытался отобрать трубку у одно-

го из застывших в трансе сотрудников, молодого парня в рабочем комбинезоне, но тот сейчас же ожил, завизжал и принялся лягаться, и тогда остальные зашикали, замахали руками, а кто-то истерически крикнул: «Безобразие! Вызовите стражу!»

— Где моя трубка?— кричал Перец.— Я такой же человек, как и вы, я имею право знать! Дайте мне послушать! Дайте мне мою трубку!

Его выталкивали и запирали за ним двери. Он добрался до самого последнего этажа, где у входа на чердак, рядом с механическим отделением никогда не работающего лифта, сидели за столиком два дежурных механика и играли в крестики-нолики. Перец, задыхаясь, прислонился к стене. Механики поглядели на него, рассеянно ему улыбнулись и снова склонились над бумагой.

— У вас тоже нет своей трубки?— спросил Перец.

— Есть,— сказал один из механиков.— Как не быть? До этого мы еще не дошли.

— А что же вы не слушаете?

— А ничего не слышно, чего слушать-то.

— Почему не слышно?

— А мы провода перерезали.

Перец скомканным платком обтер лицо и шею, подождал, пока один механик выиграл у другого, и спустился вниз. В коридорах стало шумно. Двери распахивались, сотрудники выходили покурить. Жужжали оживленные, возбужденные, взволнованные голоса. «Я же вам достоверно говорю: эскимо изобрели эскимосы. Что? Но в конце концов, я просто читал в одной книге... А вы сами не слышите созвучия? Эски-мос. Эс-ки-мо. Что?..» «Я смотрел в каталоге Ивера; сто пятьдесят тысяч франков, и это — в пятьдесят шестом году. Представляете, сколько она стоит сегодня?» «Странные сигареты какие-то. Говорят, теперь табак в сигареты не кладут вовсе, а берут специальную бумагу, крошат ее и пропитывают никотином...» «От томатов тоже бывает рак. От томатов, от трубки, от яиц, от шелковых перчаток...» «Как вы спали? Представьте, я всю ночь не мог заснуть: непрерывно грохает эта баба. Слышите? И вот так всю ночь... Здравствуйте, Перец! А говорят, вы уехали... Молодец, что остались...» «Нашли, наконец, вора, помните, вещи все пропадали? Так это оказался дискобол из парка, знаете, статуя у фонтана. У него еще на ноге написано неприлично...» «Перчик, будь другом, дай пять монет до полочки, до завтра то есть...» «А он за нею не ухаживал. Она сама на него бросалась. Прямо при муже. Вот вы не верите, а я своими глазами видел...»

Перец спустился в свой кабинет, поздоровался с Кимом и умылся. Ким не работал. Он сидел, спокойно положив руки на стол, и смотрел на кафельную стену. Перец снял чехол с «мерседеса», воткнул вилку и выжидательно оглянулся на Кима.

— Нельзя сегодня работать,— сказал Ким.— Какой-то болван ходит и все чинит. Сажу и не знаю, что теперь делать.

Тут Перец заметил на своем столе записку. «Перцу. Доводим до сведения, что ваш телефон находится в кабинете 771». Подпись неразборчива. Перец вздохнул.

— Нечего тебе вздыхать,— сказал Ким.— Надо было на работу вовремя приходиться.

— Я же не знал,— сказал Перец.— Я уехать сегодня намеревался.

— Сам виноват,— сухо сказал Ким.

— Все равно я немножко послушал. И ты знаешь, Ким, я ничего не понял. Почему это так?

— Немножко послушал! Ты дурак. Ты идиот. Ты упустил такой случай, что мне даже говорить с тобой не хочется. Придется теперь знакомить тебя с директором. Просто из жалости.

— Познакомь,— сказал Перец.— Ты знаешь,— продолжал он,— иногда мне казалось, будто я что-то улавливаю, какие-то обрывки мыслей, по-моему очень интересных, но вот сейчас я пытаюсь вспомнить — и ничего...

— А чей это был телефон?

— Я не знаю. Это там, где Домарощинер сидит.

— А-а... Правильно, она сейчас рожает. Не везет Домарощинеру. Возьмет новую сотрудницу, поработает она у него полгода — и рожать... Да, Перчик, тебе женская трубка попала. Так что я даже не знаю, чем тебе помочь... Попряд, вообще,

никто не слушает, женщины, наверное, тоже. Ведь директор обращается ко всем сразу, но одновременно и к каждому в отдельности. Понимаешь?

— Боюсь, что...

— Я, например, рекомендую слушать так. Разверни речь директора в одну строку, избегая знаков препинания, и выбирай слова случайным образом, мысленно бросая кости домино. Тогда, если половинки костей совпадают, слово принимается и выписывается на отдельном листе. Если не совпадает — слово временно отвергается, но остается в строке. Там есть еще некоторые тонкости, связанные с частотой гласных и согласных, но это уже эффект второго порядка. Понимаешь?

— Нет, — сказал Перец. — То есть да. Жалко, я не знал этого метода. И что же он сказал сегодня?

— Это не единственный метод. Есть еще, например, метод спирали с переменным ходом. Этот метод довольно груб, но если речь идет только о хозяйственно-экономических проблемах, то он очень удобен, потому что прост. Есть метод Стивенсон-заде, но он требует электронных приспособлений... Так что, пожалуй, лучше всего метод домино, а в частных случаях, когда словарь специализирован и ограничен, — метод спирали.

— Спасибо, — сказал Перец. — А о чем сегодня директор говорил?

— Что значит — о чем?

— Как?.. Ну... о чем? Ну что он... сказал?

— Кому?

— Кому? Ну тебе, например.

— К сожалению, я не могу тебе об этом рассказать. Это закрытый материал, а ты все-таки, Перчик, внештатный сотрудник. Так что не сердись.

— Нет, я не сержусь, — сказал Перец. — Я только хотел бы узнать... Он говорил что-то о лесе, о свободе воли... Я давеча камешки бросал в обрыв, ну просто так, без всякой цели, так он и об этом что-то говорил.

— Ты мне этого не рассказывай, — сказал Ким нервно. — Это меня не касается. Да и тебя тоже, раз это была не твоя трубка.

— Ну подожди, о лесе он что-нибудь говорил?

Ким пожал плечами.

— Ну, естественно. Он никогда ни о чем другом и не говорит. И давай прекратим этот разговор. Расскажи лучше, как ты уезжал.

Перец рассказал.

— Зря ты его все время обыгрываешь, — сказал Ким задумчиво.

— Я ничего не могу сделать. Я ведь довольно сильный шахматист, а он просто любитель... И потом он играет как-то странно...

— Это неважно. Я бы на твоем месте как следует подумал. Вообще, ты мне что-то не нравишься последнее время... Доносы на тебя пишут... Знаешь что, завтра я устрою тебе свидание с директором. Пойди к нему и решительно объяснись. Я думаю, он тебя отпустит. Ты только подчеркни, что ты лингвист, филолог, что попал сюда случайно, упомяни, как бы между прочим, что очень хотел попасть в лес, а теперь раздумал, потому что считаешь себя некомпетентным.

— Хорошо.

Они помолчали. Перец представил себя лицом к лицу с директором и ужаснулся. Метод домино, подумал он. Стивенсон-заде...

— И главное, не стесняйся плакать, — сказал Ким. — Он это любит.

Перец вскочил и взволнованно прошелся по комнате.

— Господи, — сказал он. — Хоть бы знать, как он выглядит. Какой он.

— Какой? Невысокого роста, рыжеватый...

— Домарошнер говорил, что он настоящий великан.

— Домарошнер дурак. Хвастун и враль. Директор — рыжеватый человек, полный, на правой щеке небольшой шрам. Когда ходит, слегка косолапит, как моряк. Собственно, он и есть бывший моряк.

— А Тузик говорил, что он сухопарый и носит длинные волосы, потому что у него нет одного уха.

— Это какой еще Тузик?

— Шофер, я же тебе рассказывал.

Ким желчно засмеялся.

— Откуда шофер Тузик может все это знать? Слушай, Перчик, нельзя же быть таким доверчивым.

— Тузик говорит, что был у него шофером и несколько раз его видел.

— Ну и что? Врет, вероятно. Я был у него личным секретарем, а не видел его ни разу.

— Кого?

— Директора. Я долго был у него секретарем, пока не защитил диссертацию.

— И ни разу его не видел?

— Ну, естественно! Ты воображаешь, это так просто?

— Подожди, откуда же ты знаешь, что он рыжеватый и так далее?

Ким покачал головой.

— Перчик, — сказал он ласково. — Душенька. Никто никогда не видел атома водорода, но все знают, что у него есть одна электронная оболочка определенных характеристик и ядро, состоящее в простейшем случае из одного протона.

— Это верно, — сказал Перец вяло. Он чувствовал, что устал. — Значит, я его завтра увижу.

— Нет уж, ты спроси меня что-нибудь полегче, — сказал Ким. — Я устрою тебе встречу, это я тебе гарантирую. А уж что ты там увидишь и кого — этого я не знаю. И что ты сам услышишь, я тоже не знаю. Ты ведь меня не спрашиваешь, отпустит тебя директор или нет, и правильно делаешь, что не спрашиваешь. Я ведь не могу этого знать, верно?

— Но это все-таки разные вещи, — сказал Перец.

— Одинаковые, Перчик, — сказал Ким. — Уверяю тебя, одинаковые.

— Я, наверное, кажусь очень бестолковым, — печально сказал Перец.

— Есть немножко.

— Просто я сегодня плохо спал.

— Нет, ты просто непрактичен. А почему ты, собственно, плохо спал?

Перец рассказал. И испугался. Добродушное лицо Кима вдруг налилось кровью, волосы взъерошились. Он зарычал, схватил телефонную трубку, бешено лабрал номер и рывкнул:

— Комендант? Что это значит, комендант? Как вы смели выселить Переца? Ма-ал-чать! Я вас не спрашиваю, что там у него кончилось, я вас спрашиваю, как вы смели выселить Переца! Что? Ма-ал-чать! Вы не смеете! Что? Болтовня, вздор! Ма-ал-чать! Я вас растопчу! Вместе с вашим Клавдий-Октавианом! Вы у меня сортиры чистить будете, вы у меня в лес поедете, в двадцать четыре часа, в шестьдесят минут! Что? Так... Так... Что? Так... Правильно. Это другой разговор. И белее самое лучшее... Это уж ваше дело. Хоть на улице... Что? Хорошо. Ладно. Ладно. Благодарю вас. Извините за беспокойство... Ну, естественно... Большое спасибо. До свидания.

Он положил трубку.

— Все в порядке, — сказал он. — Прекрасный все-таки человек. Иди отдыхай. Будешь жить у него в квартире, а он с семьей переселится в твой бывший номер, иначе, он, к сожалению, не может... И не спорь, умоляю тебя, не спорь, это совершенно не наше с тобой дело. Он сам так решил. Иди, иди, это приказ. Я тебе еще позвоню насчет директора...

Перец, пошатываясь, вышел на улицу, постоял немного, шурясь от солнца, и отправился в парк искать свой чемодан. Он не сразу нашел его, потому что чемодан крепко держал в мускулистой гипсовой руке прифонтанный вор-дискбол с неприличной надписью на левом бедре. Собственно, надпись не была такой уж неприличной. Там было химическим карандашом написано: «Девочки, бойтесь сифилиса».

Глава третья

Перец явился в приемную директора точно в десять утра. В приемной уже была очередь, человек двадцать. Переца поставили четвертым. Он сел в кресло между Беатрисой Вах, сотрудницей группы Помощи местному населению, и сумрачным со-

грудником группы Инженерного проникновения. Сумрачного сотрудника, судя по опознавательному жетону на груди и по надписи на белой картонной маске, следовало называть Брандскугелем. Приемная была окрашена в бледно-розовый цвет, на одной стене висела табличка «Не курить, не сорить, не шуметь», на другой — большая картина, изображающая подвиг лесопроходца Селивана: Селиван с поднятыми руками на глазах у потрясенных товарищей превращался в прыгающее дерево. Розовые шторы на окнах были глухо задернуты, под потолком сияла гигантская люстра. Кроме входной двери, на которой было написано «Выход», в приемной имелась еще одна дверь, огромная, обитая желтой кожей, с надписью «Выхода нет». Эта надпись была выполнена светящимися красками и смотрелась как угрюмое предупреждение. Под надписью стоял стол секретарши с четырьмя разноцветными телефонами и электрической пишущей машинкой. Секретарша, полная пожилая женщина в пенсне, надменно изучала «Учебник атомной физики». Посетители переговаривались сдержанными голосами. Многие явно нервничали и судорожно перелистывали старые иллюстрированные журналы. Все это чрезвычайно напоминало очередь к зубному врачу, и Перец снова ощутил неприятный холодок, дрожь в челюстях и желание немедленно уйти куда-нибудь.

— Они даже не ленивы,— сказала Беатриса Вах, чуть повернув красивую голову в сторону Перца.— Однако они не выносят систематической работы. Как вы, например, объясните ту необыкновенную легкость, с которой они покидают обжитые места?

— Это вы мне?— робко спросил Перец. Он понятия не имел, как объяснить необыкновенную легкость.

— Нет. Я — моншеру Брандскугелю.

Моншер Брандскугель поправил отклеивающийся левый ус и задуманным голосом промямлил:

— Я не знаю.

— Вот и мы тоже не знаем,— сказала Беатриса горько.— Стоит нашим отрядам появиться вблизи от деревни, как они бросают дома, все имущество и уходят. Создается впечатление, что они в нас совершенно не заинтересованы. Им ничего от нас не нужно. Как вы полагаете, это так и есть?

Некоторое время моншер Брандскугель молчал, словно раздумывая, и глядел на Беатрису странными крестообразными бойнищами своей маски, а потом произнес с прежней интонацией:

— Я не знаю.

— Очень неудачно,— продолжала Беатриса,— что наша группа комплектуется исключительно из женщин. Я понимаю, в этом есть глубокий смысл, но зачастую так не хватает мужской твердости, жесткости, я бы сказала — целенаправленности. К сожалению, женщины склонны разбрасываться, вы, наверное, замечали это.

— Я не знаю,— сказал Брандскугель, и усы у него вдруг отвалились и мягко спланировали на пол. Он подобрал их, внимательно осмотрел, приподняв край маски, и, деловито на них поплевав, посадил на место.

На столе секретарши мелодично звякнул колокольчик. Она отложила учебник, проглядела список, элегантно придерживая пенсне, и объявила:

— Профессор Какаду, вас просят.

Профессор Какаду уронил иллюстрированный журнал, вскочил, опять сел, огляделся, бледнее на глазах, потом, закусив губу, с совершенно искаженным лицом оттолкнулся от кресла и исчез за дверью с надписью «Выхода нет». Несколько секунд в приемной стояла болезненная тишина. Потом снова загудели голоса и зашелестели страницы.

— Мы никак не можем найти,— сказала Беатриса,— чем их заинтересовать, увлечь. Мы строили им удобные сухие жилища на сваях. Они забивают их торфом и заселяют какими-то насекомыми. Мы пытались предложить им вкусную пищу вместо той кислой мерзости, которую они поедают. Бесполезно. Мы пытались одеть их по-человечески. Один умер, двое заболели. Но мы продолжаем свои опыты. Вчера мы разбросали по лесу грузовик зеркал и золоченых пуговиц... Кино им не интересно, музыка тоже. Бессмертные творения вызывают у них что-то вроде хихиканья... Нет, начинать нужно с детей. Я, например, предлагаю отлавливать их детей и организовывать

вать специальные школы. К сожалению, это сопряжено с техническими трудностями: человеческими руками их не возьмешь, здесь понадобятся специальные машины... Впрочем, вы знаете это не хуже меня.

— Я не знаю,— сказал тоскливо моншер Брандсугель.

Снова звякнул колокольчик, и секретарша сказала:

— Беатриса, теперь вы. Прошу вас.

Беатриса засуетилась. Она бросилась было к двери, но остановилась, растерянно оглядываясь. Вернулась, заглянула под кресло, шепча: «Где же она? Где?», огромными глазами обвела приемную, дернула себя за волосы, громко закричала: «Где же она?!», а потом вдруг схватила Переца за пиджак и вывалила из кресла на пол. Под Перцем оказалась коричневая папка, и Беатриса схватила ее и несколько секунд стояла с закрытыми глазами и безмерно счастливым лицом, прижимая папку к груди, а затем медленно направилась к двери, обитой желтой кожей, и скрылась за нею. При мертвом молчании Перец поднялся и, стараясь ни на кого не глядеть, почистил бьюки. Впрочем, на него никто не обращал внимания: все смотрели на желтую дверь.

Что же я ему скажу?— подумал Перец. Скажу, что я филолог и не могу быть полезен Управлению, отпустите меня, я уеду и больше никогда не вернусь, честное слово. А зачем же вы приехали сюда? Я всегда очень интересовался лесом, но ведь в лес меня не пускают. И вообще, я попал сюда совершенно случайно, ведь я филолог. Филологам, литераторам, философам нечего делать в Управлении. Так что правильно меня не пускают, я это сознаю, я с этим согласен... Не могу я быть ни в Управлении, откуда испражняются на лес, ни в лесу, где отлавливают детей машинами. Мне бы отсюда уехать и заняться чем-нибудь попроще. Я знаю, меня здесь любят, но меня любят, как ребенок любит свои игрушки. Я здесь для забавы, я здесь не могу никого научить тому, что я знаю... Нет, этого, конечно, говорить нельзя. Надо пустить слезу, а где у нее, эту слезу, найду? Но я у него все разнесу, пусть только попробует меня не пустить. Все разнесу и уйду пешком. Перец представил себе, как идет по пыльной дороге под палящим солнцем километр за километром, а чемодан ведет себя все более и более самостоятельно. И с каждым шагом он все дальше и дальше удаляется от леса, от своей мечты, от своей тревоги, которая давно уже стала смыслом его жизни...

Что-то долго никого не вызывают, подумал он. Наверное, директор очень заинтересовался проектом отлова детей. И почему это из кабинета никто не выходит? Вероятно, есть другой выход.

— Извините, пожалуйста,— сказал он, обращаясь к моншеру Брандсугелю.— Который час?

Моншер Брандсугель посмотрел на свои ручные часы, подумал и сказал:

— Я не знаю.

Тогда Перец нагнулся к его уху и прошептал:

— Я никому не скажу. Ни-ко-му.

Моншер Брандсугель колебался. Он нерешительно потрогал пальцами пластиковый жетон со своим именем, украдкой огляделся, нервно зевнул, снова огляделся, надвинув плотнее маску, ответил шепотом:

— Я не знаю.

Затем он встал и поспешно удалился в другой угол приемной.

Секретарша сказала:

— Перец, ваша очередь.

— Как моя?— удивился Перец.— Я же четвертый.

— Внештатный сотрудник Перец,— повысив голос, сказала секретарша.— Ваша очередь.

— Рассуждает...— проворчал кто-то.

— Вот таких нам надо гнать...— громко сказали слева.— Раскаленной метлой!

Перец поднялся. Ноги у него были как ватные. Он бессмысленно пошаркал себя ладонями по бокам. Секретарша пристально глядела на него.

— Чует кошка,— сказали в приемной.

— Сколько веревочке ни виться...

— И вот такого мы терпели!

— Извините, но это вы терпели. Я его в первый раз вижу.

— А я, между прочим, тоже не в двадцатый.

— Ти-ше! — сказала секретарша, возвысив голос. — Соблюдайте тишину! И не сорите на пол — вот вы, там... да, да, я вам гозорю. Итак, сотрудник Перец, вы будете проходить? Или вызвать охрану?

— Да, — сказал Перец. — Да, я иду.

Последним, кого он видел в приемной, был моншер Брандскулгель, загородившийся в углу креслом, оскаленный, присевший, с рукой в заднем кармане брюк. А потом он увидел директора.

Директор оказался стройным ладным человеком лет тридцати пяти, в превосходно сидящем дорогом костюме. Он стоял у распахнутого окна и сыпал хлебные крошки голубям, толпившимся на подоконнике. Кабинет был абсолютно пуст, не было ни одного стула, не было даже стола, и только на стене против окна висела уменьшенная копия «Подвига лесопроходца Селивана».

— Внештатный сотрудник Управления Перец? — чистым звонким голосом произнес директор, поворачивая к Перцу свежее лицо спортсмена.

— Д-да... Я... — промямлил Перец.

— Очень, очень приятно. Наконец-то мы с вами познакомимся. Здравствуйте. Моя фамилия Ахти. Много о вас наслышан. Будем знакомы.

Перец, наклонившись от робости, пожал протянутую руку. Рука была сухая и крепкая.

— А я вот, видите, голубей кормлю. Любопытная птица. Огромные в ней чувствуются потенции. А как вы, мосье Перец, относитесь к голубям?

Перец замялся, потому что терпеть не мог голубей. Но лицо директора излучало такое радушие, такой живой интерес, такое нетерпеливое ожидание ответа, что Перец совладал с собою и соврал:

— Очень люблю, мосье Ахти.

— Вы их любите в жареном виде? Или в тушеном? Я, например, люблю в пироге. Пирог с голубями и стакан хорошего полусухого вина — что может быть лучше? Как вы думаете?

И снова на лице мосье Ахти появилось выражение живейшего интереса и нетерпеливого ожидания.

— Изумительно, — сказал Перец. Он решил махнуть на все рукой и со всем соглашаться.

— А «Голубка» Пикассо! — сказал мосье Ахти. — Я сразу же вспоминаю: «Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать, мгновения бегут неудержимо...» Как точно выражена эта идея нашей неспособности уловить и материализовать прекрасное!

— Превосходные стихи, — тупо сказал Перец.

— Когда я впервые увидел «Голубку», я, как и многие, вероятно, подумал, что рисунок неверен или, во всяком случае, неестественен. Но потом по роду службы мне пришлось приглядеться к голубям, и я вдруг осознал, что Пикассо, этот чудой, схватил то мгновение, когда голубь складывает крылья перед приземлением. Его лапки уже касаются земли, но сам он еще в воздухе, в полете. Мгновение превращения движения в неподвижность, полета в покой.

— У Пикассо есть странные картины, которых я не понимаю, — сказал Перец, проявляя независимость суждений.

— О, вы просто недостаточно долго смотрели на них. Чтобы понимать настоящую живопись, недостаточно два или три раза в год пройти по музею. На картины нужно смотреть часами. Как можно чаще. И только на оригиналы. Никаких репродукций. Никаких копий... Вот взгляните на эту картину. По вашему лицу я вижу, что вы о ней думаете. И вы правы: это дурная копия. Но вот если бы вам довелось ознакомиться с оригиналом, вы бы поняли идею художника.

— В чем же она заключается?

— Я попытаюсь вам объяснить, — с готовностью предложил директор. — Что вы видите на этой картине? Формально — получеловека-полудерево. Картина статична. Не видно, не улавливается переход от одной сущности к другой. В картине отсутствует главное — направление времени. А вот если бы вы имели возможность увидеть оригинал, вы поняли бы, что художнику удалось вложить в изображение глу-

бочайший символический смысл, что он запечатлел не человеко-дерево и даже не превращение человека в дерево, а именно и только превращение дерева в человека. Художник воспользовался идеей старой легенды для того, чтобы изобразить возникновение новой личности. Новое из старого. Живое из мертвого. Разумное из косной материи. Копия абсолютно статична, и все, изображенное на ней, существует вне потока времени. Оригинал же содержит время-движение! Вектор! Стрелу времени, как сказал бы Эддингтон...

— А где же оригинал?— спросил Перец вежливо.

Директор улыбнулся.

— Оригинал, разумеется, уничтожен как предмет искусства, не допускающий двойного толкования. Первая и вторая копии тоже из некоторой предосторожности уничтожены...

Мосье Ахти вернулся к окну и локтем спихнул голубей с подоконника.

— Так. О голубях мы поговорили,— произнес он новым, каким-то казенным голосом.— Ваше имя?

— Что?

— Имя. Ваше имя.

— Пе... Перец.

— Год рождения?

— Тридцатый...

— Точнее!

— Тысяча девятьсот тридцатый. Пятое марта.

— Что вы здесь делаете?

— Внештатный сотрудник. Прикомандирован к группе Научной охраны.

— Я вас спрашиваю: что вы здесь делаете?— сказал директор, обращая к Перцу слепые глаза.

— Я... Не знаю. Я хочу уехать отсюда.

— Ваше мнение о лесе. Кратко.

— Лес — это... Я всегда... Я его... боюсь. И люблю.

— Ваше мнение об Управлении?

— Тут много хороших людей, но...

— Достаточно.

Директор подошел к Перцу, обнял его за плечи и, заглядывая в глаза, сказал:

— Слушай, друг! Брось! Возьмем на троих? Секретаршу позовем, видел бабу? Это же не баба, это же тридцать четыре удовольствия! «Откроем, ребята, заветную квартиру!..»— пропел он спертым голосом.— А? Откроем? Брось, не люблю. Понял? Ты как насчет этого?

От него вдруг запахло спиртом и чесночной колбасой, глаза съехались к переносице.

— Инженера позовем, Брандсгугеля, моншера моего,— продолжал он, прижимая Перца к груди.— Он такие истории излагает — никакой закуски не надо... Пошли?

— Собственно, можно,— сказал Перец.— Но я ведь...

— Ну чего там — ты?

— Я, мосье Ахти...

— Брось! Какой я тебе мосье? Камрад — понял? Генацвали!

— Я, камрад Ахти, пришел попросить вас...

— Пр-р-р-р-р! Ничего не пожалео! Деньги надо — на деньги! Не нравится тебе кто — скажи, рассмотрим! Ну?

— Н-нет, я просто хочу уехать. Я никак не могу уехать, я попал сюда случайно. Камрад Ахти, и мне здесь больше нечего делать. Разрешите мне уехать. Мне никто не хочет помочь, и я прошу вас как директора...

Ахти отпустил Перца, поправил галстук и сухо улыбнулся.

— Вы ошибаетесь, Перец,— сказал он.— Я не директор. Я референт директора по кадрам. Извините, я несколько задержал вас. Прошу в эту дверь. Директор вас примет.

Он распахнул перед Перцем низенькую дверцу в глубине своего голого кабинета и сделал приглашающий жест рукой. Перец кашлянул, сдержанно кивнул ему и, нагнувшись, пролез в следующее помещение. При этом ему показалось, что

его слегка ударили по задней части. Впрочем, вероятно только показалось или, может быть, мосе Ахти несколько поторопился захлопнуть дверь.

Комната, в которую он попал, была точной копией приемной, и даже секретарша здесь была точной копией первой секретарши, но читала она книгу под названием «Сублимация гениальности». В креслах совершенно так же сидели бледные посетители с журналами и газетами. Был тут и профессор Какаду, тяжело страдающий от нервной почесушки, и Беатриса Вах с коричневой папкой на коленях. Правда, все прочие посетители были незнакомы, а под копией картины «Подвиг лесопроходца Селивана» равномерно вспыхивала и гасла строгая надпись: «Тихо!» Поэтому здесь никто не разговаривал. Перец осторожно опустился на краешек кресла. Беатриса Вах улыбнулась ему — несколько настороженно, но в общем приветливо.

Через минуту нервного молчания звякнул колокольчик, и секретарша, отложив книгу, сказала:

— Преподобный Лука, вас просят.

На преподобного Луку было страшно смотреть, и Перец отвернулся. Ничего, подумал он, закрывая глаза. Выдержу. Он вспомнил, как дождливым осенним вечером в квартиру принесли Эсфирь, которую зарезал в подъезде дома пьяный хулиган, и соседей, повисших на нем, и стеклянные крошки во рту — он разгрыз стакан, когда ему принесли воды... Да, подумал он, самое тяжелое позади...

Его внимание привлекли быстрые скребущие звуки. Он открыл глаза и огляделся. Через кресло от него профессор Какаду яростно чесался обеими руками под мышками. Как обезьяна.

— Как вы думаете, нужно отделять мальчиков от девочек? — дрожащим шепотом спросила Беатриса.

— Я не знаю, — желчно сказал Перец.

— Комплексное воспитание имеет, конечно, свои преимущества, — продолжала бормотать Беатриса, — но это же особый случай... Господи! — сказала она вдруг плаксиво. — Неужели он меня прогонит? Куда я тогда пойду? Меня уже отовсюду прогоняли, у меня не осталось ни одной пары приличных туфель. Все чулки поехали, пудра какая-то комками...

Секретарша отложила «Сублимацию гениальности» и строго сказала:

— Не отвлекайтесь.

Беатриса Вах испуганно замерла. Тут низенькая дверь распахнулась, и в приемную просунулся наголо обритый человек.

— Перец здесь есть такой? — зычно осведомился он.

— Есть, — сказал Перец, вскакивая.

— На выход с вещами! Машина отходит через десять минут, живо!

— Куда машина? Почему?

— Вы Перец?

— Да...

— Вы уехать хотели или нет?

— Я хотел, но...

— Ну, как хотите, — сердито рывкнул бритый человек. — Мое дело сказать.

Он скрылся и дверца захлопнулась. Перец кинулся следом.

— Назад! — закричала секретарша, и несколько рук схватили его за одежду.

Перец отчаянно рванулся, пиджак его затрещал.

— Там же машина! — простонал он.

— Вы с ума сошли! — сказала раздраженная секретарша. — Куда вы ломитесь?

Вот же дверь, написано «Выход», а вы куда?

Твердые руки направили Перца к надписи «Выход». За дверью оказался обширный многоугольный зал, в который выходило множество дверей, и Перец заматаясь, раскрывая их одну за другой.

Яркое солнце, стерильно-белые стены, люди в белых халатах. Голая спина, замаскированная йодом. Запах аптеки. Не то.

Тьма, треск кинопроектора. На экране кого-то тянут за уши в разные стороны. Белые пятна недовольно повернутых лиц. Голос: «Дверь! Дверь закройте!» Опять не то...

Перец, скользя по паркету, пересек зал.

Запах кондитерской. Небольшая очередь с сумками. За стеклянным барьером блестят бутылки с кефиром, цветут торты и пирожные.

— Господа!— крикнул Перец.— Где здесь выход?

— А вам откуда выход?— спросил дебелый продавец в поварском колпаке.

— Отсюда...

— А вот дверь, в которой вы стоите.

— Не слушайте его,— сказал продавцу хилый старик из очереди.— Это здесь есть один такой остряк, только очередь задерживает... Работайте, не обращайтесь внимания.

— Да я не острою,— сказал Перец.— У меня машина сейчас уйдет...

— Да, это не тот,— сказал справедливый старик.— Тот всегда спрашивает, где уборная. Где у вас, вы говорите, машина, сударь?

— На улице...

— На какой улице?— спросил продавец.— Улиц много.

— Мне все равно на какую, мне лишь бы выйти наружу!

— Нет,— сказал проницательный старик.— Это все тот же. Он просто программу переменял. Не обращайтесь на него внимания...

Перец в отчаянии огляделся, выскочил обратно в зал и ткнулся в соседнюю дверь. Дверь была заперта. Недовольный голос осведомился:

— Кто там?

— Мне нужно выйти!— крикнул Перец.— Где здесь выход?

— Подождите, сейчас.

За дверью раздавался какой-то шум, плеск воды, стук задвигаемых ящиков.

Голос спросил:

— Что вам нужно?

— Выйти! Выйти мне нужно!

— Сейчас.

Скрипнул ключ, и дверь открылась. В комнате было темно.

— Проходите,— сказал голос.

Пахло проявителем. Перец, выставив вперед руки, сделал несколько неуверенных шагов.

— Ничего не вижу,— сказал он.

— Сейчас привыкнете,— пообещал голос.— Ну, идите же, что вы встали?

Перца взяли за рукав и повели.

— Распишитесь вот здесь,— сказал голос.

В пальцах Перца оказался карандаш. Теперь он видел в темноте смутно белющий лист бумаги.

— Расписались?

— Нет. А в чем расписываться?

— Да вы не бойтесь, это не смертный приговор. Распишитесь, что вы ничего не видели.

Перец наугад расписался. Его снова цепко взяли за рукав, провели между какими-то портьерами, потом голос спросил:

— Много вас здесь накопилось?

— Четверо,— раздалось как бы из-за двери.

— Очередь построена? Имейте в виду, сейчас я открою дверь и выпущу человека. Проходите по одному, не толкайтесь, и без шуток. Ясно?

— Ясно. Не в первый раз.

— Одежду никто не забыл?

— Не забыли, не забыли. Выпускайте.

Снова раздался скрип ключа, Перец чуть не ослеп от яркого света, и тут его вытолкнули. Еще не раскрывая глаз, он скатился по каким-то ступеням и только тогда понял, что находится во внутреннем дворе Управления. Недовольные голоса закричали:

— Ну что же вы, Перец? Скорее! Сколько можно ждать?

Посередине двора стоял грузовик, набитый сотрудниками группы Научной охраны. Из кабины выглядывал Ким и сердито махал рукой. Перец подбежал к машине, вскарабкался на борт, его рванули, подхватили и свалили на дно кузова. Грузовик

сейчас же взревел, дернулся, кто-то наступил Перцу на руку, кто-то с размаху сел на него, все загорланили, засмеялись, и они поехали.

— Перчик, вот твой чемодан,— сказал кто-то.

— Перец, это правда, что вы уезжаете?

— Пан Перец, сигарету не угодно?

Перец закурил, уселся на чемодан и поднял воротник пиджака. Ему подали плащ, и он, благодарно улыбнувшись, завернулся в него. Грузовик мчался все быстрее, и хотя день был жаркий, встречный ветер казался весьма пронзительным. Перец курил, укрывая сигарету в кулаке, и озирался. «Еду,— думал он.— Еду. В последний раз вижу тебя, стена. В последний раз вижу вас, коттеджи. Прощай, свалка, где-то здесь я оставил галоши. Прощай, лужа, прощайте, шахматы, прощай, кефир. Как славно, как легко! Никогда в жизни больше не буду пить кефира. Никогда в жизни больше не сяду за шахматы...»

Сотрудники, сбившись к кабине, держась друг за друга и прячась друг за друга от ветра, разговаривали на отвлеченные темы.

— Это подсчитано, и я сам считал. Если так пойдет дальше, то через сто лет на каждый квадратный метр территории будет приходиться десять сотрудников, а общая масса будет такая, что утес обвалится. Транспортных средств для доставки продовольствия и воды понадобится столько, что придется создавать автоконвейер между Управлением и Материком, машины будут идти со скоростью сорок километров в час и с интервалом в один метр, а разгружаться будут на ходу... Нет, я совершенно уверен, что дирекция уже сейчас думает о регулировании притока новых сотрудников. Ну, посудите сами: комендант гостиницы — так же нельзя, семеро и вот-вот восьмой. И все здоровы. Домарошнин считает, что с этим надо что-то делать. Нет, не обязательно стерилизация, как он предлагает...

— Кто бы говорил, но не Домарошнинер.

— Поэтому я и говорю, что не обязательно стерилизация...

— Говорят, что годовые отпуска будут увеличены до шести месяцев.

Они миновали парк, и Перец вдруг понял, что грузовик едет не в ту сторону. Сейчас они выедут за ворота и поедут по серпантину, вниз, под утес.

— Слушайте, куда мы едем?— спросил он встревоженно.

— Как — куда? Жалование получать.

— А разве не на Материк?

— Зачем же на Материк? Кассир приехал на биостанцию.

— Так вы едете на биостанцию? В лес?

— Ну да. Мы же Научная охрана и деньги получаем на биостанции.

— А как же я?— растерянно спросил Перец.

— И ты получишь. Тебе премия полагается... Кстати, все оформлены?

Сотрудники зашевелились, извлекая из карманов и внимательно осматривая разноформатные и разноцветные бумаги с печатями.

— Перец, а вы заполнили анкету?

— Какую анкету?

— То есть позвольте, что значит — какую? Форму номер восемьдесят четыре.

— Я ничего не заполнял,— сказал Перец.

— Милостивые государи! Да что же это? У Перца бумаг нет!

— Ну, это неважно. У него, вероятно, пропуск...

— Нет у меня пропуска,— сказал Перец.— Ничего нет. Только чемодан и вот плащ... Я ведь не в лес собирался, я уехать хотел...

— А медосмотр? А прививки?

Перец помотал головой. Грузовик уже катил по серпантину, и Перец отрешенно смотрел на лес, на плоские пористые пласты его у самого горизонта, на его застывшее грозное кипение, на липкую паутину тумана в тени утеса.

— Такие вещи даром не проходят,— сказал кто-то.

— Ну, в конце концов, на дороге никаких объектов нет...

— А Домарошнинер?

— Ну, что ж Домарошнинер, раз объектов нет?

— Этого, положим, ты не знаешь. И никто не знает. А вот в прошлом году Кандид вылетел без документов, отчаянный парень, и где теперь Кандид?

— Во-первых, не в прошлом году, а гораздо раньше. А во-вторых, он просто погиб. На своем посту.

— Да? А ты приказ видел?

— Это верно, не было приказа.

— То есть даже спорить не о чем. Как посадили его в бункер при пропускном пункте, так он там до сих пор и сидит. Анкеты заполняет...

— Как же ты это, Перчик, анкеты не заполнил? Может быть, у тебя не все чисто?

— Минуточку, господа! Это вопрос серьезный. Я предлагаю на всякий случай проверить сотрудника Переца, так сказать, в демократическом порядке. Кто у нас будет секретарем?

— Домарошинера секретарем!

— Очень хорошее предложение. Почетным секретарем мы избираем нашего многоуважаемого Домарошинера. По лицам вижу, что единогласно. А кто у нас будет товарищ секретаря?

— Вандербильда товарищем секретаря!

— Вандербильда?.. Ну что же... Есть предложение избрать товарищем секретаря Вандербильда. Еще предложения есть? Кто за? Против? Воздержался? Гм... Двое воздержались. Вы почему воздержались?

— Я?

— Да-да, именно вы.

— Смысла не вижу. Зачем из человека душу вынимать? Ему и так плохо.

— Понятно. А вы?

— Не твое собачье дело.

— Как угодно... Товарищ секретаря, запишите: двое воздержались. Начнем. Кто первый? Нет желающих? Тогда позвольте мне. Сотрудник Перец, ответьте на следующий вопрос. Какие расстения мы преодолели в промежуток между двадцатью пятью и тридцатью годами: а — на ногах, б — наземным транспортом, в — воздушным транспортом? Не торопитесь, подумайте. Вот вам бумага и карандаш.

Перец послушно взял бумагу и карандаш и принялся вспоминать. Грузовик трясло. Сначала все смотрели на него, а потом смотреть надоело, и кто-то забубнил:

— Перенаселения я не боюсь. А вот видели вы, сколько техники стоит? На пустыре за мастерскими — видели? А что это за техника, знаете? Правильно, она в ящиках, заколочена. И времени нет ни у кого ее раскрыть и посмотреть. А знаете, что я там позапрошлым вечером видел? Остановился я закурить, и вдруг раздается какой-то треск. Обращиваюсь и вижу — стенка одного ящика, огромного, с хорошим дом, выдавливается и распахивается как ворота. И из ящика выползает механизм. Описывать я его вам не буду, сами понимаете почему. Но зрелище... Постоял он несколько секунд, выбросил из себя вверх длинную трубу с такой вертушкой на конце, как бы огляделся, и снова в ящик заполз и крышкой закрылся. Я себя плохо тогда чувствовал и просто не поверил своим глазам. А сегодня утром думаю: «Дай все-таки посмотрю». Пришел — и мороз у меня по коже. Ящик в полном порядке, ни одной щели, но стенка эта гвоздями изнутри приколочена! А наружу торчат острия, блестящие, в палец длинной. И вот теперь я думаю: зачем она вылезала? И одна ли она такая? Может быть, они все каждую ночь вот так... осматриваются. И пока там перенаселение, пока что, а они устроят нам когда-нибудь Варфоломеевскую ночь, и полетят наши косточки с обрыва. А может быть, и не косточки даже, а костяная крупа... Что? Нет уж, спасибо, дорогой, инженерам сам сообщай, если хочешь. Ведь я эту машину видел, а откуда мне теперь знать, можно ее было видеть или нельзя? На ящиках грифа нет...

— Итак, Перец, вы готовы?

— Нет, — сказал Перец. — Ничего не могу вспомнить. Это же давно было.

— Странно. Вот я, например, отлично помню. Шесть тысяч семьсот один километр по железной дороге, семнадцать тысяч сто пятьдесят три километра по воздуху (из них три тысячи двести пятнадцать километров по личным надобностям) и пятнадцать тысяч семь километров — пешком. А ведь я старше вас. Странно, странно, Перец... Н-ну, хорошо. Попробуем следующий пункт. Какие игрушки вы более предпочитали в дошкольном возрасте?

— Заводные танки,— сказал Перец и вытер со лба пот.— И броневики.
— Ага! Помните! А ведь это был дошкольный возраст, времена, так сказать, гораздо более отдаленные. Хотя и менее ответственные, правда, Перец? Так. Значит, танки и броневики... Следующий пункт. В каком возрасте вы почувствовали влечение к женщине, в скобках — к мужчине? Выражение в скобках обращено, как правило, к женщинам. Можете отвечать.

— Давно,— сказал Перец.— Это было очень давно.

— Точнее!

— А вы?— сказал Перец.— Скажите сначала вы, а потом я.

Председательствующий пожал плечами.

— Мне скрывать нечего. Впервые это случилось в возрасте девяти лет, когда меня мыли вместе с двоюродной сестрой...

А теперь прошу вас.

— Не могу,— сказал Перец.— Не желаю я отвечать на такие вопросы.

— Дурак,— прошептали у него над ухом.— Соври что-нибудь с серьезным видом, и все. Что ты мучаешься? Кто там тебя будет проверять?

— Ладно,— покорно сказал Перец.— В возрасте десяти лет. Когда меня купали вместе с собакой Муркой.

— Прекрасно!— воскликнул председательствующий.— А теперь перечислите болезни ног, которыми вы страдали.

— Ревматизм.

— Еще?

— Перемежающаяся хромота,— сказал Перец.

— Очень хорошо. Еще?

— Насморк,— сказал Перец.

— Это не болезнь ног.

— Не знаю. Это у вас, может быть, не болезнь ног. А у меня — именно ног. Промочил ноги, и насморк.

— Н-ну, предположим. А еще?

— Неужели мало?

— Это как вам угодно. Но предупреждаю: чем больше, тем лучше.

— Спонтанная гангрена,— сказал Перец.— С последующей ампутацией. Это была последняя болезнь моих ног.

— Теперь, пожалуй, достаточно. Последний вопрос. Ваше мировоззрение, кратко.

— Материалист,— сказал Перец.

— Какой именно материалист?

— Эмоциональный.

— У меня вопросов больше нет. Как у вас, господа?

Вопросов больше не было. Сотрудники частью дремали, частью беседовали, повернувшись к председательствующему спиной. Грузовик шел теперь медленно. Становилось жарко, тянуло влагой и запахом леса, неприятным и острым запахом, который в обычные дни не достигал Управления. Грузовик катился с выключенным мотором, и слышно было, как издалека, из очень далекого далека доносится слабое урчание грома.

— Поражаюсь я, на вас глядя,— говорил товарищ секретаря, тоже повернувшись спиной к председательствующему.— Нездоровый пессимизм какой-то. Человек по своей натуре оптимист, это во-первых. А, во-вторых, и в главных — неужели вы полагаете, что директор меньше вас думает обо всех этих вещах? Смешно даже. В последнем своем выступлении, обращаясь ко мне, директор развернул величественные перспективы. У меня просто дух захватило от восторга, я не стыжусь сознаться. Я всегда был оптимистом, но эта картина... Если хотите знать, все будет снесено, все эти склады, коттеджи... Вырастут ослепительной красоты здания из прозрачных и полупрозрачных материалов, стадионы, бассейны, воздушные парки, хрустальные расписные и закусочные! Лестницы в небо! Стройные гибкие женщины со смуглой упругой кожей! Библиотеки! Мышцы! Лаборатории! Пронизанные солнцем и светом! Свободное расписание! Автомобили, глайдеры, дирижабли... Диспуты, обучение во сне, стереокино... Сотрудники после служебных часов будут сидеть в библиотеках, раз-

мышлять, сочинять мелодии, играть на гитарах и других музыкальных инструментах, вырезать по дереву, читать друг другу стихи!..

— А ты что будешь делать?

— Я буду вырезать по дереву.

— А еще что?

— Еще я буду писать стихи. Меня научат писать стихи, у меня хороший почерк.

— А я что буду делать?

— Что захочешь!— великодушно сказал товарищ секретаря.— Вырезать по дереву, писать стихи... Что захочешь.

— Не хочу я вырезать по дереву. Я математик.

— И пожалуйста! И занимайся себе математикой на здоровье!

— Математикой я и сейчас занимаюсь на здоровье.

— Сейчас ты получаешь за это жалованье. Глупо. Будешь прыгать с вышки.

— Зачем?

— Ну как — зачем? Интересно ведь...

— Не интересно.

— Ты что же хочешь сказать? Что ты ничем, кроме математики, не интересуешься?

— Да вообще-то ничем, пожалуй... День проработаешь, до того обалдеешь, что больше ничем уже не интересуешься.

— Ты просто ограниченный человек. Ничего, тебя разовьют. Найдут у тебя какие-нибудь способности, будешь сочинять музыку, вырезать что-нибудь такое...

— Сочинять музыку — не проблема. Вот где найти слушателей...

— Ну, я тебя послушаю с удовольствием... Перец вот...

— Это тебе только кажется. Не будешь ты меня слушать. И стихи ты сочинять не будешь. Повыпиливаешь по дереву, а потом к бабам пойдешь. Или напьешься. Я же тебя знаю. И всех я здесь знаю. Будете слоняться от хрустальной расписной до алмазной закусочной. Особенно, если будет свободное расписание. Я даже подумать боюсь, что же это будет, если дать вам здесь свободное расписание.

— Каждый человек в чем-нибудь да гений,— возразил товарищ секретаря.— Надо только найти в нем это гениальное. Мы даже не подозреваем, а я, может быть, гений кулинарии, а ты, скажем, гений фармацевтики, а занимаемся мы не тем и раскрываем себя мало. Директор сказал, что в будущем этим будут заниматься специалисты, они будут отыскивать наши скрытые потенции...

— Ну, знаешь, потенции — это дело темное. Я-то, вообще, с тобой не спорю, может быть, действительно в каждом сидит гений, да только что делать, если данная гениальность может найти себе применение либо только в далеком прошлом, либо в далеком будущем, а в настоящем — даже гениальностью не считается, проявил ты ее или нет. Хорошо, конечно, если ты окажешься гением кулинарии. А вот как выяснится, что ты гениальный извозчик, а Перец — гениальный обтесыватель каменных наконечников, а я — гениальный уловитель какого-нибудь икс-поля, о котором никто ничего не знает и узнает только через десять лет... Вот тогда-то, как сказал поэт, и повернется к нам черное лицо досуга...

— Ребята,— сказал кто-то,— а пожрать-то мы с собой ничего не взяли. Пока приедем, пока деньги выдадут...

— Стоян накормит.

— Стоян тебя накормит, как же. У них там пайковая система.

— Надо же, ведь давала жена бутерброды!..

— Ничего, потерпим, вон уже шлагбаум...

Перец вытянул шею. Впереди желто-зеленой стеной стоял лес, и дорога уходила в него, как нитка уходит в пестрый ковер. Грузовик проехал мимо фанерного плаката: «ВНИМАНИЕ! СНИЗИТЬ СКОРОСТЬ! ПРИГОТОВИТЬ ДОКУМЕНТЫ!» Уже был виден полосатый опущенный шлагбаум, грибок возле него, а правее — колючая проволока, белые шишки изоляторов, решетчатые башни с прожекторами. Грузовик остановился. Все стали смотреть на охранника, который, перекрестив ноги, стоя, дремал под грибком с карабином под мышкой. На губе у него висела потухшая сигарета, а площадка под грибком была усыпана окурками. Рядом со шлагбаумом торчал



шест с прибityми к нему предупреждающими надписями: «ВНИМАНИЕ! ЛЕС!», «ПРЕДЪЯВЛЯЯ ПРОПУСК В РАЗВЕРНУТОМ ВИДЕ!», «НЕ ЗАНЕСИ ЗАРАЗУ!» Шофер деликатно погудел. Охранник открыл глаза, мутно посмотрел перед собою, потом отделился от грибка и пошел вокруг автомобиля.

— Много что-то вас,— сказал он сипло.— За деньгами?

— Точно так,— заискивающе сказал бывший председателствующий.

— Хорошее дело, доброе,— сказал охранник. Он обошел грузовик, стал на подножку и заглянул в кузов.— Ох, сколько же вас,— сказал он с упреком.— А руки? Руки как, чистые?

— Чистые!— хором сказали сотрудники. Некоторые выставили ладони.

— У всех чистые?

— У всех!

— Ладненько,— сказал охранник и по пояс засунулся в кабину. Из кабины донеслось:— Кто старший? Вы будете старший? Сколько везешь? Ага... Не врешь? Фамилия как? Ким? Ну, смотрите, Ким, я твою фамилию запишу... Здорово Вольдемар! Все едешь?.. А я вот все охраняю. Покажи удостоверение... Ну-ну, ты не лайся, давай показывай... В порядке удостоверение, а то бы я тебя... Что же это ты на удостоверении телефоны пишешь? Постой... Это какая же Шарлотка? А-а, помню. Дай-ка я тоже перепишу... Ну, спасибо. Езжайте. Можно ехать.

Он соскочил с подножки, подымая сапогами пыль, подошел к шлагбауму и навалился на противовес. Шлагбаум медленно поднялся, развешенные на нем кальсоны съехали в пыль. Грузовик тронулся.

В кузове загомонили, но Перец ничего не слышал. Он въезжал в лес. Лес приближался, надвигался, громоздился все выше и выше, как океанская волна, и вдруг поглотил его. Не стало больше солнца и неба, пространства и времени, лес занял их место. Было только мелькание сумрачных красок, влажный густой воздух, диковинные запахи, как чад, и терпкий привкус во рту. Только слуха не касался лес: звуки леса заглушались ревом двигателя и болтовней сотрудников. Вот и лес, повторял Перец, вот я и в лесу, бессмысленно повторял он. Не сверху, а внутри, не наблюдатель, а участник. Вот я и в лесу. Что-то прохладное и влажное коснулось его лица, пощекотало, отделилось и медленно опустилось к нему на колени. Он посмотрел: тонкое длинное волокно какого-то растения, а, может быть, животное, а, может быть, просто прикосновение леса, дружеское приветствие или подозрительное ошупывание; он не стал трогать этого волокна.

А грузовик мчался по дороге славного наступления, желтое, зеленое, коричневое покорно уносилось назад, а вдоль обочин тянулись неубранные и забытые колонны вестеранов наступавшей армии, вздыбленные черные бульдозеры с яростно задранными ржавыми щитами, зарывшиеся по кабину в землю тракторы, за которыми змеились распластанные гусеницы, грузовики без колес и без стекол — все мертвое, заброшенное навсегда, но по-прежнему бесстрашно глядящее вперед, в глубину леса развороченными радиаторами и разбитыми фарами. А вокруг шевелился лес, трепетал и корчился, менял окраску, переливаясь и вспыхивая, обманывая зрение, наплывая и отступая, издевался, пугал и глумился лес, и он весь был необычен, и его нельзя было описать и от него мутило.

(Окончание следует).



50

СОВЕТСКОЙ АРМИИ



ИМЯ ЕГО — ПРИЗЫВ К ПОДВИГУ

«Книга о герое Великой Отечественной войны полковнике Борсееве заслуживает признания и уважения. Мне она особенно дорога как участнику ряда операций, о которых в ней рассказывается. Описание героического пути питомца академии, безусловно, послужит хорошим примером в деле воспитания современного поколения офицеров».

Это пишет начальник Военной Академии имени Фрунзе генерал армии П. А. Курочкин, командовавший раньше 60-й армией (в составе ее воевала бригада Борсеева).

Письмо генерала — один из многих откликов на книгу об отважном комбриге, изданной в 1967 г. Бургом. Среди читателей, проявивших живой интерес к книге, — и видные советские военачальники, и однопольные героя, и ветераны войны, и совсем молодые люди. Есть отклики и из других стран.

«Книга об отважном комбриге» быстро разошлась, готовится второе издание, в нем будут опубликованы новые воспоминания соратников В. Б. Борсеева и военачальников, а также найденные в последнее время документы. Мы печатаем сегодня в сокращении часть этих материалов.

ГОРДОСТЬ СОВЕТСКОЙ АРТИЛЛЕРИИ

На полях сражений Великой Отечественной войны советская артиллерия по праву была названа главной огневой ударной силой Советской Армии.

Особое место в рядах славной советской артиллерии занимала истребительно-противотанковая артиллерия. Это они, артиллеристы-противотанкисты, действуя в тесном взаимодействии с пехотой, танками и авиацией, вынесли на себе основную тяжесть борьбы с массами вражеских танков, являвшихся основной ударной силой гитлеровских войск.

Советское военное искусство еще до войны правильно решало проблему борьбы с танками в бою и операции.

Основным средством борьбы с танками противника оно считало артиллерию, а основным способом борьбы — огонь прямой наводкой, в первую очередь противотанковых орудий. Артиллерийский огонь в сочетании с инженерным оборудованием местности и естественными препятствиями должен был составлять основу противотанковой обороны.

Важная роль противотанковой артилле-

рии в полной мере выявилась уже в начале войны. Это предопределило значительный количественный и качественный рост противотанковой артиллерии в последующем. От 45-мм до 100-мм пушек, от бронебойных до подкалиберных и кумулятивных снарядов в вооружении, от батарей и дивизионов до бригад в области организационных форм. Такой общий путь развития противотанковой артиллерии в годы войны.

Противотанковая артиллерия организационно входила в состав войск от батальона до армии. Однако в условиях высокоманевренных действий особое значение приобретал маневр противотанковой артиллерии в оперативном масштабе. Эта задача решалась успешно благодаря наличию сильной противотанковой артиллерии РВГК (резерва Верховного Главного Командования), которая за годы войны численно выросла почти в 5 раз. Части и соединения РВГК являлись мощным средством в руках командующего армией и фронта, с помощью которого удавалось парировать танковые удары врага.

В 1942 году противотанковая артиллерия была переименована в истребительно-противотанковую артиллерию. Этим самым подчеркивалась ее особая роль и назначение.

Справедливости ради следует сказать, что это наименование и предназначение советские артиллеристы-противотанкисты с честью оправдали. Они являлись грозой для фашистских танков и в обороне и в наступлении. Беззаветная любовь к Родине, героизм, мужество в сочетании с хладнокровием в самые драматические минуты боя с вражескими танками позволяли им выходить, как правило, победителями из этих поединков. Истребители танков являлись гордостью советской артиллерии.

За время войны мне пришлось встречаться со многими артиллеристами-противотанкистами, но особые воспоминания у меня остались о славном сыне бурятского народа, воспитаннике академии имени М. В. Фрунзе гвардии полковнике Борсоеве В. Б. Командуя полком, а затем 11-й и 7-й отдельными гвардейскими истребительно-противотанковыми артиллерийскими бригадами, гв. полковник Борсоев обладал высокими моральными качествами, в совершенстве владел искусством ведения боя с танками и пехотой противника, умел в трудную минуту личным примером вселить дух уверенности в сердца подчиненных офицеров, сержантов и солдат.

В боях на Курской дуге, при освобождении Правобережной Украины, в ходе Львовско-Сандомирской, Карпато-Дуклической и Сандомир-Силезской операций гремела слава о боевых делах противотанкистов под командованием гв. полковника Борсоева.

8-го марта 1945 года вражеский снаряд оборвал жизнь патриота-коммуниста. Однако продолжатели его славных боевых дел артиллеристы-противотанкисты 7-й гвардейской ОИПТАБР с честью пронесли свое боевое знамя до стен Берлина.

Хочется верить, что славные героические дела советского патриота гв. полковника Борсоева на полях сражений Великой Отечественной войны найдут достойный отклик в сердцах нашего молодого поколения строителей коммунизма в мирном труде, а если потребуется, то и в бою.

Вполне понятно, что и на будущее сохраняется огромная роль противотанковой артиллерии. Огромное насыщение современных армий танками и бронемашинами и массированное их применение настоятельно требуют и массированного им противодействия различными противотанковыми средствами. Как известно, соревнование средств борьбы и средств противодействия является той осью, вокруг которой происходит развитие и самих средств и способов их применения. Поэтому вполне закономерен вывод о том, что тот, кто будет располагать современным ракетно-ядерным оружием, танками и другими видами вооружения и соответствующими средствами и способами борьбы с ними, в первую очередь может рассчитывать на успех в бою и в операции. Но этого еще мало. Для победы нужны люди, подобные дважды Герою Советского Союза Петрову В. С., Герою Советского Союза Борсоеву В. Б. и другим. Такие люди с исключительно высоким моральным духом, организаторскими способностями и личным мужеством способны намного повысить эффективность оружия и войск в целом и даже в трудных условиях добиться победы.

П. КУРОЧКИН,
Герой Советского Союза
профессор
генерал армии.

СЛУШАТЕЛЬ АКАДЕМИИ

Получив книгу «Гвардии полковник Борсоев», я не мог без волнения читать документы о славном герое.

Мы познакомились с Владимиром Бузинаевичем в октябре 1937 года и подружились, но воевать вместе с ним мне не пришлось.

В этом году были первые в нашей стране конкурсные экзамены для поступающих в военные академии. В числе принятых на первый курс командного факультета академии химической защиты был и я. Мы начали занятия 1 сентября. Но слушатель было очень мало, и был объявлен дополнительный набор. Попал в этот набор и Борсоев. Начал он учебу на полтора месяца

позже, но к концу первого семестра программа для обоих потоков выравнивалась, во втором семестре мы учились уже на равных правах.

Володе, не имевшему специального химического образования, было труднее, чем химикам. Но он был очень целеустремленным, упорным, усидчивым, требовательным к себе — и добился успехов в учебе. Особенно он любил занятия по тактике. При отработке задач по тактике усиленного стрелкового полка в различных видах боя командиром-артиллеристом часто назначался Борсоев, имевший специальное артиллерийское образование.

В академии в то время были прекрасные

преподаватели тактики. Возглавлял кафедру тактики комдив Леонид Лаврович Ключев, который в годы гражданской войны воевал бок о бок с Ворошиловым, под Царицыном он был начальником штаба 10-й армии. Многие питомцы этой кафедры в годы Отечественной войны отличились в боях с фашистами, бывшие начальники химической службы заменяли выбывших из строя командиров частей и соединений. Двое из нашего выпуска и сейчас занимают командные посты (оба генерал-лейтенанты) и являются заместителями командующих округами.

В ВАХЗ Борсоев получил хорошие основы по тактике современного боя, по вопросам тыла и, естественно, по вопросам химической службы. И все же больше его тянуло к общевойсковым знаниям. По окончании 1-го курса ВАХЗ он поступил в академию имени Фрунзе и успешно окончил ее перед самой войной, в мае 1941 года.

Я запомнил его стройным атлетом, всегда подтянутым командиром, отзывчивым и честным коммунистом.

А. ГОЛАНТ,

гвардии полковник в отставке.

БОЙЦЫ ВСПОМИНАЮТ...

Комбриг Борсоев вел в дни войны дневник, делал в нем немногословные записи о наиболее крупных боях и сражениях. Эти записи становились особенно краткими в дни тяжелых и трудных боев. Вот одна из них:

«3.8.44 г.

с. Бирча

1—3. 8. Вели тяжелые бои с контратакующей группой немцев, пытавшийся прорваться на город Перемышль из района Фельштин-Хырув, без пехотного прикрытия. Но наша бригада с честью отстояла завоеванную землю, не пропустила сильную группу».

В тот же день столь же лаконичное письмо отправляет он жене Анне Евгеньевне (она только что приехала во Львов, поближе к фронту):

«Привет, моя дорога Асюня!

Поздравляю с днем рождения нашу славную дочурку. Еще поздравляю с новосельем. Устраивайся.

Я жив, здоров, бьем гитлеровцев беспощадно, по-гвардейски.

Съездить к вам едва ли мне удастся, потому что начальник штаба моей бригады заболел, его помощник сегодня ранен тяжело. Хотелось съездить, но обстановка не позволяет. Ведем ожесточенные бои.

Твой любящий Володя».

До последнего времени мы не знали имя тяжело раненого штабиста, пока он сам неожиданно не обнаружил себя. Письмо гвардии майора запаса Александра Степановича Фролова взволновало нас, оно раскрыло то, что скрывалось за словами комбрига «тяжелые», «ожесточенные бои». Вот это письмо:

«24.6.67 г. Львов

Многоуважаемый Н. Д. Зугеев!

Мне в мае пришлось переехать на жи-

тельство в гор. Львов, где встретил своих однополчан по 11-й гвардейской отдельной истребительно-противотанковой бригаде, в рядах которой совместно с боевыми товарищами и под командованием глубокоуважаемого командира В. Б. Борсоева прошел войной большой и трудный путь от Курской дуги до предгорий Карпат.

В своем дневнике комбриг В. Б. Борсоев 3.8.44 г. (165 и 187 стр. книги «Гвардии полковник Борсоев») и в письме к своей супруге пишет: «начальник штаба болеет, а его помощник сегодня ранен тяжело» — это и был я.

3.8.44 г. я расстался с Владимиром Бузинаевичем на наблюдательном пункте. Были трудные дни жарких, ожесточенных боев. Наша бригада сдерживала обезумевшую 16-тысячную группировку немцев с мощными танками «тигр» и самоходками «фердинанд», стремившуюся прорваться на запад и соединиться с центральной группой войск. Несмотря на превосходство врага во много раз численностью, а также по технической мощи, ему в течение трех дней не удалось сокрушить ураганными артиллерийскими обстрелами и бесперывными танковыми атаками волю и упорство солдат, офицеров и нашего комбрига, талантливого полководца Борсоева.

В оперативной справке-донесении на имя командующего артиллерией 1-го Украинского фронта Владимир Бузинаевич написал:

«В течение 31.7 и 1.8.44 бригада самостоятельно без пехоты отбивала сильные контратаки пехоты и танков противника, имеющих целью прорваться на г. Перемышль, пробить пути выхода частей, находящихся в районе гг. Самбур, Дрогобыч в западном направлении.

Полки бригады грудью отстаивали завоеванную землю. Люди гибли на лафетах орудий, но не пропустили немца.

Противник за 2 дня, потеряв 17 танков, 57 самоходок, 4 автоматиче-

ских пушки (20 мм), 5 бронетранспортеров и около 400 солдат и офицеров, вынужден был откатиться от своего плана и откатиться назад...»

Оперативное донесение Владимир Бузинаев составил на НП буквально под пулеметным огнем противника и за 2 часа до моего тяжелого ранения. Отправить этот документ, где золотыми словами вписан в историю войны героизм, проявленный нашими солдатами и офицерами во главе с любимым своим комбригом, так я и не смог, был тяжело ранен в голову с контузией обоих глаз. Был долгое время слепым.

9 мая 1967 г. в 14.00 мы, боевые друзья и однополчане, Василий Степанович Петров — бывший командир полка, дважды Герой Советского Союза, ныне генерал-майор, Макар Осипович Галушка — бывший зам. командира бригады, полковник запаса, и я, вместе с нашими близкими, придя на Холм Славы в г. Львов, почтили память Владимирита Бузинаевича Борсоева, гвардии капитана Запольского, гвардии майора Бугрова возложением венков на их могилы и многое вспомнили о славных подвигах наших боевых друзей, павших в боях.

А. ФРОЛОВ,

майор запаса, бывш. пом. нач. штаба
11-й гвардейской ОИПТАБР.

ТАК СРАЖАЛИСЬ БОРСОВЕЦЫ

Мне хочется рассказать о героизме своих боевых друзей, о боях в районе Морозовщина — Мартыновщина, где наступала наша 32-я истребительно-противотанковая бригада в составе 47-го стрелкового корпуса.

Всю неделю гитлеровцы бросали в контратаку большие силы, стремясь задержать нас. 30 августа они направили основной удар на хутора Холодный и Великий, где стоял наш 1852-й арtpолк под командованием подполковника Борсоева. После продолжительной арtpодготовки пехота противника при поддержке пятнадцати танков прорвала нашу оборону на узком участке и двинулась на огневые позиции батареи капитана Ломонова Николая Семеновича, опытного и храброго командира.

Скромный по натуре, Ломонов в затишье между боями стремился быть незаметным, однако саратовца демаскировали препослужная черная борода и изысканное достоинство, с каким он умел держаться. Политработник Красной Армии в прошлом, Ломонов демобилизовался незадолго до войны и с первыми же выстрелами снова добровольно пришел в армию. Окончив краткосрочные курсы комсостава, он успел отличиться в боях, особенно на Курской дуге.

Извергая смертоносное пламя, танки ринулись в брешь на обреченную батарею. Но уж так повелось на войне — сам погибай, а товарища выручай. Возглавив группу солдат управления полка и моей четвертой батареи, Борсоев поспешил на выручку ломоновцев.

Батарея подпустила гитлеровцев почти вплотную и открыла ураганный огонь из пулеметов и автоматов. Схватка была в самом разгаре, когда с фланга ударила группа Борсоева и кинжальным огнем из автоматов начала расстреливать прорвавшуюся пехоту противника. Пехота была отсечена от танков, но танки продолжали двигаться.

Грохочущие чудовища все ближе и ближе — 300, 200, 100 метров...

— Огонь! — почти выдохнул Ломонов, — и заработали слаженные орудийные расчеты.

Несколько танков окутались дымом, однако гитлеровцы рвутся вперед. Подбито еще три, но силы неравны...

Танки превратились в батарею.

Лязгая гусеницами, они начали утюжить орудийные расчеты. Батарейцы подорвали гранатами еще несколько танков, но устоять не смогли.

Гитлеровцы решили стереть с лица земли героическую батарею. Ломонов увидел, как один из танков навалился на ровик, где находился командир орудия сержант Краснов. Немец прижал рукоятку поворота, «тигр» развернулся на ровике, взревел и помчался вперед. Но заваленный землей Краснов остался жив и метнул вдогонку противотанковую гранату. Танк застыл на месте, а экипаж танка сержант уложил из автомата. В этот момент над Красновым безнаказанно прошел второй танк, устремляясь в глубь нашей обороны. Поразить его было уже нечем. Только тот, кто пережил нечто подобное, поймет, как было обидно и досадно истребителю. И тут поспеший на выручку Ломонов молниеносно решил: к пушкам! — может быть, хоть одна сработает. Когда гвардейцы потащили к израненному орудью, чудом державшемуся на колесах, их глазам открылась тяжелая картина — орудийный расчет был уничтожен прямым попаданием снаряда, изощрена станина, изуродована панорама. Орудие развернуло на 180 градусов, Ломонов быстро послал снаряд в уходящий «тигр» и поджог его. Остальные прорвавшиеся были четыре танка уничтожили другие батареи.

Враг не прошел. Артиллеристы стояли насмерть.

Немного придя в себя после боя, Ломонов застонал от горя. И было отчего — ба

тарен нет, у разбитых орудий трупы. Несколькими минутами назад это были его боевые друзья, народ молодой, дружный, некоторые хлебнули сталинградской каши. Такие в бою не подведут. Не подвели они и теперь.

— Почему они... а не я...—терзал себя Ломонов.

Перед лицом смерти оставшиеся в живых испытывают сложное чувство—радость, что не настал твой черед, и гнетущее состояние мучительных раздумий о павших. Ломонов понимал, что остался в живых, чтобы завтра снова сражаться за жизнь. Он сознавал, что смерть его товарищей спасла жизнь другим. Но от этого не было легче.

Неустршимый командир, не раз видевший смерть, после этого боя не мог справиться с охватившим его свинцовым оцепенением. Сгорбившись, сидел он на земле и не мог найти в себе сил подняться.

Вдруг чья-то сильная рука легла на его плечо. Ломонов приоткрыл глаза. Перед ним стоял подполковник Борсоев с перевязанной рукой и повязкой на голове, а рядом с ним—сержант Краснов.

— Спасибо, дорогой,—произнес Борсоев,—гитлеровцы не прошли.

То ли действовала простота этих слов, то ли задумчивый тон подполковника, то ли протянутая рука старшего друга, сочувствующего и все понимающего, но Ломонов справился с собой, как и подобает волевою, дисциплинированному командиру.

По представлению Борсоева сержанту Краснову было присвоено звание Героя Советского Союза, а капитана Ломонова Маршал Советского Союза Жуков награждал именными часами.

Такими стойкими и неустршимыми воспитывал своих солдат командир Борсоев.

В. ПУЗИКОВ,
майор запаса.

ГДЕ ОПАСНО — ТАМ И БОРСОЕВ

Присланный мне замечательный подарок — книга «Гвардии полковник Борсоев» — воскресил в моей памяти теперь уже далекие, но такие близкие сердцу воспоминания о людях, вместе с которыми участвовал я в завершающих боях Отечественной войны.

Мне редко приходилось встречаться с Владимиром Бузинаевичем, так как фронт наш был очень большой, а время было горячее, но я часто встречал его имя в сводках и донесениях армий, где он сражался.

Огромной важности операцию мы проводили в Карпатах в направлении Дуклинского перевала. Мы торопились с помощью к словацким партизанам, а немцы стянули там много сил. Наши части не были приспособлены для ведения горной войны—это были обычные войска с полевыми пушками и гаубицами, в том числе и тяжелыми, а бить врага нужно было не только на дорогах. Нужно было вытаскивать пушки через горные перевалы, чтобы занять позиции, удобные для поражения танков врага внезапным фланговым огнем, или, хорошо укрывшись в окопе, бить их прямо в упор. Такие удары были особенно эффективны, противник, как правило, не выдерживал их, танки горели или прятались в боковые складки гор, откуда их выкуривали помощники противотанкистов—минометчики.

— Истребители наши просто виртуозы,—говорил тогда в разговоре со мною генерал Лихачев, командовавший артиллерией 38-й армии.—Куда только они ни заберутся, как ни спрячутся, чтобы внезапно встретить врага. Особо отличается наша «Борсоевская» бригада. Хороший он командир — умный, храбрый, рассудитель-

ный. И люди у него хорошие, все на него похоже.

Представили мне Борсоева на одном из совещаний в армии. Подошел ко мне еще молодой командир, крепко сложенный, коренастый, опрятно одетый, со смелым взглядом и приятной улыбкой на красивом бурятском лице. Я спросил: как дерется бригада? Он сначала смутился, а потом смело ответил: выполняет все задачи, думаю, что никто не пожалуется на нее — люди у нас хорошие, с такими можно дела делать.

Во второй половине декабря 1944 года вернулся из госпиталя полковник И. В. Купин, раньше командовавший «Борсоевской» бригадой. Я был в отъезде, и вскоре он явился опять, но уже вместе с Борсоевым. Разговор у нас был недлинный. Оба командира служили в одной бригаде, но Купин раньше командовал ею, вместе с Борсоевым они создавали ее славу в победоносных сражениях под Курском и Киевом, рядом дошли до Обертына, пока Купин не был ранен. А потом Борсоев умножил славу бригады, уже в роли ее командира, в трудных Львовской и Сандомирской операциях и в Карпатах. Мне не было трудно решить, за кем оставить бригаду, оба стояли ее. Ускорил решение сам Борсоев.

— Иван Владимирович был моим командиром и учителем,—сказал он,—и я уступаю ему право на бригаду, а сам пойду, куда пошлете.

Через несколько дней Борсоев вступил в командование 7-й гвардейской истребительно-противотанковой бригадой, и она отлично выполнила поставленные ей задачи в величайшей в истории войн Висло-Одерской

операции, явившейся началом завершившей войну Берлинской операции.

Начиная Висло-Одерскую операцию, командование отчетливо представляло себе возможность нависания танковых соединений противника на левый фланг фронта. Немцы могли выделить значительные силы для контрудара во фланг наступающих войск и в первую очередь по 60-й армии — крайней левой фронта. Беспокорство за противотанковую оборону 60-й армии у командования было большое.

В разговоре с генералом Кабатчиковым я прежде всего задал ему этот вопрос. И он заверил меня, что у него много противотанковых средств, а левое крыло он обеспечит «очень хорошей 7-й гвардейской бригадой. На Борсова можно положиться». Во время последующих наших встреч он говорил о Борсове уже с восхищением.

Главное направление нашего удара проходило через Сандомир, Ченстохов и Бреслау, там действовали основные силы войск и вся артиллерия усиления — около восьми тысяч орудий и минометов. Но и левый фланг фронта был очень важным и трудным. На пути наших войск этого направления были такие районы, как Краков — древняя столица Польши, Домбровский промышленный район с большой группой городов и дальше за ними Одер с промышленным Ратибором. Все эти города стояли на пути войск левого крыла фронта. Правда, по идее командования усилия войск направлялись в обход этих мест, чтобы не подвергнуть разрушению Краков и крупнейшие в Польше промышленные предприятия, но от этого трудности не уменьшились, а скорее возросли, — упорно удерживая этот район, немцы заставили

нас растянуть линии фронта наших армий.

Отводя свои войска, немцы упорно создавали угрозу флангового удара, чтобы снизить темпы нашего наступления и выиграть время для подвода своих резервов против войск главного направления, стремительно продвигавшихся к Бреслау. Бригада Борсова шла с почти непрерывными боями, отражая яростные атаки танков.

Так было и под Ратибором. Когда наши войска прорвались к Одеру, немцы сильными контратаками танков и пехоты отеснили наши войска. Здесь, в этой сложной и опасной обстановке, и оказался Борсова, спешивший воодушевить бойцов и правильно направить удары своих батарей. Он мог бы понадеяться на командира полка, но не таким был Борсова — где трудней и опасней, там должен быть и он, такая уж натура была у этого человека.

Внезапный обстрел ничем не прикрытой машины стал роковым для этого храброго человека, любимого командира солдат и офицеров и ценного военачальника.

Через несколько дней армия нанесла сильный удар по врагу и пошла вперед, еще через день овладела Ратибором и продолжала все ближе продвигаться к его логову.

А герои и умирая продолжают сражаться. Бригада Борсова с удвоенной яростью и силой продолжала громить врага.

Вот то немногое, что мне хотелось рассказать в своем письме о героической деятельности большого патриота нашей Родины и славного сына бурятского народа.

Н. СЕМЕНОВ,
генерал-лейтенант артиллерии
в отставке.

БУРЯТСКИЙ ЧАПАЙ

Из письма ветеранов-борсоевцев

Глубоко взволновала нас, группу ветеранов Отечественной войны, поездка на родину Борсова, командира нашей гвардейской истребительно-противотанковой бригады.

Мы прилетели из разных мест: из Львова — заместитель командира бригады полковник запаса М. О. Галушка и командир батареи капитан запаса А. Г. Немировский, из Белогорска (Крым) — начальник разведки бригады подполковник В. Я. Дорошенко, из Ужгорода — заместитель начальника штаба капитан запаса А. И. Медведев, из Харькова — командир батареи майор запаса В. Д. Пузиков.

Тепло и радушно встречали нас, соратников Борсова, его земляки.

И всюду мы видели горячую заинтересованность земляков героя в увековечении памяти павших на полях сражений. Всю

ду, куда нас ни приглашали, мы видели памятники, мемориальные обелиски, памятные доски.

Но наибольшее впечатление произвел на нас монумент, установленный в Кырме в память Борсова и 60-ти его односельчан. Имена их высечены на монументальном обелиске в десять метров высотой, воздвигнутом в форме стилизованных приспущенных знамен из мрамора, гранита и металла. Скульптурный портрет, созданный народным художником РСФСР А. И. Тиминим, ярко раскрывает мужественный образ выдающегося героя бурятского народа. На одной из сторон памятника слова:

«На этой земле вы родились, росли,
познали радость
труда и счастье любви.
Отсюда вы ушли
на смертный бой с фашизмом.

И отдали свою жизнь
за нашу Советскую Родину,
за счастье живых.

Навеки благодарные вам земляки».

В большое волнующее событие превратилось торжественное открытие памятника. Тысячи людей съехались в колхоз имени Борсоева. Люди прибыли из всех аймаков Усть-Ордынского округа, из Иркутска, Ангарска и Бурятии. Люди ехали на всех видах транспорта, верхом на лошадях за десятки и сотни километров. Многие добирались пешком.

— Мы пришли к тебе, наш незабвенный командир, — взволнованно сказал на открытии памятника соратник Борсоева, полковник запаса Галушка. — Ты завещал нам добить врага — мы его добили. Ты завещал нам вернуться к мирному труду и строить счастливое будущее — и мы это делаем. Мы каждым своим шагом, словом и делом крепим дружбу братских народов нашей страны. Бурятская земля тебя родила, а украинская взяла твой прах и бережно его хранит.

Брат Владимира Бузинаевича Илья Борсоев высыпал с подножия монумента горсть земли, привезенной с могилы героя на Холме Славы в городе Львове, со словами:

— Пусть будет вечно дружба между украинцами и бурятами, между всеми национальностями нашей великой Родины.

Многочисленные делегации возложили к подножию памятника венки.

Мы рассказали землякам легендарного героя о том, как под его командованием полки и бригады прошли славный боевой путь от Воронежа и Курской дуги до Одера. Мы говорили о том, какой глубокий след оставил Борсоев в памяти своих соратников по оружию. Мы, прибывшие на открытие памятника, как и многие другие, зачастую были обязаны ему своей жизнью.

Под командованием Борсоева 1852-й истребительно-противотанковый полк участвовал в великой битве на Курской дуге — на острие танкового тарана противника под

Прохоровкой. В огне и пламени этого сражения командир полка вдохновлял нас на подвиги. Мы стояли насмерть в пекле этого сражения. Под нами сотривалась земля от беспрестанных взрывов, казалось, дни превращались в ночи, вокруг стояла непроглядная тьма, от дыма и пыли слепило нам глаза, оглушали нас грохот орудий, скрежет и лязг танков, визг бомб и свист пуль. Казалось, человеческим нервам не выдержать этого ада, но мы выстояли, потому что сражались за нашу Советскую Родину.

С новой силой незаурядные командирские качества Борсоева проявились, когда в мае 1944 года он стал командиром 11-й гвардейской истребительно-противотанковой бригады. Борсоевцы громили отборные немецкие части в районе городов Обертын и Тарнополь и при освобождении Львова. Бригада покрыла свое знамя неувядаемой славой на Дуклинском перевале в Карпатах.

Так и хочется назвать Борсоева бурятским Чапаев. Его глубоко уважали и горячо любили все, кому довелось воевать под его началом, и оплакивали как родного отца и брата, когда он пал смертью храбрых уже накануне полной победы.

В годы войны из бурятских улусов уходило много лучших людей на фронт, также как из аулов Кавказа, кишлаков Средней Азии, айлов Киргизии. Многие из них не вернулись домой. Из Кырменского колхоза имени Борсоева на войне был 101 человек, 60 из них остались на полях сражений, также как тысячи и тысячи сынов других братских народов. Но кровь, пролитая нашими людьми, не прошла даром.

В течение десяти дней пребывания на родине нашего командира мы на каждом шагу убеждались, что на берегах Байкала, Ангара и Селенги живут горячие патриоты, чудесно преобразившие свой край за годы Советской власти.

Горячо желаем читателям журнала «Байкал» встретить 25-летие победы над фашистской Германией новыми трудовыми победами на благо Родины.

Володимир ПАНЧЕНКО

ЦВЕТЫ ПОД ОБЛАКАМИ

*Венок стихов памяти славного
сына бурятского народа
Героя Советского Союза
гвардии полковника
Владимира Бузинаевича
Борсоева*

Во травах полонинских ветер бродит,
где по весне, в сиянии лучей,
цветы беззвучно хоромы водят
под звонкие овации дождей.
И удивляются в Карпатах люди:
где васильки купаются в росе,
на ржавый ствол разбитого орудья
здесь мотылек передохнуть присел
и лапкой нежно расправляет крылья,
не ведая, что пушки с высоты
таких, как он, безжалостно косила,
сжигая землю, травы и цветы;
и где кузнечики стрекохнут в травах
и скачут с тучами вперегонки,
рождались там легенда ратной славы,
где с боем шли Борсоева полки...
Идут цветы с вершины на вершину,
роняя щедро аромат и мед,
они, как люди и как птицы, гибнут,
лицом бесстрашно падая вперед.
Им громы салютуют в град и ветер
за мужество, упорство, ратный труд,
зарницы вспыхивают на рассвете
и облака знаменами плывут.
Тут полевая почта, пушки боевые,
следы «пантер» на взвихренной траве.
И хочется сказать:
— Ромашки полевые
люблю встречать в рассветной синеве,
люблю, когда торжественно под ноги
в глухой степи ложится тишина,
когда, забыв земные все тревоги,
перепелино шепчется весна.
Когда же небо выведздается в мае,
заря застелит пурпуром хребты,
в поля б ходить, ромашки собирая,
как он ходил в степи и рвал цветы.
Где он теперь?

Иль в новой песне жгучей,
иль в шуме трав,
или в сверканье рос,
в спящих молниях, пронзивших тучи,
иль в глубь земли до магмы он пророс?
А может, просто он, живой Борсоев,
ушел в огонь невиданной войны,
тот самый хлопчик, что с гурьбой босою
гонял в степях бурятских табуны?..
И ходит слух о нем на полонинах,
что у подножия Карпатских гор
когорту «тигров» в бездну опрокинул
и тут стоит на страже до сих пор.
И даже шепчут кедры в Прибайкалье,
что жив Борсоев—жив в сердцах людей,
что и сейчас слышны на перевале
карающие залпы батарей.
Водой залита будто вся Европа:
вода в шинели, в сапогах—вода,
вода в землянках и вода в окопах,
шагаешь по тропе—вода в следах.
И в тех следах, как будто в мае,
лучится солнце в золотистой мгле—
идем, в следах мы солнцем оставляя,
лучи рассеивая по земле.
И до чего ж вода осточертела —
ползет в ночи и днем туман седой.
И кажется, то пропиталось тело
насквозь дождливой рыжею водой...
Хотя б скорее началась атака,
согреться бы в движении до утра.
Тоскливо ветер воет, как собака,
и, как сычи, надулась немчура.
Гремит гроза бесперебойным залпом.
Куда бы скрыться от студеных струй.
Ты в мирный час тут сразу захворал бы,—
стоишь и терпишь мокрый «сабантуй».
А ветры-кони скачут на Бескиды¹,

¹ Часть Карпат.

их молнии стегают по ногам,
чтоб кони, свирепея от обиды,
обрушивали ярость на врага.
Ты на ветру стоишь, могучий, гордый.
А вьюга вьет, как голодный пес.
В морозный вечер фриц молчит, как
мертвый.

Нет, он не мертв—он до костей промерз...

По капельке вода в поток стекала,
Озера разливались вдоль и вширь.
Не было б капель—не шуметь Байкалу,
откуда б взялось диво—Синевир?¹

Плывут, плывут и тучи, и туманы,
и капли чудеса творят в садах,
шумят буркуты²,
пенятся аршаны,

повсюду животворная вода.

Ты под дождем шагал весной и летом
и осенью не миновал беды:

и все, что телом здесь твоим согрето,
сегодня жизнью стало от воды.

Природы в этом дивна чародейность:

она всегда, везде свое возьмет,

поэтому ее закономерность —

движение воды, круговорот.

Копнешь—везде вода.

И на опушке

окопы не углубишь на аршин...

...На спинах люди снова тянут пушки:
нелегко путь по кручам полонин.

Мы тайнопись путей войны читаем,
где каждый след ведет к прошедшим дням—
врагу орудья тут напоминают:

—Эй, факел брось! Погибнешь от огня.

Предела нет людскому напряжению:

мы таям пушки в буковый лесок
по глыбам скал, по каменным ступеньям,
а напрямик не перейдешь мосток.

Врагу он виден весь, как на ладони,

открытым прицельным бьет он с высоты.

Из сил мы выбиваемся на склоне—
ведь в зубы к черту не полезешь ты.

Ты погляди:

пожар на горных склонах,

деревья пламенеют поутру,

и листья искрами слетают с кленов—
то осень догорает на ветру.

Вот высота.

Здесь быстрая зарница

Взлетает по утрам над царством трав
и облако под вечер спать ложится,
от беспокойства вечного устав.

Мы помним все.

Не задавай вопроса:

в сердца и в разум врезалась война.

Нам не забыть нелегких встреч с

«безносой»,—
встречалась с нами каждый день она.

Земля стонала глухо—шли «пантеры».

Гвардейский полк встречал «гостей» огнем:

без гусениц, как дикие химеры,

застыли наверху перед полком.

Как факелы, пылали и чапли,

Окалина шипела под дождем:

несли огонь и смерть, а получили

за все сполна—долг красен платежом.

Терпели мы в те грозные години...

Рожденные в Семнадцатом году,

под плетью вражьей не гибли спины

и чуял фриц уже свою беду.

Мы не песчинки в струях лиховея
безвольные, гонимые во мгле:
на смерть стояли мы, мечту лелея
об утверждении мира на земле.
И было велико у нас терпенье,
ведь каждый верил, жертвуя собой:
мы бой ведем за счастье поколений.
за правду бой ведем,

священный бой.

Цветы идут с вершины на вершину,

роняя щедро аромат и мед,

они, как люди и как птицы, гибнут,

лицом бесстрашно падая вперед...

Вчера не мы в том были виноваты,

что смолкли соловьи, стелился дым,

пещерный век вернулся в век двадцатый,

Европа стала кладбищем пустынь...

Мы бой вели на бугской переправе.

Бежала за границу немчура.

— Ура!—кричали кручи нашей славе,

межгорья эхом вторили:—Ура!

Мы шли вперед перед затишьем бури,

к воротам Бранденбургским грозно шли

и первые аккорды увертюры

Победы светлой слышались вдали.

Симфонии сраженья втопил ветер,

гремели горы, грохла тишина

и мать-Отчизна в летопись бессмертья

сынов своих вносила имена.

Где раньше флагами алея маки,

на травы нынче вражья кровь течет.

Где птицы пели, фриц идет в атаки

и лает по-собачьи пулемет.

В ушелье темном сырость даже летом,

в лесах гнездятся сумерки и днем.

И так не хочется писать об этом,

война же пишет огненным пером.

Кровавым почерком в блокноты-годы

война заносит павших имена,

зачеркивая страны и народы,

скрепляет подпись взрывами она.

Комбриг с войной в большом

противоречьи,—

задача жизни — истребить ее:

кострами чадными горят при встрече

«пантера», «тигр» и прочее «звепье»...

Он к подчиненным строю во время боя,

в затишье—человек большой души:

какое б дело не было,

любое

он мудро, справедливо разрешит.

Комбрига нет, но кажется: он близко,—

вот у костра спит солдат сидит:

над раненым бойцом склонился низко

и что-то с ним о ломе говорит.

Слегка приземистый, широкоплечий

илет по лесу.

Тихо гаснет день.

На легких крыльях с круч спустился вечер.

Борсое отдохнувший присел на пеню

и задремал—свое берет усталость...

...Улус... Босое детство... Степь... Река...

Сипотская сульба ему досталась...

Братишка-несмышлениш на руках...

Пагет отарч он у богатея:

пятьсот голов доверено мальцу.

Давно забыты детские затеи—

в ответе он за каждую овцу.

Весь день в степи: и в зной, и в дождь,
и в стужу.

¹ Высокогорное озеро в Закарпатье.

² Минеральные источники в Карпатах.

На нем халат с хозяйского плеча.
 А брат в улусе никому не нужен:
 Илюшу видит только по ночам.
 А вскоре в школу стал ходить братишка.
 Он дотемна овец в степи водил.
 а по ночам просиживал за книжкой:
 он, изумленный, в новый мир входил.
 Подрос, окреп. Мозоли на ладонях.
 Всегда работа есть для сильных рук:
 звенит коса и в знойном перезвоне
 трава шуршит и падает вокруг.
 Проходят годы, будто на экране...
 Он Асю видит в солнечной пыли...
 И снова все скрывается в тумане...
 Карпаты... Скрежет гусениц вдали...
 Заря размахивает алым стягом,
 туман ползет по рытвинам земли...
 Когда же вспыхнет знамя над рейхстагом,
 штандарт со свастикой сгнет в пыли.
 Комбриг задумался:
 «Кто в день Победы
 увидит свет над Родиной своей?
 Кто в дом вернется, претерпев все беды?
 Как встретит дом солдат-богатырей?

А дома подрастают дети наши.
 Узнают ли пришедшего отца?
 И сохранят ли благодарность к павшим?
 И сберегут ли к ним любовь в сердцах?..
 В боях учила мужеству Отчизна...
 Не знаю, детям обьяснить смогу ль,
 как вера в правоту социализма
 утравивала ненависть к врагу?
 Ведь перед мужеством—ничто все танки:
 корректировщик—меткий бог огня,
 увидя «тигров» у своей землянки,
 кричит: «Огонь давайте на меня!»
 На чуткость сдали мы в боях экзамен;
 один черствеет сердцем в трудный час;
 другой последним поделиться с вами
 всегда готов, в беде увидя вас.
 Мой ординарец—чирик желторотый,
 а на счету «пантер» подбитых—пять.
 Когда же кровью истекает кто-то,
 готов он сердце на бинты отдать...
 Увижу ли потомков, я не знаю.
 Желая им—садовникам земли,
 чтоб о героях павших вспоминная,
 их мужество и чуткость сберегли».

Авторизованный перевод с украинского
 Вл. Древницкого.

Жамсо ТУМУНОВ

ПО ВОЕННЫМ ДОРОГАМ

Отрывок из боевого дневника

Героям из моего батальона,
 погибшим за нашу Советскую
 Родину

НА ЗАПАД

С тех пор, как я выехал из родных мест, я все двигаюсь, все стремлюсь на запад, туда, где закатывается солнце. И бессонными ночами, и тогда, когда удастся отдохнуть накоротке, у меня никогда не выходит из головы сторона, где закатывается солнце. Там, на западной стороне, там, где закатывается солнце,—там мой враг.

Мой отец, не успев еще дотянуться до стремня лошади, познал, что такое труд степняка. Он умел делать все. С молодых лет он обучал диких лошадей, на пронзительном забайкальском ветру он пас денно и ночью чужие табуны, сквозь снега и метели немислимо далеко он ездил за дровами — и все это он делал для того, чтобы поднять нас. Сколько он подковал лошадей, сколько его руками было сложе-

но копен, сколько сработал телег и саней — здорово было бы подсчитать все это, внушительный получился бы памятник труду человеческому! Но отец мой все это делал, не придавая никакого особенного значения и даже не замечая, что труд его огромен и велик. Все, что им было сделано за пятьдесят лет труда, исчезло подобно следу саней на снегу под лучами весеннего солнца.

И я, воюя в этих ранее неизвестных мною далеких местах, несчетно много одолел рек, имел дело с самыми разными людьми, столько у меня состоялось знакомств, видел и испытал столько трудных минут, столько раз встречался с опасностями, — нельзя допустить, чтобы все это исчезло подобно многотрудной жизни моего отца.

Эта мысль и заставила меня взяться за книгу моих воспоминаний о прошедшей войне...

Закат солнца. Солнце закатывается для того, чтобы взойти вновь. Немецких фашистов ждет неминуемое поражение. И вслед за этим поражением они не смогут поднять головы, не ввергнут нас вновь в пучину военных бедствий. Ради этого мы

и идем на запад, туда, где закатывается солнце.

Неумолимо движется время. Следы на снегу исчезают, но следы наших победных шагов не забудутся во веки веков. И отдаленный потомок, найдя среди запыленных пожелтевших книг эту мою книгу, пусть вспомнит о том, как мы шли туда, где закатывается солнце.

ДОЖДЛИВЫМ ВЕЧЕРОМ

Был дождливый вечер, на дорогах невообразимая грязь — я иду, еле вытаскивая из нее свои натруженные, онемевшие ноги. Дороге конца и края нет. Возле меня взад-вперед двигаются, разбрызгивая в обе стороны грязь, машины, машины, машины. «Чужая земля, — думается мне, — чего же от нее ждать!»

Я не слышу разрывов снарядов, не строчат сейчас пулеметы, но навстречу мне все идут и бредут вереницы раненых.

В штабе мне сказали: ты должен прийти к зданию, крытому черепицей с белыми кирпичными стенами, стоящему вправо от дороги. К нему будет идти аллея, обсаженная с обеих сторон деревьями. Я иду, не сворачивая с дороги, иду изо всех сил, иду, вглядываясь вдаль сквозь густую сетку дождя. Когда же покажется тот дом, до которого так трудно дойти. Но вот кажется и он!..

Несколько сержантов сидели, с любопытством рассматривая трофейную саблю, осторожно пробуя пальцами ее лезвие. Они выпускали клубы табачного дыма. При моем входе сержанты моментально бросили саблю и стремительно поднялись. Должно быть они подумали, что в помещение вошел большой начальник: пока я снимал плащ-палатку, они все стояли по стойке смирно, но как только увидели на моих погонах три звездочки, на лицах сержантов появилось разочарование — они тотчас же сели. Мне это не понравилось, и я строгим командирским голосом спросил:

— Где штаб?

Сержанты вскочили с места.

На дворе все сильнее сгустились сумерки. Деревья, высаженные вокруг усадьбы, кажутся сквозь мутное окно подвешенными за кроны. Видно, как на глиняных крышах пустых сараев беснуется дождевые потоки. Оседланный гнедой конь, жалобно ржавший у дверей конюшни, уныло пошел за сарай. Откуда-то слышится тоскливое мяуканье кошки. Как от всего этого веет чужим, как все это уныло!

«Чужая земля — чего же ты хотел от нее!» — подумалось мне.

Просмотрев мои бумаги, дежурный офицер сказал:

— Начальство в штабе дивизии, приходите завтра.

Я повернулся и уже собрался было выходить, размышляя над тем, куда мне на ночь прислонить голову в этот отвратительный дождливый вечер, на этой постылой чужой земле, как меня окликнул черноглазый лейтенант, что-то чертивший на большой карте.

— Ты не из Улан-Удэ? — спросил он, и я увидел перед собой бесконечно приветливое лицо человека, увидевшего неожиданно-негаданно на далекой чужбине родного брата.

— Миша! — после долгой восторженной паузы крикнул он одному из сержантов. — Покажи старшему лейтенанту мою кровать, пусть он ложится на нее.

Меня ввели в низенький домик. В комнате, куда меня ввели, стояли две роскошные кровати, покрытые богатыми, затейливо вышитыми покрывалами. Видно по всему, что здесь проживала зажиточная немецкая семья. Обстановка в комнате — столь мирная и чистая на стене, громадные дорогие часы, заключенные в футляр из коричневого полированного дерева, так мирно тикали, что я на минуту утратил ощущение военной обстановки. Я медленно снял шинель и осторожно повесил ее на вешалку, также осторожно и также медленно снял свои невообразимые от налипшей грязи сапоги, поставив их в угол, разделся и с минуту в нерешительности остановился перед тем, как лечь на пуховый матрац, под пуховое одеяло и положить голову на пуховые подушки. Невроятно!..

Ощущение: что-то холодное заползло мне под мышку и начинает тянуть меня за предплечье, тянуть сильно, неудержимо. Проснулся — и перед мной тот самый молодой черноглазый лейтенант, который уступил мне столь дивное ложе. Он стоит со стаканом водки в руке и с солидным куском вареного мяса на вилке.

Перевел А. Бальбуров

С НЕБА — В БОЙ

О капитане Старчаке и его отважных бойцах страна впервые узнала в дни героической обороны Москвы в октябре 1941 года, когда «Правда», «Звезда» и другие центральные газеты рассказали о мужестве и отваге небольшого отряда десантников, в течение пяти дней сдерживавшего наступление рвавшихся к столице немецких войск.

За короткое время имя капитана Старчака стало почти легендарным. Об его дерзких вылазках в тыл врага, об опасных рейдах знали все бойцы и командиры Западного фронта. За его голову гитлеровцы обещали большую награду, охотились за ним. Несколько раз Старчак был в лапах у смерти, дважды его родным приносили похоронную, но он снова и снова возвращался живым и невредимым из логова врага. Тяжелое ранение во время одного из зимних походов привело его в госпиталь. Он стал инвалидом, но снова вернулся в строй, снова воевал в тылу врага.

В суровые военные годы нельзя было писать ни о местах, где сражались десантники, ни о подробностях боев, ни, тем более, об отважном командире, семья которого оказалась на оккупированной территории. Прошло немало времени, пока исчезла надобность в этой секретности. Вот отчасти чем и объясняется то, что нам до последних пор почти ничего не было известно о Старчаке.

А оказывается, Иван Георгиевич—наш земляк, уроженец Кяхты, один из первых комсомольцев Бурятии.

Мне посчастливилось повстречать в Улан-Удэ подполковника в отставке П. И. Серебrenникова, давно и близко знавшего Старчака.

Подполковник вспоминает о юности своего товарища, и передо мной вырисовывается светлый облик неугомонного, порывистого паренька, в шестнадцать лет получившего комсомольский билет, а в придачу к нему—винтовку и горсть патронов.

..Тревожный 1920 год. В ночь на 22 февраля в Кяхте готовится восстание против интервентов и белогвардейцев. Выполняя задание подпольщиков, Иван Старчак вместе с братом Сергеем пробрается к центральной площади и на крыше одного из зданий укрепляет красный флаг. Когда утром восставшие пробились сквозь пули и штыки белых на площадь, в глаза всем бросилось трепещущее по ветру алое полотнище, на котором рукой Ивана было написано: «Вся власть Советам!» и «Мир хижинам—война дворцам».

Партизанские отряды и красные части вышвырнули врага из пределов Бурятии. Наступила мирная пора. Комсомольцы-активисты помогают коммунистам строить новую жизнь. Выступают с докладами и беседами перед молодежью, разъясняют зада-

чи партии, вовлекают юношей и девушек в комсомол. И снова ни одного начинания не обходится без Старчака. Он руководит молодежной политшколой, едет в Большую Кудару создавать комсомольскую ячейку, возглавляет группу чоновцев, выступает в спектаклях на сцене Народного дома. У Серебrenникова сохранилась коллективная фотография «артистов», ходивших пешком за тридцать километров в Наушки с концертом. На ней среди смеющихся ребят стоит и Ваня Старчак.

Случалось и так, что в глухую полночь комсомольцев будил тревожный стук в ставни. Значит, снова через кордон прорывается банда или предстоит обыск у контрреволюционеров. И Ваня Старчак, нахлобучив на самые брови буденовку, хватал винтовку, висевшую у изголовья, и бежал к райкому.

Вскоре по комсомольской путевке Иван уехал учиться в военную школу. Окончив ее, служил в Приморье, был командиром взвода конной разведки. Служба на границе нелегкая, беспокойная. Часто приходилось гоняться за нарушителями и диверсантами, совершать стремительные марши-броски. Среди пограничников Иван прослыл лихим наездником и метким стрелком.

И все же случилось так, что вскоре он изменил кавалерии. В 1931 году ЦК ВЛКСМ объявил всеобщий призыв: «Комсомольцы, на самолет!» Загоревшись желанием стать покорителем «пятого океана», Старчак пишет рапорт командованию с просьбой направить его в авиационное училище.

Узнав о его решении, командир полка Шевчук, в прошлом известный в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке партизанский вожак, сказал с обидой:

— Значит, решил сменить коня на самолет? Смотри, не прогадай!

Иван понимал старого конника. Но что поделаешь, воздушный океан манил к себе комсомольца!

После окончания школы, а затем курсов усовершенствования по классу штурманов тяжелой бомбардировочной авиации, Старчака направили в Западную Сибирь. Там в одном из соединений ему всерьез пришлось заняться парашютизмом. Вместе с мастерами парашютного спорта Мартыновым, Евдокимовым, Самсоновым, Губиным, Муратовичем, Новожиловым и Калеевым он учился применять парашют не только как спасательное средство, но и как средство десантирования. Рождался новый вид войск—десантный. Кстати, в этом наши Вооруженные Силы явились пионерами среди других стран.

Дни и месяцы проходили в напряженных

тренировках и поисках. Вместе со своими товарищами Старчак испытывает новые виды парашютов, совершает впервые в мире прыжки с самолета, вошедшего в штопор, затажные прыжки, прыжки с малых высот.

Нападение фашистской Германии на нашу страну застало Ивана Георгиевича в минском госпитале. Утром 21 июня, испытывая новый вид парашюта, он совершил свой тысячный прыжок с самолета, идущего на большой скорости. Ему первому среди советских парашютистов выпала честь перешагнуть тысячный рубеж. Но прыжок оказался неудачным. При раскрытии парашюта оборвались стропы. Каким-то чудом испытатель ухватился руками за раскачивающиеся в воздухе концы. Раскрыть запасной парашют так и не удалось. При приземлении Старчак повредил ногу.

...Вражеские самолеты шли на Минск волна за волной. Кругом бушевали пожары. Началась эвакуация. С трудом выбравшись из пылающего города, капитан Старчак возглавил группу бойцов и повел ее проселками к Смоленску, где находился штаб ВВС Западного фронта. Недалеко от Минска отряд принял боевое крещение, вступив в схватку с вражескими десантниками.

В Минске Старчак получил задание — подготовить и переправить группу разведчиков в тыл врага. Началась нелегкая фронтовая жизнь.

...Гитлеровцы прорвали фронт и по Варшавскому шоссе стремительно двинулись к небольшому городку Юхнову. На пути врага оказался лишь небольшой отряд парашютистов Старчака.

Воины-коммунисты решили на собрании ни на шаг не отступать с рубежа, стоять насмерть. А после собрания был короткий митинг. Капитан Старчак показал бойцам сорванную с придорожного столба табличку, на которой стояла цифра 205.

— Столько километров до Москвы. Фашисты рассчитывают добраться туда на танках и автомашинах за несколько часов. Но мы нарушим вражеские планы. Мы будем биться до последнего патрона, до последней капли крови!

Так же взволнованно и гневно говорил близкий друг капитана комиссар Щербина.

— За нами Москва. И если мы не задержим врага хотя бы на несколько дней, пока не подойдут наши войска, народ нам этого не простит.

Пять дней советские десантники сдерживали натиск превосходящих сил врага. Из четырехсот человек в отряде в живых осталось всего 29. Но они держались до тех пор, пока из Москвы не подоспела на помощь танковая бригада.

Сам командующий фронтом Маршал Советского Союза Буденный пожелал увидеть «отчаянного командира». Когда он узнал, что отряд вел бой без единой пушки, изумился и сказал:

— Деретесь вы смело, даже дерзко. Побольше бы таких отчаянных!

И тут же приказал, чтобы Старчака и его оставшихся в живых товарищей представили к ордену Красного Знамени.

5 декабря 1941 года советские войска,

измотав противника в оборонительных боях под Москвой, перешли в контрнаступление. И снова Старчак с группой десантников летит в тыл врага.

«Белой смертью» прозвали гитлеровцы отряд Старчака. Одетые в белые маскировочные халаты, легко передвигаясь по сугробам на лыжах, десантники внезапно нападали на отступающие вражеские колонны. Задержав противника и заставив втянуться в бой, парашютисты скрывались в лесу, а затем, вновь опередив немцев, устраивали очередную засаду.

Действия отряда Старчака всерьез встревожили фашистов. На дорогах появились таблички: «Движения нет, опасная зона» или «Внимание, русские парашютисты!» Против десантников были направлены специальные карательные отряды, в составе которых были танки.

Вскоре в отряд пришли радостные вести об освобождении Волоколамска и приказ о возвращении на «Большую землю». За десять суток пребывания во вражеском тылу старчаковцы взорвали 29 мостов, сожгли 48 грузовиков, два танка, несколько штабных автомобилей, уничтожили и захватили много вооружения и боеприпасов, пребили более четырехсот вражеских солдат и офицеров.

Не успели десантники написать письма родным и близким — новое задание: перехватить коммуникации отступающего противника вблизи Юхнова, уже знакомого Старчаку по октябрьским ожесточенным боям. Нашему командованию стало известно, что в Юхнове сосредоточены основные силы неприятеля и что враг намеревается остановиться на Угре наступление советских войск.

Во время одной из диверсионных вылазок майор Старчак был тяжело ранен в обе ноги. Был вызван по радио самолет с «Большой земли», и майора, потерявшего сознание, отправили через линию фронта в московский госпиталь.

Друзья считали, что он уже не выживет. Наверное, тогда-то и родился слух о гибели Старчака, который докатился до бомбардировочного полка, в котором служил майор.

Страшное слово «гангрена», которое профессор-консультант произнес шепотом, Старчак услышал. Отвоевался? Нет, он еще будет воевать наперекор всему! И Старчак сказал врачам:

— Ноги резать не дам! Делайте что угодно. Только не ампутацию. Если есть хоть один шанс из тысячи — я готов на все.

И врачи решили рискнуть. Хирург А. Е. Брум сделал редкую операцию — удалил только пяточные кости и пальцы.

Потянулись скучные больничные дни, которые скрашивались иногда посещением друзей-парашютистов, приезжавших к своему командиру прямо с передовой. Однажды, когда в гостях у Старчака были товарищи, его навещил писатель Новиков-Прибой. Пока десантники толковали о делах военных, он слушал их молча, что-то записывал. А потом взволнованно сказал:

— Позвольте, сынки, сказать вам не-

сколько слов. Наше народное государство защищают такие вот молодые, сильные, преданные Родине и партии ребята, как вы. Вы мне представляетесь детьми одной матери, одного батьки. Среди вас царит дух товарищества, и идете вы не в одиночку, а все вместе. Берегите это товарищество, дорожите им, как своей жизнью!

Там же, в госпитале, начальник штаба ВВС Западного фронта генерал Худяков вручил Старчаку за последнюю операцию в тылу врага орден Ленина.

А однажды в палату, где лежал майор, пришли английские офицеры, члены военной миссии. Один из гостей, пожилой офицер, сказал:

— Я много слышал о подвигах вашего отряда и очень рад счастливой возможности побеседовать с командиром десантников. Тем более, что мы самого высокого мнения о русских парашютистах. Некоторые наши обозреватели считают, что именно ваш отряд спас Москву в октябре сорок первого года.

Старчак улыбнулся в ответ:

— Те, кто так думают, ошибаются. Нашу столицу спас весь советский народ.

Англичанин стал говорить о том, что русские не складывают оружия и тогда, когда сопротивление безнадежно, что это настоящий фанатизм.

Старчак не выдержал и вскипел:

— По-вашему, это фанатизм, а по-нашему любовь к родной стране, где ты — полный хозяин!

Девять месяцев провел Старчак в госпи-

тале. И верные товарищи по оружию не забывали его. Как дорогую реликвию, хранит Иван Георгиевич до сих пор письма Василия Малышина, Анатолия Авдеевкова, Шуры Кузьминой, Юрия Альбокримова. Фронтовые друзья Старчака поддерживали его в споре с теми, кто говорил ему, что он уже отлетался и отпрыгался.

И вот Старчак снова на прифронтовом аэродроме. Он волнуется. Еще бы! Ведь на этот раз ему впервые предстоит покинуть борт самолета после операции. Сопровождавший его врач пытался отговорить своего пациента от безрассудной, на его взгляд, затеи:

— Повременили бы. Сказать по совести, вы и ходите-то—смотреть горестно. Сломайте ноги — на себя пеняйте.

Но все обошлось хорошо. Старчак прыгнул, как говорится, на все сто.

Обо всех эпизодах из интересной, богатой событиями жизни Ивана Георгиевича Старчака не поведает. Достаточно сказать, что после этого «пробного» прыжка ему довелось еще не раз приземляться в тылу врага, выполнять сложные боевые задания. Он дошел до Берлина, а в мае 1945 года расписался на стене рейхстага. Затем служил в пограничных войсках, учил парашютному мастерству молодых десантников. А сейчас полковник Старчак, кавалер многих орденов и медалей, вышел в отставку. Он живет в Подмоскovie и занимается новым для себя делом (и надо сказать, успешно) — пишет мемуары о былых боях и походах.

БОЙЦЫ НЕВИДИМОГО ФРОНТА

Под редакцией писателя Баира Шаракшанэ готовится к печати книга по истории милиции Бурятии. История милиции Бурятии тесно связана с историей установления Советской власти в Забайкалье. Белобандитизм на территории Бурятии имел широкий размах. Перед работниками милиции встали задачи — ликвидировать бандитизм и предоставить трудящимся города и деревни возможность спокойно строить новую жизнь.

Об этом и идет речь в отрывках из двух глав, которые мы представляем вниманию читателей.

В сложных условиях создавались и начинали свою работу органы милиции в Бурятии.

В Верхнеудинске (ныне Улан-Удэ) впервые милиция была создана в марте 1920 года.

Весь ее штат, кроме начальника и его помощника, состоял из четырех начальников отделений милиции (по числу отделений, на которые была разбита вся территория города), а также трех десятков милиционеров, делопроизводителя и секретаря.

Комплектовалась городская милиция, как правило, на месте и в основном лицами, ранее служившими в партизанских отрядах.

Многие работники Верхнеудинской милиции были малограмотными, не имели должного опыта милицмейской работы и порой совершенно не знали правовых норм, поэтому Иркутская губернская милиция постоянно оказывала им помощь.

19 ноября 1921 года в Верхнеудинске создается Бурят-Монгольское областное управление милиции.

Белогвардейцы и интервенты, отступая из Верхнеудинска на восток, продолжали оказывать отчаянное сопротивление наступающим им по пятам частям Красной Армии и партизанским отрядам.

Одновременно на освобожденной территории Бурятии, чиня произвол, насилие и зверства, бродили остатки колчаковской и семечовской армий.

При их поддержке в Тунке, Бичуре, Гашее, Троицкосавске и других местах заметно оживили свою деятельность контрреволюционные элементы. Они начали создавать подпольные контрреволюционные организации, осуществлять заговоры против Советской власти и готовить восстания кулачества.

В западных районах Бурятии и на территории Иркутской губернии объявились крупные банды Донского, Чернсва, Сенотрусова, Амагаева и других. Эти банды оказывали серьезное препятствие на пути укрепления Советской власти на местах и нарушали жизнь трудового населения.

Белобандиты оперировали мелкими группами от десяти до тридцати человек.

В восточных районах Бурятии бандитизм принял своеобразную форму так называемого «теократического» движения. Это движение, возникнув еще в 1919 году, имело целью создать «теократическое», то есть религиозное государство, во главе которого должно было стоять ламаистское духовенство.

Бандитизм на территории Бурятии принял широкий размах.

Борьба с ним и его ликвидация — стали первоочередной задачей органов милиции. Ведя непримиримую борьбу с бандитами, милиция постоянно опиралась на широкие массы трудящихся и в первую очередь на помощь коммунистов и комсомольцев. Подтверждением может служить следующее событие.

В 1921—1922 годах в районе сел Никольское, Харауз, Тарбагатай, Харашибирь, Убор, Прибайкальской области действовала крупная банда, именуемая бандой Стишки Никольского. Вооруженные винтовками, гранатами и даже ручным пулеметом, бандиты производили частые налеты, как на русских, так и на бурят, совершали грабежи и убийства.

9 октября 1922 года начальник Прибайкальской областной милиции издал приказ о ликвидации банды Стишки. С этой целью был создан специальный экспедиционный отряд, который напав на след 20 октября, обнаружил всю банду. Она скрывалась на одной из заимок села Никольского. Однако бандиты не думали сдаваться, и под прикрытием сильного оружейного огня отошли в лес.

На следующий день, зная о продолжающемся преследовании и пользуясь темнотой, они на пути следования экспедиционного отряда подвесили к деревьям гранаты. От взрыва этих гранат были ранены два милиционера. Затем банда, разбившись на мелкие группы, рассеялась.

О случившемся стало известно крестьянам Никольского. Возмущенные наглостью бандитов, они в тот же день — 23 октября — собрались все на сходку, где после бурного обсуждения постановили принять участие в преследовании бандитов.

Банда во главе со Стишкой была обнаружена крестьянами.

На рассвете, 5 ноября, окружив ее, крестьяне предложили бандитам сдаться. В ответ Стишка выстрелил. Завязалась перестрелка, в результате которой все бандиты, в том числе и Стишка, были убиты. Так крестьяне помогли ликвидировать злобную и дерзкую банду Стишки Никольского.

Бандитизм, непрерывно подвергаясь преследованию со стороны милиции, заметно идет на убыль.

Теперь уже органы милиции получили возможность вплотную вести борьбу с другими уголовными преступлениями: воровством, кражей скота, мошенничеством, спекуляцией, взяточничеством и т. д.

В раскрытии и предупреждении этих преступлений, встретилось ряд новых трудностей и прежде всего: отсутствие удовлетворительной связи и транспорта, бездорожье, малочисленность штата сотрудников.

Вот что пишет в своих воспоминаниях один из ветеранов милиции, ныне пенсионер МООП Бурятской АССР, Алексей Андреевич Макаров:

«...Тогда еще молодые и неопытные работники, мы успешно справлялись с возложенными на нас задачами. Правда, сейчас я часто удивляюсь тому, какие невероятные трудности нам приходилось тогда преодолевать. Возьмем хотя бы вопрос с транспортом. Ведь мы тогда, как правило, передвигались на подводах, представляемых в порядке трудгужповинности, от одного сельсовета до другого. И, конечно, случалось так, что пока доберешься до места преступления, там уже не оставалось никаких вещественных доказательств, никаких улик и следов преступников. И все же мы разыскивали и ловили их.

Кроме того, мы часто встречались с очень сложными вопросами, которые затруднялись решать. А проконсультироваться и посоветоваться на месте не у кого было и не с кем. Вот и приходилось на свой риск и страх все решать самому. Одним словом, мы в ту пору работали день и ночь, и не помню, чтобы кто-нибудь из сотрудников ныл или жаловался на сложности и трудности в работе...»

Очень важной была работа милиции на экономическом фронте. Милицией пресекался саботаж финансово-налоговой политики Советской власти. Борьба с самогоноварением, раскрытие тайных хлебопунктов — все это дало Советскому государству сотни и сотни тысяч рублей, так необходимых для восстановления народного хозяйства.

Осенью 1923 года происходит слияние органов милиции автономных областей и Прибайкальской губернии. Учреждается Управление Бурят-Монгольской милиции в составе НКВД БМАССР.

В 1924—1925 годах завершается героическая работа трудящихся по восстановлению народного хозяйства в стране.

Партия взяла твердый курс на построение в нашей стране социалистического хозяйства, социалистического общества.

Началась социалистическая индустриализация и коллективизация страны.

Политика большевистской партии встретила яростное сопротивление со стороны мелкобуржуазных элементов, в связи с чем внутри страны разгорается ожесточенная классовая борьба.

Органы милиции республики заняли передовые позиции в этой борьбе.

Алексей Андреевич Макаров (цитировался выше) в своих воспоминаниях пишет:

«...На органы милиции тогда была возложена большая и ответственная задача.

Нужно было, кроме выявления у кулаков излишков хлеба, охранять этот изъятый у них хлеб, а также все изъятое у них имущество как-то: скот, сельскохозяйственный инвентарь и прочее. Необходимо было своевременно обезвреживать их и предусмотрительно выселять в заранее отведенные места для раскулаченных. Кулаки шли на все, вплоть до поджога и уничтожения колхозного добра и имущества. Поэтому милиции приходилось не только охранять колхозное имущество, но и зорко следить за всеми антисоветски-настроенными лицами, чтобы не допустить с их стороны никаких враждебных проявлений и в первую очередь террористических актов против партийно-советских работников и колхозных активистов...»

Пенсионер Иван Владимирович Вершинин, проживающий в настоящее время в г. Кяхте, вспоминая о своей работе в органах милиции с 1924 года, рассказал о таком факте:

«Летом 1929 года, когда я работал заместителем начальника Кяхтинской милиции, один из жителей села Окино-Ключи сообщил мне, что к местному кулаку Перевалову постоянно приезжают какие-то верховые люди. Подозрительным ему показалось то обстоятельство, что эти верховые люди приезжали к нему и уезжали от него только в ночное время.

Меня тоже заинтересовало это обстоятельство и я сразу же выехал туда. Примерно через неделю, путем личного наблюдения за усадьбой кулака Перевалова, данные заявителя мною были полностью подтверждены. После этого я отправил его в Кяхту к уполномоченному ОГПУ, а сам остался продолжать наблюдение.

Через день в Окино-Ключах появился сам уполномоченный ОГПУ (фамилию его сейчас не помню). Он приехал в село под видом продавца рыбы.

В беседе со мной он сказал, что материалы на кулака Перевалова заслуживают серьезного внимания и дал мне задание узнать, откуда и что это за люди приезжают к нему по ночам, с кем он поддерживает близкое знакомство в селе, кого знает с ганзуринской мельницы, в лесничестве, а также на хуторах госпароходства по берегу Селенги.

Путем расследования установили лиц, посещавших кулака Перевалова, узнали, что кулаки готовили вооруженное восстание против Советской власти. Мятеж был вовремя ликвидирован.

Впоследствии они все предстали перед советским судом и понесли заслуженную кару.

Меня же Кяхтинский аймачный Совет за участие в ликвидации этой контрреволюционной группировки наградил именными часами с надписью: «За примерную службу в милиции».

На протяжении всей своей деятельности органы милиции Бурятии постоянно пользовались исключительным вниманием и поддержкой областного комитета партии и правительства Буреспублики.

В ноябре 1925 года в Постановлении ЦИК и СНК БМАССР, по случаю восьмой годовщины Рабоче-Крестьянской милиции говорилось: «...Несмотря на ряд неблагоприятных условий для работы органов милиции... общей разрухи, мы имеем... крепнувший и растущий аппарат, который... выковал кадры милиционеров не только как аппарат принуждения, но и как честного и общественного деятеля — друга и товарища трудящихся...»

Этим же постановлением за особые заслуги, за преданность и отвагу при выполнении своего служебного долга перед трудящимися были награждены свыше десятка

работников Бурятской милиции, в том числе старший милиционер I-го отделения Верхнеудинской городской милиции Солощенко Степан Павлович.

Солощенко отличился при выполнении своего служебного долга и был награжден часами.

Но упомянув о его награждении, хочется сказать еще о том, что Степан Павлович Солощенко в свое время был сослуживцем легендарного лейтенанта Шмидта и являлся одним из активных участников первой русской революции 1905 года.

Работник пенсионного отдела МООП Бурятской АССР Доржи Дылыкович Зубаев рассказывает:

«Революционная работа на «Очакове» особенно активизируется после январских событий 1905 года и в ноябре на крейсере вспыхивает вооруженное восстание матросов. Они арестовывают всех офицеров и, возложив руководство крейсером на лейтенанта П. П. Шмидта, обращаются с воззванием ко всем матросам Черноморского флота — присоединиться к восстанию. Но к ним присоединяются лишь рабочие адмиралтейства и солдаты 49-го пехотного полка. Избирается Совет депутатов, который предъявляет царскому правительству требования: созыва Учредительного собрания, установления демократической республики, восьмичасового рабочего дня, сокращения срока службы матросам и другие.

Однако ни одно из этих требований удовлетворено не было. Царское правительство жестоко подавило восстание моряков. Всего было арестовано и находилось под следствием более двух тысяч человек, причастных к восстанию. Его руководители, в том числе, лейтенант П. П. Шмидт, были приговорены к смертной казни. Большинство же из активных участников восстания были осуждены к разным срокам каторги.

С. П. Солощенко был осужден к четырем годам каторги и на пожизненное поселение в Сибирь.

Свой срок он отбывал в каторжной тюрьме Зырентуя...

В настоящее время в Улан-Удэ проживает его дочь — Скрипак Антонина Степановна. В беседе с нею я узнал, что ее отец Солощенко С. П. умер в г. Улан-Удэ 23-го июля 1943 года...»

Бандитские вылазки продолжались. Они схватили много сел. Нужны были срочные меры и оперативные группы НКВД успешно расправлялись с бандитами.

Ликвидацией вооруженного восстания в с. Хонхолой руководил бывший уполномоченный НКВД и он же начальник оперативной группы, прибывшей из Верхнеудинска, Степан Петрович Полункин. Тов. Полункин впоследствии был назначен и продолжительное время работал начальником Мухоршибирского райотделения НКВД.

Благодаря оперативно-принятых мер бандитское вооруженное выступление было быстро ликвидировано.

Однако некоторым участникам бандитского выступления, в том числе его руководителям, удалось бежать.

Вскоре, в результате умело проведенных группой оперативно-чекистских мероприятий, район был почти полностью очищен от кулацко-лацкого бандитствующего элемента, а тов. Полункиным лично задержан главарь этого бандитского выступления Кравченко.

И в какой бы должности С. П. Полункин не работал он везде и всюду, проявляя личную инициативу, отдавал все свои силы, знания, свой огромный опыт делу борьбы с вражеским элементом и преступностью. Он был неутомимым и непримиримым в борьбе с ними и всегда проявлял образцы личной самоотверженности и находчивости.

Все оперативные планы, мероприятия и версии, которые составлял или выдвигал Полункин, невольно вызвали чувство восхищения у работавших с ним товарищей своей исключительной остротой и точностью, а также безошибочностью в предвидении возникновения новых обстоятельств по делу. И работа по ним, как правило, всегда завершалась успешно.

Степан Петрович Полункин постоянно принимал активное участие в общественной жизни коллектива и неоднократно избирался в районные и городские партийные и советские руководящие органы.

За свои боевые дела он был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги» и другими медалями.

Таков пройденный путь одного из талантливых оперативных работников, боевого, волевого, энергичного, принципиального руководителя и воспитателя личного состава — полковника Степана Петровича Полункина.

С. П. Полункин скончался в 1961 году после тяжелой и продолжительной болезни.

В годы первой и второй пятилеток народное хозяйство Бурятии получает небывалое бурное развитие, что явилось новым ярким отражением ленинской национальной политики и планового развития экономики страны социализма.

В это время серьезное внимание партия обращает на усиление идейно-политической работы в массах, на борьбу с политической беспечностью, благодушием и ротозейством, а также на изучение коммунистами марксистско-ленинской теории.

В органах милиции создаются политотделы.

Введение паспортного режима в Улан-Удэ, а также активные мероприятия по линии наружной службы, патрулирование сотрудников и помощь партийно-комсомольских организаций в борьбе с уголовным элементом способствовали резкому снижению преступности в городе.

Однако имелись факты дерзких проявлений со стороны преступников.

Характерен пример с группой цыган, которых возглавляли Иосиф Каменский и его жена — Малека.

Весной 1939 года эта группа цыган шумной толпой заявила в Улан-Удэнский торсовет. Затем Каменский, со своими подручными, вышел оттуда с решением о выделении им нескольких тысяч рублей на организацию лудильной мастерской (такие суммы по решению Советского правительства выдавались цыганам для того, чтобы помочь им перейти на оседлый образ жизни).

Вскоре в Улан-Удэ появилась мастерская по лужению посуды, а на рынке стали продаваться луженые тазы и чайники.

Но было странно, что при наличии скромного заработка, цыгане вели разгульный образ жизни и почти каждую ночь проводили в ресторанах.

Секрет этот раскрылся буквально через несколько дней, когда в милицию одно за другим стали поступать заявления граждан о кражах.

Сотрудникам милиции стало ясно, что это дело рук цыган, но прямых улик против них не было. К тому же поимкой одного-двух преступников из числа их проблема бы не решилась.

В связи с этим обстоятельством настоящее дело было решено поручить заместителю начальника 1-го отделения милиции Алексею Андреевичу Макарову.

Тов. Макаров умело в короткий срок установил место, где цыгане храниливорованные ценности. Во время обыска у них были изъяты: около килограмма золотого песка, несколько десятков золотых часов, браслеты, бриллианты, более тысячи старинных золотых дукатов и другие ценные вещи.

Тридцать девять воров предстали перед судом. А от них потянулись нити в другие города.

Тридцать пять лет своей жизни отдал Алексей Андреевич Макаров службе в органах милиции. Он награжден орденами Ленина, Красного Знамени, многими медалями, нагрудным Знаком заслуженного работника МВД. В Министерстве охраны общественного порядка в Книгу почета навечно занесено имя Алексея Андреевича Макарова.

Высокого уровня достигла работа органов милиции Бурятии в последние годы. Возросло профессиональное мастерство работников милиции. Они активно помогают воспитывать нового советского человека, бдительно несут свою службу.

Как бы правонарушитель ни маскировался, советские люди спокойны — милиция всегда на посту!



Орленок

В. ИРКУТ

красный лёд

Рассказ

Рис. Ю. Шангинова.

Чего только не рассказывали про Тархов ключ. Давно, еще в войну, ушла одна женщина с сыном по бруснику и не вернулась. К осени дело было. Снег в горах выпал ранний. Искали, искали — не нашли. Много лет спустя — война уж кончилась — нашли охотники два скелета под колодой, угольков рядом немножко. Как сидели у костра, так, видать, и замерзли.

С тех пор и стали всякое рассказывать. Мол, красная рука какая-то появилась. Подстерегает, душит всех, кто заблудится. Мол, и лошади туда не идут, храпят, на дыбы становятся, и охотникам там невезуха сплошная. Кто ногу ломает, кто из болота еле вылезет. А если и не случится ничего, все равно удачи в той пади нет — с пустыми руками вернешься. Говорили еще, что вода в Тарховом ключе — бурая, сладковатая, будто кровью разбавленная. «Хлебнешь, глоток — и года не проживешь».

Не верили ахреевские ребяташки ничему этому, но ходить туда боялись. Бывало, ставят петли на зайцев зимой или с ружьишком за рябчиками в весеннюю пору ходят, никто и не подумает завернуть к Тархову ключу, хотя следов там на снегу полно и пересвист в кустах смородиновых не умолкает.

Как-то ранней весной забрел я ненароком в то место, где Тархов ключ в речку Пьяную впадает. Снег на полях почти сошел. Талые воды разлились по лощинам и овражкам. Но Пьяная была надежно скована метровой толщей льда. Не сразу вскрывается она. Лишь когда на полях появятся подснежники, запыхают первые жарки, с трудом размывает она свой панцирь. Извилисто петляет Пьяная по Ловцовой пади, местами поворачивая чуть ли не в обратном направлении. Оттого и называли ее так. Не одна она такая в наших местах. Есть в соседних падах Метешиха — тоже буйная, норовистая, Кочевная, что время от времени меняет русло. И лишь одна Таловка немного спокойнее, солиднее, хотя воды в ней ничуть не меньше. Впадают все эти речушки возле Ахреевского в быструю многоводную Селенгу, и несет она снега талые, росы утренние, серебро ключей таежных отцу своему — Байкалу.

Место, где Тархов ключ впадает в Пьяную — самое обычное. Вы-

сокая лиственница, с обгоревшей снизу корой, кусты черемухи, шиповника. Ключ еле слышен под сероватым пористым льдом. Неужто вода в нем, в самом деле, бурая, кровавая? Почему тогда лед светлый? Может, его занесло снегом?

Постоял в нерешительности, проверил почему-то патроны в стволах, потом медленно пошел вверх по ключу. Вскоре кустарник сменился березняком, боярышником, потом пошли заросли пихты, осинника. И вдруг там, где распадок круто пошел вверх, я увидел наплывы красного льда.

Это было так неожиданно, что я остановился как вкопанный. Ветер подул сверху. Вершины кедров закачались, зашумели тревожно, словно предостерегая о чем-то. Место глухое. Кедрач. Полумрак, бурелом, колоды — поваленные трухлявые деревья. Снег под ними еще не растаял. И на фоне темной зелени кедрача, на фоне остатного снега алеи наплывы розоватого льда. Выше лед становился все ярче, краснее, словно там вверху кто-то истекал кровью и она струилась, остывая розовыми дымящимися языками.

Я готовил себя к чему угодно, только не к этому. Даже если бы из чащи вышел медведь, я удивился бы меньше, чем при виде этого кроваво-красного льда. Выходит, не зря говорят об этом. А вдруг и красная рука есть на самом деле? Совсем не по себе стало мне, когда я вспомнил про скелеты, найденные где-то здесь. Сердце заколотилось чаще, я взвел оба курка двустволки.

Постоял, постоял так. Успокоился немного. Идти выше не решился, но зато осмелился отколоть охотничьим ножом кусок красного льда, положил в карман и, еле сдерживая себя от желания побежать, тихо пошел вниз, то и дело озираясь по сторонам.

Дома, никому не сказав ни слова, положил кусок льда на тарелку. Здесь он уже не внушал страха. Даже цвет у него поблек, хотя я отколол самый яркий кусок.

Пока лед таял, я не сводил с него глаз. Со стороны, наверное, все это выглядело забавно — не то ворожит пацан, не то опыт какой проводит. Когда от льдинки осталась лишь самая малость, я заметил, что ее покрывает еле заметная розоватая пленка. А вода действительно была бурой. Дня через два она испарилась и на дне тарелки осталась красноватая пыль, вроде растертой краски.

— Пап, а кровь ведь так не высыхает? — спросил я отца. Тот с недоумением посмотрел на меня и спросил, в чем дело. Узнав, что я ходил вверх по Тархову ключу, он рассмеялся, потом сказал, что это, видимо, красная глина, размытая водой, сказал и добавил, что ходить одному в такую глухомань все же не стоит.

* * *

Когда я рассказал ребятам, что был в Тарховом ключе и теперь знаю, отчего вода в нем «кровавая», Серега сказал мне, что это красная глина, видимо, не простая, а охристая. Он где-то вычитал, что охра может указать на месторождение ртути. Выходит, в Тарховом ключе можно найти ртуть. Мы договорились с ним пойти туда как только кончатся занятия в школе. Но сразу после экзаменов Серега уехал с отцом в город к родственникам. Ждать мне не хотелось, и я решил пойти один. Выпросил у дедушки Зангеича охотничий карабин, до блеска отточил нож. На этот раз я решил взять с собой собаку. Наш Зоркий еще мал, всего три месяца. Мы взяли его после того, как Соболь осенью попал под машину.

Надо сказать, вообще нам на собак не везет. Был у нас Джульбарс. Я звал его просто Джульбой. Чистокровная немецкая овчарка. Крупный, здоровенный был. Так его какой-то охотник в лесу за вол-

ка принял — ранил смертельно жаканом. Бедняга, еле приполз домой на передних лапах... Потом взяли сибирскую лайку Венеру. Красивая, славная была. Украл кто-то. За Венерой — Пальма. Невзрачная, так себе на вид, но лучше ее ни один ахреевский пес по белке и соболю не ходил. Исчезла тоже куда-то. Убежала осенью, в пору собачьих свадеб, и не вернулась. За нею — Тарзан. Забавный был, помесь пойнтера и лайки. Уши большие, в отца. На утиной охоте силен был. Не то заболел, не то взбесился — пена изо рта пошла — пришлось застрелить. Затем Соболь, тот что под машину попал. И вот, наконец, Зоркий. Не знаю, хороший ли будет пес, но отец говорит, что и с ним что-нибудь случится.

Как-то он рассказывал семейную легенду о том, что когда-то предки нашей семьи по отцовской линии жили в Монголии. Случилась однажды ссора между двумя родами. Из-за собаки. Не то убили, не то украли ее. Вражда дошла до того, что трем братьям грозила смерть. И тогда бежали они на западный берег Байкала, поселились в трех разных улусах на Ангаре, имена изменили на всякий случай. С тех-то пор и не везет нашему роду на собак, словно проклял нас бурхан...

Зоркий — шустрый, умный щенок, но какой толк от него в тайге? И я попросил у Трушиных огромного пса-волкодава Борзю. На медведя хаживал, барсуков давил. Как раз то, что мне нужно.

Вышел рано утром. Солнце только встало. Густой туман струился из Ловцовой пади. Идем с Борзеей огородами вдоль плетня. Вдруг он остановился, повернул голову назад, ноздрями поводит. Смотрю, вслед за нами Зоркий во весь дух бежит. Подбежал да так и залился веселым лаем.

— Назад! — кричу, — марш домой!

А он бегаёт вокруг, прыгает то на меня, то на Борзю. Ну что с ним поделаешь? Вернуться? Нет уж. Дело даже не в примете, далеко отошли уже. Переглянулись с Борзеей, что, мол, с ним делать, пусть идет, и пошли дальше.

Тайга от Ахреевского совсем рядом. Километра не будет. Вошли в лесок, а Зоркий от куста к кусту бегаёт, то ногу задерет, то в нору носом тычет. Мышиный дух его так и забирает. Лапами роет, фыркает, когда земля в ноздри набьется. Потом увидит, что мы далеко — опять во весь дух, тут как тут. Догонит, и ну кусать Борзю за грудки, за шею. А тот и ухом не ведёт, лишь иногда глянет сердито, чего, мол, гоношишься, вся дорога впереди.

Дошли до Пьяной, стали место искать, где бы перейти. Речка не глубокая, но глубина местами — с ручками. Вода студёная от горного снега. Нашёл поваленную лиственницу. Тонкая, прогибается. Прошёл, балансируя карабином в руке. И Борзя за мной. Аккуратно так попробовал лапой сначала, потом спокойно, не торопясь, прошёл по стволу. Зоркий сунулся было за ним, но испугался, повернул обратно. Делаю вид, что ничего не замечаю, иду дальше. А Зоркий покрутился, покрутился и побежал вдоль Пьяной. Пока шли берегом — ничего, а как стали удаляться — заскулил, забегал взад-вперед. А мы идем, как ни в чем не бывало. Зашли за черемуховый куст, слышим, заливаются, жалобно так тявкает. Пришлось вернуться. Щенок обрадовался, увидев нас, запрыгал на том берегу.

— Ну плыви сюда, не хотел переходить, плыви!

Зоркий, будто поняв, бултых в воду, поплыл к нам. Ошпалев от холода, высоко выбрасывая передние лапы, он плыл, как человек, не умеющий плавать. Течение снесло его к длинной коряге, которая застряла поперек речушки. Вода не перекачивалась, а струилась под нее. Щенка стало затягивать вниз, он уже хлебнул воды, зафыркал, повернул против течения, но стал выбиваться из сил. Ухватив левой рукой ствол березки, я наклонился к воде.



— Сюда, Зоркий! Ну!

Он кое-как приблизился ко мне, я схватил его за загривок и вытащил на берег. Съежился бедняга, озяб весь, трясется от холода и пережитого страха. Тут Борзя подбежал, стал лизать его, а я лапки стал греть Зоркому своими ладонями. Наконец, он пришел в себя, вырвался и как тряхнет всем телом — только брызги веером. С ног до головы обрызгал.

Посерьезнел Зоркий после этой купели, перестал суетиться, отставать, да и вперед не очень-то забегал, шагах в пяти-шести передо мной, да и то все время оглядывался.

Тархов ключ почти пересох. Местами он исчезал вовсе, русло выдавало лишь обилие травы. То место, где в марте я увидел красный лед, выглядело глуше, мрачнее. И все же оно не казалось таким страшным. Небольшое болотце с кочками и

ржавой водой, источало смрад и зловоние. Комаров в тайге еще почти не было, а тут они роем поднимались из травы, затронутой мною. Выбрались на более высокое сухое место (Зоркого пришлось взять на руки) и пошли поверху.

Высокие кедры и лиственницы почти закрывали небо своими лапами. Распадок становился все уже, круче. Ключ то гремел водопадами, то исчезая из виду, журчал где-то под травой и камнями. Вода в нем была на удивление чистая, прозрачная. Неужели прошел мимо? Ни родников, ни глины на берегах не было. Решил все же идти дальше. Зоркий уныло плелся за нами. Голову понурил, хвост опустил. День выдался жаркий. Даже на дне распадка было душно. Устал, конечно. Но кто его просил, сам побежал.

Впрочем, и я тоже устал порядком. Выбрал сухое ровное место. Достал из рюкзака хлеб, сало, сахар. Тут Зоркий, конечно, ожил. Замахал хвостиком и даже твякнул от удовольствия, когда я дал ему кусочек сахара и он с хрустом разгрыз его. Борзе я дал лишь кусок хлеба. Он с достоинством, сдержанно съел его, чуть шевельнув хвостом в знак благодарности, и отошел к ручью, чтобы напиться. Осторожно макнул несколько раз языком в холодную струйку, облизнул нос и лег рядом, положив голову на передние лапы. Молодец, знает, что много пить не следует. Зоркий тоже подбежал к ручью и давай лакать, только язычок замелькал.

Мне тоже захотелось пить. Подошел к воде и вдруг вспомнил, где я и что говорят про этот ключ, про эти места. «Хлебнешь глоток — и года не проживешь». Смешно, конечно, но я невольно взглянул на собак. Борзя уже дремал. И Зоркий лег на бок, вытянул лапки в сторону. Бока вздымались ровно, спокойно. Усмехнулся, присел на корточки, глотнул несколько раз. Не вода — хрусталь. Студеная, прозрачная. Каждую песчинку на дне видно.

Откуда же тот красный лед? Я же видел его собственными глазами!

После привала пошли бодрее. Тайга становилась реже, светлее. Ручей уже совсем исчез, но земля на дне распадка была довольно влажной. И вдруг я увидел на правой стороне распадка какое-то сооружение. Поднялся, смотрю — окопчик, огороженный жердочками. Сверху лиственничная кора от дождя. Впереди амбразура. Залез внутрь. Куда же смотрит амбатура? Вижу, на той стороне распадка какая-то выбоина на склоне. К ней с двух сторон тропки выбиты. Подошел, увидел следы козых копыт. А вот и крупнее — изюбренные. Да это же солонцы! Охотник какой-то нашел их и устроил засидку напротив. Давненько никто не сидел в ней, а вот следы на солонцах совсем свежие. Глинистый выем на склоне весь изрезан зубами животных. А чуть выше — царапины от рогов. На ветках кустарника — клочья шерсти. Линяет зверь в эту пору.

Вдруг Борзя заурчал глухо. Шерсть на загривке заколыхалась. Кого это он учуял? Лапами землю скребнул, повел вверх носом и рванулся вперед. Зоркий же поджал хвост и под ноги ко мне. Вот трус! А впрочем и мне самому не по себе что-то. Передернул затвор карабина. Смотрю, куда это Борзя бежит. А он уже обнюхивает что-то в траве. Бросился к нему — изюбр лежит! Медведь, видно, задрал недавно. Туша не остыла еще. Мухи кружат. Голова запрокинута, рога к спине. Горло разодрано, кровь запеклась на земле. Две осины поперек туши. Видно, завалить, по обыкновению, хотел, да не успел — нас учуял. Где-то ведь недалеко здесь. Может, даже видит нас сейчас.

Какой красавец был! Шерсть рыжая, почти красноватая. Не знал, что летом окраска такая яркая. Зимой изюбры почти серые. Мощный самец — килограммов двести, пожалуй. Рога весной сбросил, панты недавно выросли — нежные, мягкие. Наверное, больно ему задевать их в это время.

Достал кинжал из ножен, легко отсек панты. Девять отростков на них. Девять лет прожил, и вот — на тебе! Они гнулись, как резиновые, когда я вталкивал их в котомку. Потом отрезал собакам по куску мяса, и домой захватил стегно. Не пропадать же добру.

Когда мы поднялись к перевалу, от ручья не осталось и следа. Почва твердая, сухая. Травы почти нет, лишь молочай, который у нас зовут заячьей капустой, гнездится кое-где. И деревьев мало. А те, что есть, — совершенно обугленные, черные. Когда-то здесь прошел пал. Сгорело все, что росло. И тут я увидел, что почва под остатками пепла бурая, оранжевая. Разгреб этот прах и увидел под ним потрескавшийся, кирпичного цвета слой обгорелой глины. Копнул кинжалом глубже — глина почти обычная.

И тут я понял, откуда берется красный лед. Видимо, осенние дожди размывают остатки пожарища, растворяют обгорелую глину и окрашивают Тархов ключ в бурый цвет.

— Тоже мне, геолог! — подтрунивал я над собой. — Ртуть хотел найти, кладоискатель...

И хотя моя «экспедиция» закончилась неудачей, я несколько не жалел о ней. Вполне возможно, что со стороны я выглядел таким же неопытным, забавным, как мой Зоркий, который впервые попал в тайгу, но разве не стоило пойти в этот поход хотя бы ради того, чтобы победить свой страх, раскрыть тайну Тархова ключа, развеять глупые легенды, которые рассказывались о нем годами.

МУЧИТЕЛЬ

Верховой езде сосед
обучал велосипед.
Был красивым он и новым,
свежим никелем блестел,
но ужасно бестолковым —
ездить прямо не умел.

Только сел в седло сосед —
руль пошел направо.
И упал велосипед
в сточную канаву.

Встал сосед в пыли, в грязи,
говорит упрямо:
— Дело было на мази, —
помешала яма.
Ну-ка, снова провези,
только прямо-прямо!

С места тронул ученик
робко, неуклюже,
въехал в лужу напрямик,
завалился в луже.

Взял учитель за бока
своего ученика:
— Под колеса-то смотри! —
говорит он строго. —
Если лужа, то бери
в сторону немного.
Едут дальше, лужи нет —
улыбается сосед.

Только вдруг колеса дрень!
Хлоп в траву учитель! —
налетел на старый пенёк
ученик-мучитель.

До сих пор лежат они,
оба, елки-палки:
первый где-то у родни,
а второй — на свалке.

Первый дал такой совет
(в нем душа кричала):
— Хочешь брать велосипед —
он обучен или нет
разузнай сначала!

КУРОПАТКИНЫ ДОМА

Куропаткины дома
выросли под елкой.
Их построила зима
снеговой метелкой.
Снег под елку намела,
лед под крышу подвела
и любитесь сама
горенкой-светелкой.
Ходит лесом дед-мороз,
в сосняке пугает коз:
— Заморожу, козы!
Холодит бурундуков,
из хорьков и хомяков
выжимает слезы.
Трусят соболи его
и боятся совы.
Даже волки от него

спрятаться готовы.
Даже дедушка-медведь
смазывает пятки.

Не боятся околеть
только куропатки.
Куропатки на ночлег
забираются под снег —
ведь теперь для них дома
есть под каждой елкой,
их построила зима
снеговой метелкой.
Снег под елку намела,
лед под крыши подвела
и любитесь сама
горенкой-светелкой.





Василий НАЙДАКОВ

Актер, писатель, драматург

Цырен Галзутович Шагжин... Превосходный певец, яркий драматический актер, сыгравший более шестидесяти ролей в бурятских, русских классических пьесах. Режиссер и один из ведущих драматургов республики.

Его пьесы идут на многих языках во многих театрах Союза. В последние годы он стал писать рассказы и повести. Уже выпустил несколько книг. Киноактер, создавший несколько интересных ролей в советских фильмах.

В чем он проявил себя с наибольшей полнотой? Мне не раз доводилось слышать песни в его исполнении, видеть его на сцене, смотреть спектакли, поставленные им. Яркое впечатление оставил Шагжин в роли Основы в спектакле «Сон в летнюю ночь» Шекспира. И хотя с тех пор прошло более 20 лет (я видел этот спектакль в 1945 г.), до сих пор живут в памяти и чудесный Пэк в исполнении Ч. Геннинова, и царственно величественная, нежная Титания — Ю. Шагжина.

Интересен и режиссер Ц. Шагжин. Им осуществлены постановки таких пьес, как «Слуга двух господ» Гольдони, «Будамшу» Ц. Шагжина, «Ясное небо» Цао Юя и другие.

Но наиболее весомый вклад в развитие бурятской национальной культуры внес Ц. Шагжин — драматург. Первые одноактные пьесы он написал еще в военные годы. Пьесы «Радость матери» (1942 г.), «Один вопрос» (1943 г.), «Обманщик» (1944-45 гг.) успешно ставились на клубных сценах республики. Они явились для начинающего драматурга школой постижения азов драматургического искусства, хотя и не обладали особыми достоинствами. Прошло несколько лет, автор этих мелких пьес становится одним из ведущих драматургов республики. «Будамшу», «Первый год», «Песня весны», «Черт в сундуке», «Пылающие джунгли»... Какое разнообразие идейных и художественных мотивов! Фольклорная, современная, историческая тема, сатирическая комедия, романтическая драма, лирическая комедия...

Разумеется, не все написанное им в равной степени удачно. Но именно в драматургии с наибольшей полнотой выявилась творческая индивидуальность Ц. Шагжина.

Несмотря на тематическую разнородность, пьесы Ц. Шагжина имеют общность в решении темы, острой конфликтности, правдивости в изображении сложных жизненных обстоятельств. Многие характеры, созданные драматургом, предстают как живые люди, с определенными, только им присущими качествами. Драматург стремится изобразить индивидуально-психологические черты персонажей в сложном переплетении объективных, социально-исторических условий. Лучшим пьесам Ц. Шагжина присущи динамичность и напряженность развития действия.

Герои пьес Ц. Шагжина не ищут легких путей. В борьбе с трудностями ярче раскрываются их характеры, проявляются воля, сила духа. Вот Зоригто Эрдынеев Эрдынеев («Первый год») по призыву партии поехал на работу в село. Он имел в городе не очень обременительную работу, удобную квартиру, относительно достаток, словом, казалось бы, все, чтобы жить спокойно. Но эта «хорошая» жизнь не по нему, он легко порывает с ней и идет председателем в один из самых захудалых колхозов республики. Этот человек знал, что его ожидает. Но многого, конечно, он не мог предвидеть. Встретили нового председателя в колхозе с недоверием. Ни один председатель не оставил о себе доброй памяти. Колхозники, ничего не получая из трудоты, естественно, больше заботились о собственном хозяйстве.

Бывший председатель, откровенный шкурник и демагог, Мунса Бухаев, старается подорвать авторитет Эрдынеева, распространяет о нем клеветнические слухи, вмешивается в его распоряжения. Не стала чужим для него, спутником жизни и женой Саран. Испытавшись деревенской жизнью, она уезжает из колхоза.

Но Зоригто не отступает перед трудностями. Он сумел найти дорогу к сердцам людей. Ему не хватает опыта, знания жизни...

ни, и он идет просить помощи у старого коммуниста Бата Найданова, который некогда был организатором и первым председателем в этом колхозе, он опирается на комсомольский актив, на таких колхозников, как молодая телятница Дугар, пожилой овцевод Гарма Гатапов, семидесятилетняя птичница Балжи и другие. В трудных условиях Зоригто Эрдынеевич повел себя как настоящий коммунист, победил в народ, завоевал его доверие и победил. Именно в борьбе с трудностями мужает и крепнет характер Зоригто.

Несмотря на ряд недостатков пьесы, которые, кстати сказать, в известной степени были преодолены коллективом Бурятского театра драмы, где «Первый год» был показан в том же 1956 году, встреча зрителей с Зоригто Эрдынеевым была радостной. Они со все возрастающим интересом и глубоким сочувствием следили за борьбой этого мужественного, волевого человека, который в трудных обстоятельствах повел себя как настоящий коммунист и сумел вывести колхоз из провала.

Через несколько лет П. Шагжин в пьесе «Совесть» («Бээхэл») 1960 г. опять возвращается к героям «Первого года». В новой пьесе драматург поднимает вопросы об ответственности человека за свои поступки перед народом, перед совестью, о необходимости нравственного совершенствования и борьбы с пережитками прошлого — жливостью, зазнайством, карьеризмом и очковатирательством.

Почти пять лет разделяют две премьеры. Что побудило драматурга обратиться к своим старым героям? Чем оправдан его художественный замысел?

Конечно, вернуться к героям своей старой пьесы и показать, какими стали они через несколько лет, как изменилась жизнь, далеко не единственный и, может быть, не лучший способ выразить движение жизни, ее развитие. Современная драматургия ищет решения этой задачи и в условности, и в сближении с кинематографом, и в попытках объединения различных видов искусства.

Есть глубокий смысл в том, что пьеса называется «Совесть». В то время, как проповедники некоторых модных западных буржуазных течений объявляли совесть пережитком примитивного человека и ратуют за то, чтобы слать ее в архив за ненужностью, в пьесе бурятского драматурга проблема совести — нравственная проблема и является главной, cementирующей все действие и определяющей звучание всего произведения. Совесть в пьесе П. Шагжина не «когнитивный зверь», тварьющий человека, а драгоценное, благородное чувство ответственности человека перед народом.

Главным героем пьесы по-прежнему является Зоригто Эрдынеев. Но он уже не тот, что был в «Первом годе». Теперь руководимый им колхоз вышел в передовые. Люди с уважением относятся к нему. Его ставят в пример, избивают в президиумы. И постепенно слава вскружила голову молодому председателю колхоза. Он теперь уже сам любит поговаривать о своих заслугах,

не терпит критики и возражений со стороны, покрикивает на людей. Зазнался. Эта метаморфоза, неожиданная и огорчительная, внутренне оправдана. Сам процесс перерождения Зоригто в пьесе не показан. Пьеса начинается с того момента, когда зазнавшегося председателя колхоза основательно проработали на бюро райкома партии и вынесли ему выговор. Он растерян и обозлен. Драматург сумел ярко и убедительно показать весь процесс трудной борьбы Зоригто над собою, своими слабостями и недостатками, процесс возрождения Зоригто. В финале пьесы он открыто признается в своих ошибках и отдает себя на суд колхозников. Образ Зоригто Эрдынеева убедителен. Это один из лучших образов нашего современника, созданных в бурятской драматургии последнего десятилетия.

В бурятской драматургии уже были пьесы, созданные на основе фольклора. Образ веселого, неунывающего Будамшу давно известен нашему народу, он герой одноименной сказки. Драматург П. Шагжин, умело использовав лучшие традиции бурятского фольклора, сумел создать образ положительного героя из народа. В «Будамшу» ярко проявилась тенденция к демократизации героя. Яркий комизм многих ситуаций, сатирически заостренные образы угнетателей народа, выразительный живой язык — все эти качества способствовали успеху пьесы. Герой комедии — находчивый, ловкий, благородный, пастух Будамшу — активно борется с ламами, богачами и побеждает их.

Образ Будамшу — собирательный образ, в нем черты характера многих положительных героев, действующих в бурятских сказках (Тубжон, Шараб, Мальчик-Хвост и др.).

Будамшу же в пьесе П. Шагжина — не божественный провидец, не чудотворец, владеющий тайнами магии, а сын своего народа, мудрый, смелый, благополучный.

Где бы ни появлялся хитроумный Будамшу, он везде разрушает козни богачей и нойонов, восстанавливает справедливость. Вездесущий батрак появляется как раз тогда, когда положение кажется безвыходным.

Неунывающий борец за народное счастье Будамшу всюду появляется со своей неизменной веселой песней. Так он спасает красавицу Гэрэл — дочь пастуха Найдана от позорной участи стать наложницей старого деспота Елбоа.

В пьесе много сюжетных перипетий, действие ее развивается стремительно, напряжение растет от сцены к сцене. В ней нет ни одной сцены, которая не двигала бы действие, не помогала бы раскрытию тех обстоятельств, в которых оно разворачивается.

Отрицательные персонажи Повни, Пиглай, лама Ширетуй и Елбой обрисованы автором в традициях бурятского фольклора. Сохранив верность этим традициям, П. Шагжин в то же время обогащает эти сказочные образы. Они, равно как и Будамшу, являются собирательными по отношению к героям сказок и получают в пьесе

се более разработанную психологическую характеристику.

Драматург остался верен правде жизни, и все в этой комедии художественно, социально и психологически обосновано. И это обусловило успех его произведения.

«Будамшу» Ц. Шагжина — яркая, веселая, глубокая и жизнерадостная комедия. Ее успех объясняется прежде всего фольклорной основой, тем, что любясь подвигами славного Будамшу, народ любит своей удачей, ловкостью, своим умом и благородством, своей душевной красотой.

Образ человека из народа является центральным и в драме «Песня весны» (1957 г.), наиболее сложном и серьезном произведении драматурга. С беспощадной правдивостью воскрешая недавнее прошлое, драматург ярко воссоздает атмосферу того времени, раскрывает чувства и переживания комсомольцев, коммунистов, крестьян 1927 года.

«Песня весны» — взволнованный рассказ о поколении, которое с энтузиазмом взялось за перестройку вековых устоев старой деревни, за социалистическое преобразование ее и мужественно вынесло на своих плечах все трудности периода коллективизации страны, нередко добиваясь победы ценой своей жизни. Страстная, романтическая устремленность вперед, в будущее, отличает молодых героев этого произведения. Они еще очень юны, наивны, неопытны. Они не умеют распознать замаскированного злейшего врага, который живет рядом с ними, до смешного наивны их представления об «огненной телеге» — автомобиле, об электрическом свете, о кино и других чудесах, которые они никогда не видели. Но они твердо верят, что Советская власть — это их власть, власть бедняков, и она поможет им создать новую жизнь в их глухом захолустье. Все это приводит в страх и ярость местных богатеев, к решительной борьбе не на жизнь, а на смерть. Герои пьесы одухотворенно, увлеченно говорят о прекрасном будущем. Главным героем произведения Цыбан Санжиев хорошо понимает, что путь к этому будущему лежит через колхозы. Будущее не только мечта, это — цель, которая вдохновляет его на борьбу, наполняет решимостью во что бы то не стало организовать колхоз. Смотришь на этих героев, сопереживаешь с ними все драматические коллизии борьбы и в какой-то момент приходишь удивительно ясное осознание того, что будущее, о котором мечтают герои пьесы — это наше настоящее. Ведь это о нашем времени говорят они как о самой чудесной сказке, ведь это наши будни рисуются перед ними в дымке романтической мечты, зовущей вперед!

Молодой коммунист Цыбан Санжиев отличается поразительной цельностью натуры. Где бы ни был Цыбан — в кругу друзей, среди врагов, наедине с любимой девушкой или вдвоем с матерью — он остается глубоко человеческим, честным, прямым. У него много недостатков, идущих от незнания, темноты, но вместе с тем у него несокрушимая уверенность в правоте своего дела.

Цыбан отчетливо понимает пути и цели борьбы за лучшую жизнь народа, но ему неизвестны подлые хитросплетения и уловки врагов. Сам никогда не крививший душой, не хитивший обходными путями, он не может постичь вероломства врагов, умело использующих для борьбы с ним, с Советской властью каждый случай. Болью, яростью полны слова Цыбана, обращенные к крестьянам, поддавшимся кулацкой агитации и требующим ооротно свои заявления о поступлении в колхоз. Как разъяснить этим темным, робким, бесконечно дорогим людям, что колхоз единственный для них путь к лучшей жизни, как доказать им, что кулак Жигжит — враг их, если и сам Цыбан еще многого не понимает и не знает!

Не понятый одноуслусниками, оклеветанный своими противниками, Цыбан снят с работы председателя сельского Совета, как враг Советской власти. Но рано торжествуют враги его — кулаки и подкулачники. Цыбан не сдастся. Он верит в торжество своего дела, ради которого борется, во имя которого погибает.

И случилось неожиданное для кулаков: крестьян, которые, поддавшись кулацкой агитации, выходили из колхоза, которых не могли убедить жаркие речи и разумные доводы Цыбана, убедила в правоте Советской власти смерть Цыбана. Они вочию увидели страшное лицо врага, поняли, почему погиб Цыбан, поняли и приняли его правду. Гибель коммуниста стала апофеозом его дела, его жизни.

Знакомство с этими пьесами драматурга Ц. Шагжина еще и еще раз убеждает в том, что он идет по верному пути. Глубокое знание жизни, людей — это единственно верный путь. Только с народом, только выражая интересы народа, можно создать значительное произведение. Отступление с этого пути ведет к творческому поражению, к неверному, поверхностному изображению жизни. Так случилось, в частности, с Ц. Шагжиным, когда он в новых своих пьесах «На просторах родины» («Сэлгээхэн нутагайм сэнгэлгэнт», 1959 г.) и «Молодость» («Залуу наһан», 1961 г.) отошел от верно понятого им принципа показа современности.

Этому способствовал господствовавший в 50—60 годы многословный, прожектерский стиль руководства общественной и хозяйственной жизнью страны, позднее резко осужденный Центральным Комитетом нашей партии и всем народом. В пьесе «На просторах родины» весь конфликт построен на стычках между стилизой и сплетницей с одной стороны, и передовой колхозной молодежью — с другой. Серьезные же проблемы современной колхозной жизни: подъем культуры на селе, улучшение быта работников ферм, избавление женщин от тяготного домашнего хозяйства, от личного скота — решены поверхностно и декларативно.

Резкая критика в республиканской печати этих пьес заставила драматурга более пристально взглянуть в жизнь, увидеть действительности факты и явления, серьезно мешающие развитию нашего общества.

ва, острее и глубже ставить в своих произведениях общественно-этические проблемы. В известной мере этому способствовало обращение Ц. Шагжина к прозе. С конца пятидесяти годов он пишет рассказы и повести о современной колхозной жизни.

Рассказы Ц. Шагжина в основном ретроспективного плана. С высоты сегодняшней жизни, глазами умудренного опытом человека всматривается писатель в не столь отдаленное прошлое и находит там драгоценные ростки качеств нового человека («Верка», «Лебедушка», «Невестка»). Большое впечатление производит рассказ «Камень, брошенный вверх...», известный на русском языке под заглавием «Возмездие», в котором автор сурово и точно обнажает душу отщепенца, лишившего себя права жить среди людей.

Новая жизнь порождает новые отношения между людьми, заставляет пересмотреть привычные, но уже устаревшие представления и взгляды во всех сферах жизни, в том числе и в области национальных отношений. Исторически сложившаяся близость русского и бурятского народов, скрепленная совместной борьбой против общего врага, в новых условиях принимает и новые, небывалые прежде, отношения. Все чаще и чаще в жизни наблюдаются браки между русскими и бурятами. И на первых порах многие подобные факты были связаны с решительной ломкой старых представлений.

Этот процесс показан в ряде произведений писателей Бурятии и в частности, в рассказе Ц. Шагжина «Лебедушка». Крепко полюбили друг друга бывший матрос Цыдып и русская девушка Глаша. Да не по нраву многим пришлась их любовь. «По селу потопали слухи, злобный шепоток. Семейские парни косо поглядывали на Цыдыпку. Тот в ответ решительно сводил брови, сжимал кулаки...»

Особенно ярво восстала против их любви мать Глаши, Пелагея. Однажды вечером «...в избу влетела разъяренная Пелагея, закричала с порога тонким пронзительным голосом:

— Нет у тебя, у стервы, ни стыда, ни совести! Без отца растла, сил не жалела, а ты что? Опозорила, ославила, хоть носу на улицу не показывай! С бурятом схлестнулась, глаза бы мои на него не глядели! С нерусским! Господи, за что напасть мне такая, за какие тяжкие прегрешения?

Глаша пыталась заговорить, но мать не замолкала ни на миг.

— Не бывать этому! — кричала Пелагея вне себя. — Не дозволю! Своими руками изничтожу!» («Люди одного края». Бур. книжн. изд-во, Улан-Удэ, 1964 г. стр. 29).

Цыдып и Глаша готовы постоять за свое счастье. Они хорошо знают, что теперь не старое время. Возможно, конфликт затянулся бы, но его решение ускорится возвращением из армии сына Пелагеи. Мать идет у сына поддержки, жалуетса ему...

Но Кеша поговорил с Цыдыпом, и вскоре «...в избу ввалилась куча парней и девок. Кеша и Цыдып с вином и какой-то едой из лавки.

— Вот, матушка, вам мой сказ,—весело проговорил Кеша.— Были у нас в роду все рыжие, а теперь и черные будут. А чего? Никакой разницы, лишь бы человек был стойкий. Давайте свадьбу справлять. Ну и мой приезд отпразднуем.

...Чуть не год Пелагея тяжело привыкала к тому, что бурятский черномазый парень называет ее мамой. Ну, а после ничего, свылась. Даже соседям стала его нахваливать. А один раз сказала какой-то бабе, что жизнь теперь пошла по новой дорожке, нечего, мол, удивляться: еще не то будет». (Там же, стр. 30—31).

«Никакой разницы, был бы человек стоящий» — эти новые отношения между людьми разных национальностей ярко характеризуют духовное единство народов СССР, их юридическое и фактическое равенство. Даже тех, кто вырос и сформировался в условиях господства иной, старой морали, жизнь заставляет понять многое. И потому в рассказах Ц. Шагжина нет непреходимой пропасти между старшими и молодыми, нет проблемы отцов и детей, выступающих в качестве конфликтующих сторон.

Не старинные предрассудки, а стремление понять, что за человека привел в дом сын, заставляют старую Цыбжит в течение нескольких месяцев внимательно и придирчиво присматриваться к Любе из рассказа «Невестка» («Бэри»). Мать огорчена тем, что сын не посоветовался с нею, прежде чем совершить этот важный шаг в жизни — жениться. Со старческой ревностью отмечает она, что ее молодая невестка, учительница, боится коров, бежит на лыжах с учениками, мало понимает в хозяйстве. Но вот однажды бабушка Цыбжит заболела, и Люба впервые раскрылась в ее глазах: заботливая, самоотверженная, любящая, работающая. И оттаяло сердце старой женщины. Теперь две женщины живут душа в душу, дружно.

Не всегда удается Ц. Шагжину удержаться на уровне лучших своих рассказов. Нельзя отнести к лучшим творческим достижениям и повести его «Ясное небо» и «Песня голубых просторов», в которых наряду с несомненными достоинствами: актуальность проблематики, меткие наблюдения над жизнью, есть и слаженность образов, и схематизм в развитии и разрешении конфликта, и досадные длинноты.

Но все же Ц. Шагжин-прозаик не затмил собой Ц. Шагжина-драматурга.

Обращение к прозе не было бесплодным для драматурга. Оно обогатило его жизненными впечатлениями и наблюдениями, помогло преодолеть некий психологический барьер, так помешавший ему при создании пьес.

После, в основном, удачной пьесы «Сестра», являющейся продолжением «Первого года», Ц. Шагжин пишет остро сатирическую комедию «Черт в сундуке» («Шүдхэртэй сундуг») 1963 г., в которой подвергает осмеянию современное дамство.

В ней автор убедительно показал, что в современной Бурятии дамство является пережитком, не имеющим опоры среди населения и что ламы существуют лишь за счет

немногих стариков и старушек, которых они обманывают самым беззастенчивым образом.

Молодые люди Дамдин и Цэрэгма любят друг друга, но их браку препятствует мать Цэрэгмы, набожная старушка Бума. Ей не нравится, что безбожник Дамдин выполняет в колхозе «женскую» работу—доит коров. Вот если бы он был механизатором, то она бы еще подумала. С помощью странствующего ламы Тартада мать решила расстроить их брак. Сосед, бывший милиционер Хасар, вместе с Дамдином и Цэрэгмой разоблачают мошеннический замысел ламы—обобрать Буму и скрыться. Убедившаяся в этом Бума, прогоняет незадачливого ламу и дает согласие на брак дочери с Дамдином, который оказался смелым и умным юношей.

Таков вкратце нехитрый сюжет этой комедии. В ней много красочных подробностей современного быта, смешных приключений незадачливого «святого», психологически убедительных и по-настоящему комедийных ситуаций. Пьеса переведена на русский, казахский, латвийский, чувашский, тувинский и другие языки народов СССР и с успехом идет во многих театрах страны.

Последним по времени произведением Ц. Шагжина явилась пьеса «Пылающие джунгли», посвященная событиям, происходящим во Вьетнаме.

Справедливости ради следует отметить, что пьеса Ц. Шагжина «Пылающие джунгли» не относится к шедеврам драматической литературы. Можно упрекнуть автора за умозрительность, за натянутость ситуаций, за то, что характеры основных героев мало индивидуализированы.

Наиболее интересным в пьесе получился образ Ганги. Молодой способный вьетнамец, окончивший школу разведчиков в Америке, Ганга во время одного из партизанских налетов потерял семью. Это сделало его не просто холуем американцев, а соз-

нательным врагом партизан, мстителем за свое горе. Он служит американцам в борьбе против своего же народа не за блага, которые те сулят ему, в отличие от майора Фам Фу Донга, а по убеждению. Это дает ему возможность быть более независимым от различных привходящих обстоятельств, а талант разведчика делает его неоценимым человеком в глазах Джона Артура. Близкое общение с патриотами, в доверие которых он сумел войти, выполняя задание своего командования, помогло ему оценить высокое мужество своих врагов, понять благородство целей их борьбы. Презрительное отношение американских солдафонов ко всем вьетнамцам пробуждает в нем чувство национальной гордости, помогает ему понять, что несут для его народа иноземные пришельцы. В результате сложной внутренней борьбы, обураваемый многими сомнениями, Ганга приходит к осознанию своей вины перед народом, спасает У Нгуна и помогает ему выполнить задание партизанского командования. Не видя выхода из своего положения, он кончает с собой. Таково содержание пьесы. Несмотря на отмеченные недостатки, она успешно идет на сцене Бурятского театра драмы.

Драматургия Ц. Шагжина воплотила в себе многие черты современной бурятской драматургии. Само собой разумеется, что творчеством Ц. Шагжина отнюдь не исчерпывается тематическое и жанровое богатство ее. Ц. Шагжин, как писатель и драматург, наиболее колоритная фигура, весьма интересная творческая индивидуальность, со своим почерком. Это беспокойный, ищущий художник. Ныне народный артист Бурятской АССР и заслуженный деятель искусств РСФСР, главный режиссер Бурятского ордена Ленина театра оперы и балета Ц. Шагжин—в зените своего творчества. И народ, много давший ему, вправе ожидать от него новых творческих свершений.

Аркадий БЕЛИНКОВ

Многие наши критики и литературоведы пишут сейчас молодо, свежо, горячо. У нас появилась целая плеяда критиков, таких, как А. Белинков, В. Непомнящий, И. Виноградов, Б. Сарнов, В. Лакшин, З. Паперный, А. Турков и др. Вместо догматического, мутного, казенного языка, на каком изъяснялись критики предыдущей эпохи, они стали писать живым, разговорным, естественным. Многие книги, статьи и рецензии прежних литературоведов именно из-за своей тусклости были в полном пренебрежении у широких читательских масс. Книги по литературоведению перестали привлекать эти массы. Всякий «специалист» по Герцену писал о Герцене так тяжело и скучно, что читали его лишь другие «специалисты по Герцену». А рядовой читатель от них шарахался. Теперь это круто изменилось. Прочтите, например, книгу А. Туркова о Салтыкове-Щедрине или статьи В. Непомнящего о «Памятнике» и «Маленьких трагедиях» Пушкина.

Из этой плеяды особенно выделяется своеобразным талантом Аркадий Викторович Белинков, автор известной книги «Юрий Тынянов», которая в короткое время выходит уже третьим изданием. Его оригинальный писательский метод, где строгая научность сочетается с блестящим артистизмом, сказался и в новой его книге, посвященной Юрию Олеше. Глава из этой книги и предлагается читателям «Байкала».

Корней ЧУКОВСКИЙ,
лауреат Ленинской премии.

Поэт и толстяк

Из огромной дымящейся, проносящейся мимо всемирной истории в книгу писателя попадают дары и удары, которых ему не удалось избежать.

По непохожести одного писателя на другого обнаруживается, что именно в обступившем писателя мире выбрала его художническая восприимчивость.

В книгах каждого большого художника своя война, своя революция, своя эпоха реакции и каждая семья несчастлива по-своему.

Исследователь обязан не только констатировать это, но и обнаружить в войне,

революции, эпохе реакции и каждой несчастливой семье, что именно оказало воздействие на художника, которым он занят.

Это неверно, что на художника воздействует сразу вся война и вся революция.

Проносящаяся мимо всемирная история воздействовала на Юрия Олешу драматическими перипетиями взаимоотношений интеллигенции и революции.

Эта тема в книге о послереволюционном государстве, написанной следом за книгой о революции — «Тремя толстяками», — воплотилась в конфликте между поэтом и обществом.

Из книги «Юрий Олеша», выходящей в издательстве «Искусство».

Классическая коллизия «художник и общество» в книге о революции разрешена, потому что в этой книге изображается естественная и неминуемая борьба общества с протестующим художником.

Во второй книге взаимоотношения художника и общества так же враждебны, как и в первой.

Действие второй книги происходит после революции, и враждебны взаимоотношения художника и послереволюционного общества.

В книге, написанной человеком, пережившим первое десятилетие нового государства, конфликт художника и общества возникает из-за того, что художник ждал от революции нечто иное, чем то, что она могла или должна была дать.

Художник ждал от революции свободы, но в том значении, которое придается этому слову в предреволюционном обществе.

Начинается еще одна книга великой литературы о борьбе художника с веком.

Спор поэта и общества, а чаще поэта и толпы у Юрия Олеши возникает в «Трех толстяках», и все, что создал писатель, связано с этим спором.

Концепция «поэт и общество» Олеши не выходит за границы традиционных в русской литературе представлений, и продолжает тему Пушкина—Блока. Эта важнейшая тема русского искусства излагается так: несмотря на то, что меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней поэт, его душа способна встретиться тотчас же, как только чуткого слуха коснется божественный глагол. Предполагается, что поэт по разным обстоятельствам может быть не чужд самых разнообразных недостатков. Больше того: меж детей ничтожных мира, вероятно, именно он ничтожнее всех других. Однако, несмотря на все это, поэт неминуемо обладает достоинством, делающим его безоговорочно выше общества. Неминуемое достоинство, делающее поэта безоговорочно выше общества, заключается в том, что он к ногам кумира не клонит гордой головы, а так же в том, что он — свободный человек, не боящийся обличать пороки общества.

Из-за чего возникает конфликт поэта и общества?

Из-за того, что поэт по своим физиологическим и профессиональным свойствам и обязанностям наблюдает за обществом, видит, каково оно, и рассказывает о том, что видит.

Конфликт художника и общества трагичен, естественен и неминуем. Почти всегда он кончается гибелью художника. Но попытка этот конфликт, этот закон отменить, сделать вид, что его нет, не должно быть, кончается уже не только гибелью художника, но и гибелью искусства.

Из всех условий существования поэта единственное, которым нельзя пренебречь, это — правда, которую он обязан говорить обществу. Эта правда в разные эпохи выражается неодинаково. Иногда она может выражаться так:

«И если зажмут мой измученный рот.

Которым кричит стомиленный народ...»
иногда иначе:

«На холмах Грузии лежит ночная мгла...»
Это ничего не меняет. Поэт говорит только правду. И ни пытки, ни казни, ни голод, ни страх, ни искушения, ни соблазны, ни кровь жены и детей, ни щепки, загоняемые под ногти, ни женщина, которую он любит и которая предаст его, не в состоянии заставить поэта говорить неправду, лстить, лгать, клонить голову и славить тирана. Сдавшийся человек не может быть поэтом. Человек, испугавшийся сказать обществу то, что он о нем думает, перестает быть поэтом и становится таким же ничтожным сыном мира, как и все другие ничтожные сыновья.

Искушения, жажда власти, забота о славе, малодушие, соблазны и страх мешают художнику осуществлять свое право и назначение — говорить обществу то, что он о нем думает и что заслуживает оно.

Между художником и обществом идет кровавое неумолимое побоище: общество борется за то, чтобы художник изобразил его таким, каким оно себе нравится, а истинный художник изображает его таким, какое оно есть. В этой борьбе побеждают только великие художники, знающие, что они ежеминутно могут погибнуть и гибнуть. Других общество уничтожает. Великие произведения так уникальны, потому что выстоять художнику еще труднее, чем создать их.

(Даже в наши дни, конечно, в исключительных случаях, иногда возникают некоторые частные противоречия между художником и обществом. Они, конечно, сразу же разрешаются, но не принимать их во внимание вовсе было бы еще преждевременным. Эти незначительные и, конечно, легко разрешимые противоречия чаще всего возникают в связи с имеющим кое-где место незначительным разладом между социалистическим реализмом и весьма реалистическим социализмом.)

Пушкинская программа и традиционная концепция классического столетия русской литературы были продолжены Блоком в стихотворениях «Поэты», «Пушкинскому дому» и речи «О назначении поэта». Юрий Олеша пересказал их и блоковский вариант в своем романе.

Блок пишет о том, что, хотя поэты «болтали цинично и пряно», и что они «золотом каждой прохоржей косы Пленялись сознанием дела», но с торжеством и гордостью он утверждает, что поэты «плакали горько над малым цветком. Над маленькой тучкой жемчужной», и поэтому они выше и чище «милого читателя, который «доволен собой и женой», а также «Своей конституцией куцей» и которому «недоступно все это»: то есть «И косы, и тучки, и век золотой».

Эта концепция и эти образы «читателя и поэта» девятнадцать лет спустя были воспроизведены Юрием Олешей в прозе с отчетливой близостью к поэтическому оригиналу.

По-видимому, эта близость литературно случайна, но несомненное сходство побудительных (нелитературных) причин делает ее серьезной.

Сходство было в оценке послетоваривших за вооруженным переворотом событий.

Через три года после поэм о революции

Александр Блок написал:

Что за пламенные дали
Открывала нам река!
Но не эти дни мы звали,
А грядущие века.
Пропуская дней гнетущих
Кратковременный обман,
Прозревали дней грядущих
Сине-розовый туман.
Пушкин! Тайную свободу
Пели мы во след тебе!
Дай нам руку в непогоду,
Помоги в немой борьбе!¹

Эти стихи написаны не в январе 1918 года, когда были созданы «Двенадцать», а в феврале 1921, за шесть месяцев до того, как Блок трагически погиб. Не следует удивляться стихам 1921 года, предсмертным строкам, запещанию поэта. Александр Блок был одним из первых писателей, начавших революционную тему в русской литературе XX века. И он был одним из первых, кто сказал о беспокойстве за судьбу революции. Прошло несколько лет после его смерти, и эта тема появилась в произведениях Маяковского, А. Толстого, Эренбурга, Форш, Замятина, Багрицкого, Асеева, Федина. Разные ее решения привели к непохожим результатам.

Через три года после романа о революции Олеша задумался над вещами, которые раньше, казалось бы, трудно было образить. Был расцвет нэпа, и, как некоторые другие писатели в эти годы, Олеша начал писать о своих раздумьях.

Книгой, лишенной сомнений, начинал свой литературный путь Юрий Олеша. Он начинал книгой о революции, которая должна была освободить человека. Но пришел нэп, близилась коллективизация и индустриализация, началось подавление оппозиции, и Олеша, как многие интеллигенты конца 20-х годов, насторожился и с тревогой стал всматриваться в результаты революции.

Во все глаза смотрела литература конца 20-х годов на результаты революции.

Все это сразу не очень легко понять. Но, как всегда, нас выручает академичность и еще чаще сатирическое литературоведение. Оба указанных вида этой науки не нам на этот счет абсолютно точные, но вступающие друг с другом в противоречие указания: все испортил нэп.

В самом деле: 1) нэп смутил, 2) нэп породил сомнения, 3) огорчил, 4) поразил, разочаровал, 5) сделал много других, ныне вредных (особенно для легко ранящихся хулиганских душ) вещей. Это критически невозможно опровергнуть, а если кто и захотел, то сама метническая истинность всем своим авторитетом ударила по рукам такого скептика и экспериментатора. И это было бы очень, очень мило.

А. Блок. Собрание сочинений. Тома 12, 1932—1936, т. 4. Издательство писателей в Ленинграде — «Советский писатель», 1932, стр. 214.

Однако некоторое обстоятельство вносит известную коррекцию в литературоведческое благообразие. Обстоятельство это заключается в том, что как раз в эпоху густого цветения нэпа были созданы произведения, полные каменной уверенности и лишенные сопливых сомнений — «Чапаев», «Железный поток», «Цемент», «Донские рассказы», «Любовь Яровая», — а в годы, когда нэп судорожно корчился в охватившей его окончательной и уже бесповоротной агонии, появились произведения, которые хороший редактор даже не захочет брать в рот.

Роль нэпа в истории советской литературы непомерно и чебескорыстно преувеличена, и это естественно, потому что некоторые литературоведы считают, что гораздо приятнее связать с нэпом, о котором никогда ничего хорошего не говорилось, вещи, которые никогда никому удовольствия не доставляли.

Несмотря на это «Голубые города» А. Толстого, «Братья» Федина, «Багровый остров» Булгакова, «Пушторг» Сельвинского были написаны, когда уже всем стало ясно, что нэп заканчивает свое земное бытие. И появились эти произведения не потому, что их авторов смутил, огорчил, поразил и разочаровал нэп, а потому, что революция в конце 20-х годов перешла в новую фазу: началось решительное укрепление диктатуры, и людям, склонным к сомнениям и мыслящим в дореволюционных категориях о свободе, это казалось странным, а некоторым даже нежелательным.

Кончилось первое послереволюционное десятилетие, и взаимоотношения интеллигенции и революции приобрели новую ипостась: начались выяснения взаимоотношений интеллигенции уже не с революцией, а с новым послереволюционным государством, с государством в форме диктатуры пролетариата.

Эти выяснения прошли через всю русскую литературу второй половины послереволюционного десятилетия.

Государство в форме диктатуры пролетариата возникло, как известно, не в 1927, а в 1917 году. Но характер и интенсивность его проявления в разные времена были не одинаковыми. Совершенно очевидно, что в эпоху нэпа диктатура пролетариата проявляла себя иначе, чем в годы военного коммунизма или в пору коллективизации.

Государство диктатуры пролетариата могло предложить интеллигенции свободу лишь в пределах, не мешавших ему.

Свобода, которую принесла революция, была, по-видимому, не совсем тем, что части дореволюционной интеллигенции, казалось, революция обещает.

Однако прошло совсем немного времени, и новые представления о свободе стали казаться даже лучше старых представлений.

Но «Зависть» была написана в те годы, когда Ю. Олеша, увы, не до конца понял, что новые представления о свободе еще лучше старых.

Поэт Юрия Олеша думал, что свобода—

это то, за что боролись все протестанты, из-за чего совершались революции, велись освободительные войны, гремели фанфары и умирали герои.

Он думал о русской революции XX века в категориях французской революции XVIII века.

Юрий Олеся, за три года до «Зависти» написавший книгу о революции любого века под непосредственным и недифференцированным впечатлением недавней революции, был уверен, что люди, совершающие революцию, берут тезис прямо из рук человека, совершающего революцию, оружейника Просперо. Но потом писателю стало казаться, что что-то случилось, в связи с чем в его сознании неожиданно возникла литературоведческая дискуссия: от кого же эти люди происходят — от оружейника Просперо или от одного из Трех Толстяков. Кроме чистой альтернативы, появляются осложненные предположения: сначала от оружейника Просперо, а уже потом от одного из Трех Толстяков.

В романе Юрия Олеши конфликт поэта и общества начинается с того, что свое право и назначение поэт не в состоянии осуществить.

Право и назначение поэта в том, чтобы говорить обществу то, что он думает.

Вот что говорит поэт обществу:

«—Вы... труппа чудовищ... бродячая труппа уродов... Вы, сидящие справа под пальмочкой,— урод номер первый... Дальше: чудовище номер второй... Любуйтесь, граждане, труппа уродов проездом... Что случилось с миром?»

И вот чем это кончается:

«Меня выбросили.

Я лежал в беспамятстве».

Тогда поэт, которому не дают выполнить свое высокое святое назначение, оказывается вынужденным писать «репертуар для эстрадников: монологи и куплеты о фининспекторе, совбарышнях, измахах и алиментках».

В учреждении шум и тарарам.

Все давно смешалось там:

Машинистке Лизочке Каплан

Подарили барабан...

Так как герой Олеши думает в категориях ушедшей эпохи, а живет в обстоятельствах существующей, то он начинает догадываться, что наступает обычная борьба поэта и общества.

Выброшенный из своей среды художник во враждебном окружении кажется странным, непонятым, нелепым и жалким. С великодушием б-л сая о пропета его фраза о ветви, полной цветов и листьев. Но вот эта оторванная от ствола ветвь с размаху всаживается в другую среду, в песок, в почву, на которой она не может расти. Теперь эта осмеянная ветвь выглядит странно, непонятно, нелепо и жалко. Вот как она выглядит в изображении человека другой среды: «Он разразился хохотом.— Ветвь? Какат ветвь? Полная цветов? Цветов и листьев? Что? А вот как в том же изображении выглядит художник, создавший эту ветвь: «...наверное, какой-нибудь алкоголик...»

Поэт отчетливо сознает несходство

своего мира с миром, в котором он живет, и враждебность этих непохожих миров. Мир поэта прекрасен и сложен, и поэтому верен. Чужой мир — схематичен, упрощен, беден, приспособлен для низменных целей, и поэтому ложен. Для того, чтобы хоть как-нибудь понять друг друга, людям, говорящим на разных языках, необходим перевод. Поэт иногда вынужден брать на себя обязанности переводчика.

Он переводит свой язык на язык общества, которое его не принимает и которое он не может принять:

«...сперва по-своему скажу вам: она была легче тени, ей могла бы позавидовать самая легкая из теней—тень падающего снега; да, сперва по-своему: не ухом она слушала меня, а виском, слегка наклонив голову; да, на орех похоже ее лицо, по цвету — от загара, и по форме — скулами, округлыми, суживающимися к подбородку. Это понятно вам? Нет? Так вот еще. От бега платье ее пришло в беспорядок, открылось, и я увидел: еще не вся она покрылась загаром, на груди у нее увидел я голубую рогатку весны...»

Следом за этим идет перевод. «А теперь по-вашему... Передо мной стояла девушка лет шестнадцати, почти девочка, широкая в плечах, сероглазая, с подстриженными и взлохмаченными волосами—очаровательный подросток, стройный, как шахматная фигурка (это уже по-моему!), невеликий ростом».

Решительно подчеркивает поэт несходство своего мира с миром, в котором ему пришлось жить. «Да, вот вы как, а я так» — с презрением заявляет он.

Снова начинается прерванный (разными способами) и, казалось бы, уже решенный спор о взаимоотношениях художника и общества или иначе: поэта и толпы.

Поэт Николай Кавалеров это человек другого мира и другой судьбы.

Представьте себе человека, который отвечает на вопросы, где он работает (как живет, как себя чувствует, где купил шапку) отвечает стихами. Кавалеров отвечает стихами. Он говорит: «Вы... труппа чудовищ... бродячая труппа уродов...» Или «...на груди у нее увидел я голубую рогатку весны...»

В эти же времена был написан другой роман, в котором другой интеллигент говорил тоном, заставляющим насторожиться.

Он говорил подозрительным по ямбу тоном.

«Волчица ты... тебя я презираю. К добнику уходишь от меня. К Птибурдукову от меня уходишь. К ничтожному Птибурдукову нынче ты, мерзкая, уходишь от меня. Так вот к кому ты от меня уходишь. Ты похоти прелаться хочешь с ним. Волчица старая и мерзкая притом!» «Это глупо... Это бунт индивидуальности, — кричат интеллигенту. «И этим я горжусь», — ответил Лоханкин подозрительным по ямбу тоном:—Ты недооцениваешь значения индивидуальности и вообще интеллигентности...негодяй! ...Интеллигент!»—отвечают ему.

Васисуалий Лоханкин был опровержением Кавалерова. Ильф и Петров спорили с Юрием Олеши. Они осмелили: «Васисуалий Лоханкина и его значение», «Лохан

тина и трагедия русского либерализма», «Лоханкина и его роль в русской революции». Вместе со значением, трагедией и ролью осмеял лоханкинский ямб. Авторы осуждали Лоханкина со всей решительностью эпохи, в которую создавались их книги.

И они, безусловно, были правы. Такого интеллигента и такое значение его, несомненно, следовало осмеять. Писатели видели вокруг себя (сначала в Одессе, потом в редакции «Гудка», где они написали свой первый роман) большое количество прототипов. А что не увидели, восполнили самонаблюдением.

Отношение Олеси к своему герою более гуманно, осторожно, сбивчиво и противоречиво, чем отношение Ильфа и Петрова к своему. И хотя он тоже осмеивает Кавалерова за тон, подозрительный по ямб, но делает это не так охотно, и радостно, как его остроумные коллеги. Да, он и не осмеивает Кавалерова сам. Он поручает это неблагодарное дело другим персонажам романа, а другие персонажи — враги поэта.

Васисуалий Лоханкин и Николай Кавалеров лишь разное мнение о взаимоотношениях интеллигенции и послереволюционного государства. Но время в «Зависти» и «Золотом теленке» говорит одинаково. В «Зависти» оно говорит так: «...собираемая при убое кровь может быть перерабатывается или в пищу... для изготовления колбас, или на выработку светлого и черного альбумина, клея, пуговиц, красок, земледобрыльных туков и корма для скота, птицы и рыбы. Сало—сырец...» Ветвь, полная цветов и листьев, отделена от собираемой при убое крови тремя словами: «Вечером я корректирую».

Васисуалий Лоханкин тоже, как и Кавалеров, валяется на диване, но фразу о голубой рогатке весны, как вы, вероятно, заметили, не произносит. А, если бы и произнес, то она торчала бы у него изо рта, как щипцы, которыми дергают зубы. Тыфу!

В «Золотом теленке» положение несколько проще. Там интеллигенция осведомлена за то, что она думает, что революции посягает на демократию. При этом автор выдает за интеллигентов людей, которые больше похожи не то на редакторов крупного издательства, не то на членов ученого совета при хане Батые.

(Я не развиваю тему сходства двух героев потому, что не хочу преувеличивать, и еще потому, что это сходство вскоре поглотится для несравненно более ответственной параллели.)

Почти у каждого из писателей этих лет был свой Лоханкин; и каждый из писателей то больше, то меньше, то сам, то, поручая такую ответственную работу своим героям, срамил своего Лоханкина. Этой в высшей степени уважаемой деятельности предавалась большая и, конечно, лучшая часть нашей литературы приблизительно два десятилетия, и только к концу 30-х годов сочла свою задачу по ряду главных показателей в основном выполненной.

Независимо от этой литературы существ-

вовала другая, которая не оспаривала наличия громадного количества Лоханкиных в истории русской общественности, но полагала, что бываюто не только они. При этом особенных иллюзий по части, якобы незначительной роли Лоханкиных она не имела. Напротив, было сразу заявлено: «Нас мало. Нас, может быть, трое...» Столь резкое снижение показателей (трое!) происходило, вероятнее всего потому, что подобная литература просто не берегла своих героев. Она сама говорила о них: «Таких в монастыри ссылали. И на кострах высоких жгли». Ни больше, ни меньше. Хорошенькое дело.

Эта литература показала русского интеллигента иным. У интеллигента были свои недостатки. Он часто ошибался. Иногда совершенно непростительно. Но в то же время у него были и известные достоинства. Например, у одного была совесть:

...А я всю ночь веду переговоры
С неукротимой совестью своей.
Я говорю: «Твое несудья бремя,
Тяжелое, ты знаешь, сколько лет».
Но для нее не существует время,
И для нее пространства в мире нет...
Другой взваливает на свои бедные, стер-

тые жизненные плечи тяжкую кладь:
...А покамест еще в тенетах
Не увязла — людских кривизн.
Буду брать — труднейшую ноту,
Буду петь — последнюю жизни!..
В гибнущей Вселенной стоит обреченный человек:

Нельзя дышать, и твердь кишит червями,
И ни одна звезда не говорит...
Художник сбивается с пути, падает, гибнет.
Но лучшее поиск, протест, гибель, лучше туда, куда ни одна нога не ступала,
чем вытоптанное поле, проезжая дорога,
где все известно, измерено и ложно:

...Метался, стучался во все ворота.
Кругом озирался, смерчем с мостовой...
— Не тот это город, и полночь не та,
И ты заблудился, ее вестовой!
Но ты мне шепнул, вестовой, неспроста,
В посаде, куда ни один двуногий...
Я тоже какой-то... я сбился с дороги:
— Не тот это город, и полночь не та.

Но еще разрушительнее и опасней, когда художник знает, что можно избежать гибели, уклониться от победы, и что это так легко и доступно:

Столетье с лишним — не вчера,
А сила прежняя в соблазне.
В изтежде славы и добра
Глядеть на вещи без боязни.
Хотеть, в отличие от хлыща
В его существовании кратком,
Труда со всеми сообща
И злобно с правопомятком.
И тот же тотчас же тупик
При встрече с умственной ленью,
И те же выписки из книг,
И тех же эр сопоставленья...

Увы, русский интеллигент был сложнее и разнообразнее, чем тот, которого столь метко изобразили Ильф и Петров, и которого, сбиваясь, то так, то этак изображал Юрий Олеши.

Этот интеллигент был непонятен Юрию Олеши, иногда даже неприятен и чужд.

Он вызывал необузданно сложную гамму чувств, в полутьмах которой, в черных бемолях, дисазах, иногда слышались едва различимые отголоски чего-то неясного, неосознаваемого, неуловимого, быть может, — зависти. Юрий Олеша, вероятно, понимал, что Васисуалий Лоханкин не в состоянии охватить все оттенки русской общественной мысли, но интеллигентов, которые были ему непонятны, неприятны и чужды, он предпочитал изобразить как людей, говорящих подозрительным по ямбу тоном.

И это ему вполне удавалось. По крайней мере, до тех пор, пока он не опоминался перед альтернативой: поэт (Кавалеров) или толпа (Бабицев).

Происходила какая-то ошибка. Она была неопреодолима, потому что была ошибкой смысла, и если бы она оказалась преодоленной, то получилась бы другая книга и написал бы ее другой писатель. В книге с ошибкой писатель сделал своего героя высоким поэтом. Этого достаточно, чтобы герой получил право на серьезность суждений и оценок. Автор срамит своего героя за оторванную пуговицу и лежание на чужом диване, но в спор о его поэтической значительности не вступает. Он выводит на сцену высокого поэта, и поэт, естественно, тотчас же начинает обличать толпу. Создается ситуация, которую мы уже знаем по классической литературе и традиционной социологии. Выглядит она так:

Поэт на лире вдохновенной
Рукой рассеянной бряцал...
...а хладный и надменный
Кругом народ непосвященный
Ему бессмысленно внимал.
И толковала чернь тупая...
О чем бренчит?..

Столетие, прошедшее между этими стихами и их прозаическим переложением, научило писателей более трезвому отношению к поэтическому порыву. В отдельных случаях происходит решительная переоценка поступков и высказываний поэта. В связи с этим обстоятельством Юрий Олеша заставляет своего поэта произносить слабые звуки и молитвы в пьяной. Он хочет выказать этим свое максимальное презрение к поэту. Выказывая презрение не в абстрактной, а в осязательной форме, он вынужден создать ситуацию. Эта ситуация все равно такова: поэт и толпа. Юрий Олеша ходит по кругу: он не понимает, что если есть поэт, то есть и ситуация — поэт и толпа.

Весь роман сотрясает хохот над поэтом. «...целый гад шуток посыпался мне вслед... Мужичка вдовичку гоготал басом». Бабицев «разразился хохотом», «Рабочие смеялись вокруг...» «...Валя хохотала над ним...» «...вот эти... они смеялись...» «Все смеялись вокруг».

Затавленный поэт огрызается с ненавистью, с яростью:

«—Знаешь ли ты, как ты смеялся? Ты издавал те звуки, которые издает пустой клистир...»

¹ Юрий Олеша. Ни дня без строчки. Из записных книжек. «Советская Россия», 1965, стр. 17.

Поэт знает, почему они смеются над ним: «Непонятное — либо смешно, либо страшно». «Никто не понимает меня,—говорит поэт.— Непонятное кажется смешным или страшным».

За полтора десятилетия до Кавалерова другой поэт — Александр Блок — с отвращением и торжеством говорил обществу:

О, как смеялись вы над нами,
Как ненавидели вы нас
За то, что тихими стихами
Мы громко обличали вас!

Художник вырастает из-под земли, пробивается сквозь камень и говорит обществу, что он о нем думает. Поэт вырывается, кричит, он падает, приподнимается, погибает.

Через тридцать лет Олеша скажет о другом поэте:

«...надо мной смеялись... повторяю, надо мной смеялись!»¹.

Это он говорит о себе в годы, когда выяснения взаимоотношений интеллигенции и революции завершились замечательной победой. Победа была одержана к началу 30-х годов, а закреплена в конце того же десятилетия.

Выяснения были возможны, когда имелся выбор: работать этой интеллигенции с Советской властью, быть лояльной, уйти в эмиграцию, бороться. К началу 30-х годов лояльность, эмиграция и борьба были исключены, и, таким образом, был исключен выбор. Это создавало новую ситуацию: старая интеллигенция, не пожелавшая работать с Советской властью, вступала уже в недискуссионные отношения с государством, значение которого в жизни людей все решительнее усиливалось. Произошло замещение утратившей былую роль проблемы интеллигенции и революции новой. Новой была такая: взаимоотношения личности и государства. С конца 30-х годов внимание к вопросам взаимоотношений личности и государства становилась все более сосредоточенным.

Быстрыми и уверенными шагами входил хозяин романа Андрей Петрович Бабицев.

«На груди у него... был шрам... Бабицев был на каторге».

Его «...должны были положить затылком на наковальню и должны были молотом ударить по лицу», «Он убежал, в него стреляли».

«Замечательный человек, Андрей Бабицев, член общества политкаторжан...»

«Большой человек! Удивительный человек! Совершенная личность...»

«...прославленный человек! Замечательный деятель...»

«...замечательный человек...»

«...член правительства».

Замечательный деятель подбавил вброшенного из пивной поэта и привез его в свой дом.

В то время, когда Кавалеров валяется на диване, Бабицев работает. «Перед ним листы бумаги, записные книжки, маленькие листочки с колонками цифр...» Андрей Бабицев — был гигант. — Говорит автор. — Он работал день, работал половину ночи.

Быстрыми и уверенными шагами ходит хозяин Андрей Петрович Бабичев.

«Он обжора».

«У него нет воображения».

«...барин...»

«...тупой сановник».

«...тупица».

«...сановник, невежественный и тупой, как все сановники, которые были до... и будут после... И, как все сановники... самодур».

«Самоупоеение...»

«...самоловошество...»

«высокопоставленный чиновник...»

«...заурядная личность...»

«...обыкновенный обыватель...»

«...обыкновеннейший барин, эгоист, сластолюбец, тупица, уверенный в том, что все сойдет ему благополучно».

«...тупица...»

Медленно и неотвратно проступают сквозь розовые упитанные щеки череп и берцовые кости.

«...тупица, смеявшийся над ветвью, полной цветов и листьев...»

Он («образцовая мужская особь») стал директором треста, «одним из замечательных людей государства», заведующим «всем, что касается жранья», зажрался.

Андрей Бабичев — предупреждение об опасности.

Об опасности перерождения.

Оказывается, что тов. Бабичев А. П. ничем не замечательный человек.

Оказывается, что тов. Бабичев А. П. «заурядная личность, вознесенная на завидную высоту благодаря единственно внешним условиям».

Его величие и успех связаны не с нынешней деятельностью, а с его прошлым.

Кавалеров, сравнивая свою участь с бабичевской, говорит: «Судьба моя сложилась так, что ни каторги, ни революционного стажа нет за мной. Мне не поручат столь ответственного дела...» Автор осложняет роман и судьбу своего заведующего жраньем. Он полагает, что Бабичев столь вознесен за свои прошлые заслуги, за заслуги перед революцией. Он был героем, когда можно было быть героем, и он был им, а теперь...

А теперь он защищает свои завоевания.

Все было значительным, когда совершалась революция — люди, идеи, поступки. А потом выпущенный из клетки вождь восстановления оружейник Просперо был посажен в контору и стал: «...обыкновенный барин, эгоист, сластолюбец, тупица...»

И тогда оказывается, что герой романа о революции — крупная личность, умный, талантливый и значительный человек, а герой романа о послереволюционном времени — «просто сановник, невежественный и тупой, как все сановники, которые были до... и будут после...»

«Боготупый человек», «замечательный человек», «заурядная личность», «тупой сановник». С одной стороны, с другой стороны...

С одной стороны его революционные

заслуги, с другой стороны перерождение. Так вот и вертится тов. Бабичев А. П. С одной стороны, с другой стороны... «Спина... Нежно желтело мясо его тела... По наследству передались комиссару тонкость кожи, благородный цвет и чистая пигментация... на пояснице его я увидел родинку, особенную, наследственную дворянскую родинку, — ту самую, полную крови, просвечивающую, нежную штучку, отстающую от тела на стебельке...» «Но он повернулся грудью. На груди у него, под правой ключицей, был шрам... Бабичев был на каторге. Он убегал, в него стреляли». Так вот и вертится тов. Бабичев А. П., только успевает поворачиваться. И так постепенно его прошлое все настойчивее и все решительнее начинает вытеснять толстая, сытая, жирная, раскормленная, самодовольная спина. Товарищ Бабичев продолжает свой победоносный триумфальный путь в будущее — спиной.

И все, что делает Андрей Бабичев обречено на удачу и осмеяние, и все дело его обречено на удачу и осмеяние. Он действительно создал необыкновенную колбасу, но колбаса осмеяна фразой «она не провансируется в один день», он построил грандиозную столовую, где можно получить обед за четвергак, но бабичевский «четвертак» скомпрометирован: писатель все подстраивает таким образом, что «четвертак» получает и проститутка.

И вот тогда выясняется нечто совершенно сокрушительное.

Выясняется, что Андрей Бабичев, политкаторжанин, участник революции и гражданской войны, ответственный работник, о котором «один нарком в речи отзывался... с высокой похвалой:

— Андрей Бабичев — один из замечательных людей государства» — толстяк.

Эта тема начинается на первой странице романа.

«В нем весу шесть пудов» — сказано на первой странице.

На третьей странице сказано, что «он похож на большого мальчика-толстяка».

На шестой — «...толстое лицо...»

И дальше — бегом по всему роману.

«...узко его крупному телу».

«...тучный...»

«Толстый! Вот так толстый!»

«...он был толст».

Андрей Петрович Бабичев тоже толстяк, такой же, как его предшественники.

Такой же, невежественный и тупой, как все толстяки, которые были до и будут после.

Андрей Петрович Бабичев — «один из замечательных людей государства» — главный толстяк творчества Юрия Олеши.

Первый роман Юрия Олеши, повествующий о революции, называется «Три толстяка», а второй его роман, повествующий о последствиях победы революции, почему-то называется «Зависть», а не «Четвертый толстяк».

(Продолжение следует).

Африкан БАЛЬБУРОВ

НА УТРИОМ-РЕКЕ

Рассказ-быль

Луговина тянется неширокой полосой вдоль побережья Витима. Слева тайга, справа река. Кочки и снег. Местами тайга спускается со склонов гор и подходит почти вплоть к реке. Деревья стоят закуржавевшие, окутанные туманом. Кажется, что и лесу невыносимо холодно — туманом и куржаком он спасается от лютой стужи. Лошади тоже заиндевелые. Их редкое пофыркивание только и нарушает вековечную тишину замороженных и пустынных мест. Лошади разгребают копытами снег, обнажая из-под него вегошь. Животные двигаются медленно. Из тумана они выплывают подобно видениям.

Ожидая приближения табуна, на обрывистом берегу стоял человек. Несмотря на мороз, шапка-ушанка не была развязана, а ворот полушубка не был поднят. Сухощавое, не по-бурятски носатое лицо, обветренное и побуревшее, казалось высеченным из камня. Светлые глаза вприщур всматривались в приближавшийся табун.

Взметывая копытами сыпучий снег, к человеку подлетел всадник.

— Сайн байна, Цырендоржи-ахай, — обратился всадник. — Давно приехали?

Внимательно оглядев заиндевелого всадника и его лошадь, Цырендоржи-ахай вместо ответа бросил коротко:

— Собери людей.

Всадник усккал. Цырендоржи-ахай подошел к берегу и сделал знак. Из автомашины, стоявшей на льду, вышел шофер и вопросительно поднял голову.

— Разложи костер, — обронил Цырендоржи-ахай.

Шофер, молодецкий паренек, спустил воду и, взяв из багажника ведро, стремительно вскарабкался на берег. Через минуту Цырендоржи-ахай грел над костром руки. Шофер приспособливал к огню ведро, наполненное снегом, стараясь, чтобы оно все охватывалось пламенем.

Цырендоржи-ахай следил за ловкими движениями шофера. Он сидел с непроницаемым лицом. Лишь взглядевшись попристальней, можно было заметить, что в его светло-серых глазах неотступно и дьявольски цепко сидела жуткая боль. Это от неуремками весь сжимался Цырендоржи-ахай и у него от лица отливала кровь. Но шофер, приладивший старику для сидения плоское полено, ничего не заметил. У парня было такое веселое и оживленное лицо, будто во всем, что он делал, таилась для него бездна интересного и радостного — даже досыпать снег в ведро, даже просто поправить костер, пододвинув обгорелые полешки.

«Это молодость в нем поет, — подумалось Цырендоржи-ахаю. — А мои годы... Так высоко по ним забрался! Пришло время скатиться с них».

Пламя в костре, потрескивая и запуская ввысь клубы белесого дыма, жадно за-

лотило поленья. Цырендоржи-ахай всегда любил наблюдать, как сгорают поленья в костре. Поленья не хотят гореть, шипят, издают треск, швыряют вверх искры, а огонь, живой, яростный и неумолимый, вгрызается в тело обреченных на сгорание поленьев несмотря ни на что. В молодые годы ему хорошо мечталось, когда он смотрел на эту вечную и непримиримую борьбу огня и дерева: никогда не бывать такому, чтобы мертвые поленья устояли против набирающего силы багрового пламени! Потом у костра были уже не мечты, а думы. Большие, тяжелые. А потом стали приходить воспоминания. Одни воспоминания.

Было же время, когда его никто не называл почтительно «ахаем». Он был сыном Сультима — Сультимэй Цырендоржи. По бурятскому обычаю всегда было так: до того, как человек не сядет в седло сам, а ноги не дорастут до стремян, сначала называется имя отца, а уж потом сына или дочери имя. И это ведь очень правильно: человек должен заработать право на имя. Заработал ли он право на имя?

Да, имя пришло к нему рано. Шестнадцати лет избрали его председателем Витимского сельсовета. Нынче немногие и поверят в такое. Советская власть тогда была сама молодая, и молодыми были ее работники. И вышло так: всю власть над глухим таежным краем севера Бурятии вручили несовершеннолетнему! Никто не задавался вопросом, почему так получилось: за юношей Сультимовым стоял комсомол, а за комсомольцами стояли люди Ленина, коммунисты. Шестнадцатилетний председатель сельсовета! А времена были какие: из улуса в улус ходят ламы — служители желтого бога, а за ними змеями выются слухи; кулаки провожают недобрыми взглядами; в тайге нет-нет да грохнет залп — остатки банд бродят по тропам — и горе тому, кто попадет к ним, особенно тем, кого знают как активистов. И ничего. Выдержала новая власть на Витиме, на Угрюм-реке. Где они теперь, те бандиты, то кулачье, те ламы? Развеял северный ветер саму память о них, тайга утопила в черных болотах их кости.

Порыв ветра неожиданно стегнул по костру. Кажется, ветер решил сорвать красноватые на морозе языки пламени да отбросить их, чтобы загасились они, чтобы снегом засыпало то тепло, что исходит от них на страшном северном морозе. Но нет, только заревел от злости огонь, засверкали и стали белыми угли на поленьях и еще пуще стал жар от костра. И ветер, виноватый, запрятался в ближних кустах.

Сультимову довелось года три назад смотреть картину. Она носила такое название, что не пойти на нее Цырендоржи-ахаю было никак нельзя. Картина называлась «Коммунист». Навсегда врезалось в память: герой фильма — Коммунист валит лес для застывшего паровоза. Один. А люди — поездная бригада — смотрят на него как на сумасшедшего. И у него, Цырендоржи Сультимова, было такое.

Его избрали секретарем партийной организации в улусе Ульдурга. Он расположен в сухой степи в южной части Еравнинского района. Почти через каждые два-три года эта степь выгорала от засухи и, опаленная, наводила тоску и ужас на местных жителей: чем прокормить скот долгой зимой?

Новый партийный секретарь, молчаливый, неулыбчивый, сразу же удивил ульдургинцев. Днями он не слезал с седла, мотался по выгоревшей степи. Чего он искал на ней? Его светло-серые глаза с каждым днем все упорнее останавливались на синеющей вдали грозной горе Чесан. Окутанная синей дымкой, она виднелась вдали, пряча вершины в белых облаках. Чем-то притягивала гора эти облака — оттого и родилось в народе столько легенд о ней. И не только легенд. Она была вроде как священной у местных бурят. Ее боялись. Вернее, не ее, а Вечного Старца, которого в незапамятные времена поселила на Чесан-горе народная фантазия.

Однажды Сультимов собрал коммунистов и комсомольцев.

— Степь можно оросить, — сказал он, внимательно оглядывая одного за другим своих новых друзей единомышленников. — Засуху можно и надо побороть. Для этого мы повернем воды, стекающие со склонов Чесан-горы. Эти воды без всякой пользы уходят в реки. Они заболачивают подножие.

Никто не пожелал высказаться. Сидели и молчали. Сультимов не был удивлен, он ожидал этого. Его глаза сощурились, зубы сжались. Он закрыл собрание. Сразу же после этого, взяв недельный запас продуктов, лопату, кирку и лом, поехал в сторону Чесан-горы, поехал нарочно в такой час, когда весь улус встречал на закате возвращавшийся с пастбищ скот.

Прошло несколько дней, и улусные старики после долгих споров решили пойти

и посмотреть, что осталось со святотцем, а заодно помолиться. Старцу: пусть он простит их улус — ведь тот, кто осмелился нарушить древний запрет, человек пришлый, улус за него не в ответе.

Партийный секретарь, голый по пояс, трудился у самого подножия Чесан-горы. Он пробивал выход полужадушенному камнями ключу. Старики, трясаясь от страха, смотрели на человека, который по седым поверьям уже должен был давно превратиться в каменный столб, в засохшее дерево или рассыпаться в прах. А человек этот, обливаясь потом, как ни в чем не бывало, мерно размахивал киркой. Потное тело блестело на солнце, и он походил на богатыря, сверкающего доспехами и отбивающегося от неведомых глазам простых смертных невидимых, мощных врагов.

Весь улус заговорил о Сультимове. На пятые сутки к Чесан-горе выехали коммунисты и комсомольцы, а когда прошло еще полмесяца, туда пошли все, кто мог держать в руках лопату.

«И вода ведь пошла, — улыбнулся дорогим воспоминаниям Цырендоржи-ахай, направляя поленья в костер. — Богатые урожаи сена берут там. А канаву прозвали: «канавка Сультимуна». Словно бы расписался я на той степи. Сотрет ли время? Не скоро!»

Сорок лет жизни отдал Цырендоржи Сультимов родному краю. На его глазах, с его участием расцветала степь в Еравне, обширном северном районе Бурятии. Да, четыре десятка лет прошло с того, как его, еще зеленого юнца, поставили во главе местной власти в Исинге, центре Угрюм-реки в ее верховьях. Из них тридцать восемь лет Цырендоржи Сультимов член партии. Большая прожитая жизнь. Не по числу годов. В Абхазии люди живут полтора-два и больше лет. Сорок лет труда, сорок лет волнений, борьбы. А сколько пережито горя за это время? Приходили черные дни, когда каменелось сердце и невольно опускались руки. Но были и радости. Большие. Их не так много. Даже хватит пальцев рук, чтобы сосчитать. Но они были. И до сих пор они согревают слабеющее сердце. Сколько у него было больших замыслов? Так уж человек устроен: никому не дано исполнить все задуманное, и человек становится к концу жизни вроде как хранителем поблекших мечтаний, несвершенных замыслов. А жизни остается совсем немного...

Все последние годы Цырендоржи-ахай посвятил спасению табунов. На каждой районной партийной конференции, на каждом собрании актива раздавался торопливый, немного скороговоркой, на высокой ноте голос Сультимова. Он требовал, доказывал, убеждал, что совершается непростительная глупость — исчезают с лица земли, безжалостно и бездумно истребляются табуны. В хозяйствах остаются всего по несколько десятков коней, а в иных уже их нет совсем. А было время, когда на равнинах Еравны паслись тысячные косяки лошадей! Паслись вольно и не хранимы. Гривастые и длиннохвостые жеребцы, раздувая ноздри и грозно храпя, кидались на волков, хватая их зубами и забивая насмерть копытами. Да, было такое время и оно еще на памяти людей среднего поколения.... А потом? Какой-то умник сказал, что кони изжили свой век, что их негде применять в хозяйстве. И стали бить коней. Хорошо, что руководство республики вовремя спохватилось. Безобразие с лошадьми кончилось. Теперь табуны, слава богу, будут спасены. Цырендоржи-ахай может теперь со спокойной совестью смотреть на этих степных красавцев и у него не будет обливаться, как раньше, сердце кровью. Он не только речи произносил.

Он доказывал свою правоту трудом — возглавил конеферму в совхозе «Исингинский». Сейчас в их совхозе самый большой табун во всем районе. И лучшие табунщики.

Да, чуть было не оказалось загубленным коневодство в Бурятии. Удивительное дело, неужели начальство не знало того, что знал он, Цырендоржи Сультимов, никто не ученый, не получивший в свое время даже среднего образования? Давно известно ведь, что лучшие сорта твердокопченных колбас делаются на основе конины. Знаменитая «краковская» колбаса, например. В странах Средиземноморья такие колбасы делаются на ослатине. Японцы нынче дают хорошую цену за коней. Во многие страны идет экспорт лошадей. А конный спорт? А мелкие нужды в хозяйстве? А чем заменить коня в тайге, в горах?

С лошадьми дело пошло на лад. Приезжал первый секретарь обкома партии. Здорово он поддерживал табунное коневодство. Настоял, чтобы материальное поощрение поставили как следует. У табунщиков труд — другого такого не найдешь.

Теперь дело пошло хорошо. Много глупостей было наделано. Очень много! Должно быть тот же умник сказал, что в хозяйствах не нужны козы, что нету от них ни мяса, ни шерсти. И перебили ведь начисто этих шустрых и очень полезных животных. Как будто народы всего света были дураками: приручили в незапамятные времена козу — самое пугливое и самое ловкое из диких животных. Нет, не торопись осудить то, что сделано было когда-то человечеством. Постарайся понять сперва, что к чему тут. Ша-ли оренбургские из козьего пуха делали да за границей продавали. Во время сенокоса, когда весь остальной скот жирует, крестьянин резал козу — благо она многоплодная и набирает жир куда быстрее других. Вот и кормили сенокосные бригады в колхозах козлятиной, сберегали барашков да бычков, не резали свиней. А дохи из чего шили? Чабану нет ничего дороже козьей дохи, мягкой, теплой и легкой. А с чем сравнить кожу, выделанную из козлины? Она всегда шла на лучшие сорта обуви, на тончайшие перчатки. Перебили начисто козу. Какой-то идиот даже классовым врагом ее назвал. Рассказывали, будто собирали коз по деревьям в автомашины, даже хозяев не спрашивали. А тех, кому посчастливилось удрать, — из мелкашек били. Разбой!.. Удастся ли восстановить в скором времени козьи фермы?..

Подъехали табунщики. Они коротко здоровались, подсаживаясь к костру. Цырендоржи-ахай, отвечая на приветствия, вглядывался в лица своих помощников, как будто замечал в каждом что-то для себя невиданно новое, очень важное да старался это новое хорошенько запомнить. Его взгляд надолго остановился на старшем табунщике Малане Эрдынеевиче Базарсадуеве.

«Ты-то меня переживешь наминого, старый друг, — беззвучно прошептали губы Цырендоржи-ахая. — И тебе придется продолжать наше дело уже одному, без меня. Ты всю войну прошел, вот уж двадцать лет трудишься, не ожидая иной награды, кроме разрешения на короткий отпуск по первому снежку, когда позовет тебя, охотника, тайга на промысел».

Малан Базарсадуев командовал санинструкторами. Сколько он со своими ребятами вынес с поля боя раненых! Его знали и любили во всей дивизии. Было же такое: командир дивизии полковник Рубченко в 1944 году дал задание командиру батальона — беречь Базарсадуева.

«У тебя поступь легкая и бесшумная, как у рыси, — думалось Цырендоржи-ахаю. — Ты веселый и добрый человек, но ты расчетлив и хладнокровен. Глаз твой ничего не упустит, все замечает, даже то, чего не видят другие. Потому ты и выжил на войне. Недаром у тебя два ордена Красной Звезды и три медали «За отвагу». Тебе я верю во всем. Веди наше дело один. Береги табуны. Не дай, чтобы их растранижили. От каждой кобылицы — чтобы по жеребеночку. Иши пастбища. Не стало уже прежних жеребцов. Но они появятся. Отбирай производителей из местной породы. Племенные не годятся...»

Обо всем этом Цырендоржи-ахаю только думалось. Вряд ли он стал бы обо всем этом говорить Малачу Базарсадуеву. На берегах Угрюм-реки люди понимают друг друга без слов.

Взгляд Цырендоржи-ахая переходил с одного лица на другое. Вот Цыдыпов Ешидоржи, вот Андрей Кириллович Екимовский, вот Галсан Морохонов, а вот и родной сын — восемнадцатилетний Цырен. Добрый из него вышел табунщик. Малан Эрдынеевич хвалит его. Очень хорошо, когда на твоём любимом деле надежные друзья. Но еще лучше, когда с ними и родной сын.

Закипел чай. Ветер совсем стих. Тайга перестала шуметь.

Люди сидели у присмирившего костра и, обжигаясь, тянули чай. Все ждали чего-то. Это ожидание тревожило всех, а в особенности Малана Базарсадуева. Уж он-то чуял: то, с чем приехал старый друг, ляжет тяжелым камнем на сердце. Недобрым веяло от этого приезда Цырендоржи-ахая.

— Малан Эрдынеевич, — заговорил Цырендоржи-ахай, — ты будешь заведовать фермой. На местах зимних пастбищ ставь базы. Хватит геройствовать и спать под открытым небом на морозе. Насчет жеребцов будьте внимательны все...

Цырендоржи-ахай говорил медленно. Слова ронялись, тяжелые, редкие.

Малан Базарсадуев слушал, не поднимая глаз от костра. Он зябко поежился и осторожно поправил поленья, хотя в этом никакой нужды не было.

— Я приехал проститься с вами,— сказал Цырендоржи-ахай. — Поработали мы с вами. Теперь ухожу. Насовсем.

Он медленно поднялся. Встали все. Шофер испуганно оглядел табунщиков и, взяв ведро с горячей водой, побежал к машине.

— Прощайте,— выдохнул Цырендоржи-ахай.

По очереди пожав руки, он устремил долгий взгляд на табун, на тайгу, на горные склоны и направился вслед за шофером.

Табунщики стояли на берегу Витима до тех пор, пока машина не пропала за поворотом. В глазах табунщиков и даже у Малана Базарсадуева стояли слезы. Должно быть оттого, что по реке дул свирепый хуус.

Цырендоржи-ахая не стало через три дня после того, как он на берегу Угрюм-реки простился со своими табунщиками.

Он лежал перед земляками и друзьями торжественно беловолосый, лежал, как живой, похожий на только что заснувшего человека. И целый день прощались с ним люди. И не верилось, что это происходит в маленьком бурятском улусе Исинга, где и дворов-то не более сотни. Люди шли и шли, непрерывно шли. На эти похороны собирались люди со всей Еравны. Читались телеграммы из Улан-Удэ, из дальних-дальних мест. В газетах напечатали некрологи. Было видно во всему—большой человек ушел из жизни и большое он оставил горе после себя.

Через положенное в народе число дней Малан Базарсадуев поздно вечером повел Цырендоржи Цырена на то самое место, где прощался с табунщиками его отец. Малан-ахай поднял ружье, приладил к плечу и стал очень медленно поднимать ствол в самое небо, усеянное звездами, и выстрелил.

Цырен, сын Цырендоржи, вздрогнул и сжался: так дерзко и хайласто нарушил выстрел ночную тишину. Звук подхватило эхо, и он многократно повторился в хребтах.

— Это я салют отдал ему,— глухо выговорил Малан Эрдынеевич.

— Папа не был военным,— произнес Цырен.

— Неправду сказал ты,— сурово возразил старый солдат. — Коммунисты — это самые военные люди, сынок.

Цырен, сын Цырендоржи, застенчиво прижался к плечу Малан-ахая.

ОТ АВТОРА. Все это произошло в конце прошлой зимы на берегу Витима. Я знал много лет коммуниста Цырендоржи Норбоевича Сультимова. Прошлой осенью я гостил у него. Всю зиму собирался написать о нем очерк. И прособирался...

Мы бываем или менее внимательными, или менее обязательными по отношению к друзьям и близким, черт возьми! А как он, Цырендоржи Сультимов, был бы рад, если бы ему довелось при жизни прочитать свои большие мысли на страницах центральной прессы! Урок всем молодым.

В стране гор и солнца

Я, как и многие, наверно, очень люблю дороги, люблю дальние и ближние поездки. Если иногда случается, что долго не бываю в аймаках, деревнях и улусах моей Бурятии или давненько не скитаюсь по аэропортам и железнодорожным вокзалам нашей большой страны, то чувствую, что чего-то важного мне не хватает. Не устаю смотреть из окон автомашины, самолета, поезда на телеграфные столбы и полустанки, на проплывающие внизу бескрайние просторы с городами и селами, лесами и степями, реками и морями. Видимо, невозможно не любоваться родной землей и не наслаждаться движением.

Но, конечно, главное в дороге — не из окна наблюдение. Самое главное — это встречи с людьми, новые знакомства, познание новых краев, жизни братских народов. Чем больше едешь, тем больше друзей обретаешь. Чем больше видишь глазами, тем больше впечатлений в душе, мыслей в голове. Это одно.

Второе, очень важное и примечательное, — это то, что ты в меру своих возможностей представляешь родной народ, свою республику, рассказываешь о ее достижениях и этим, безусловно, обретаешь новых друзей и своему народу.

В другом краю острее ощущаешь сыновнюю ответственность перед народом, тебя породившим. Благодаря ему ноги твои коснулись звонких стремян. И крылья он дал тебе такие, которые не подведут. И в путь пускаешься не праздным путешественником, а выполняешь его задания, его волю. Потому не будет громкой фразой или повышением роли, если сказать, что выданное тебе обыкновенное командировочное удостоверение с подписью и печатью — это в конечном счете есть мандат Полномочного представителя своего народа, своей республики.

А мандат — это большое доверие тому, кому он выдан. Это доверие коллектива, где ты работаешь, доверие партийной организации, где состоишь на учете. Это доверие друзей, с которыми давно делишь и горести, и радости свои, доверие земляков из далекого улуса, которые внимательно следят за тобой, улетевшим из родного гнезда с их юрломом — благопожеланием и напутствием, доверие твоей семье, у которой шаряду с нелегкими буднями появились частые хлопоты то собирать тебя в путь-дорогу, то встречать тебя, несколько уставшего и совсем обезденежевшего. А доверие должно быть оправдано тобой, где бы ты ни был, — вот мысль, которая не может не волновать в дороге.

Когда-то была поговорка примерно такого содержания: бурят не выезжает дальше той земли, где пасутся его телята. Сейчас, в наше советское время, пастбище так расширилось и разнообразилось, что прадеду, оживи его сейчас, трудно было бы и вообразить.

На самом деле, где теперь не бывают сыны и дочери Бурятии! Солист нашего ордена Ленина театра оперы и балета народный артист Советского Союза Лхасаран Линховоин как посланец советской культуры совершает поездку по странам Юго-Восточной Азии. Наша прекрасная балерина — народная артистка СССР Лариса Сахьянова и народный артист РСФСР Петр Абашев недавно представляли советское искусство в Монреале. А перед этим маршрут Линховойна, Сахьяновой и Абашеева проходил по многим странам Европы, Африки, Ближнего Востока, по героическому Вьетнаму и экзотической Японии. Нет ни одной республики и крупного города в стране, где бы не выступал коллектив ансамбля песни и танца «Байкал».

Мы, бурятские писатели, читали свои произведения в крупнейших домах культуры и рабочих клубах столицы Родины — Москвы, колыбели Октябрьской революции Ленинграда, перед трудящимися Украины, Белоруссии, Прибалтики, Средней Азии и в некоторых братских социалистических странах. Композиторы республики демонстрировали успехи музыкальной культуры своего народа в Иркутске и Якутии, в автономных республиках Поволжья и во Львове, в городах Закавказья и только что с большим успехом провели вечера бурятской музыки в Москве.

Директор института общественных наук Бурятского филиала Сибирского отделения Академии наук философ Даши Лубсанов в этом году делал социологический доклад на международном симпозиуме в Швеции. Ученые Бурятии участвовали на международных конгрессах по востоковедению, этнографии, археологии и антропологии, правоведению, геологии, почвоведению, радиоэкологии.

Примеры эти я беру только из одной области жизни — культуры. Бесчисленное множество фактов можно найти во всех сферах нашей действительности. Сколько тружеников бурно растущей промышленности и сельского хозяйства Бурятии побывало на Выставке достижений народного хозяйства в Москве. На международной выставке по птицеводству в Киеве многих удивили замечательные успехи ранее неизвестных птицеводов с берегов Байкала.

Я уже не говорю о сотнях юношей и девушек из Бурятии, обучающихся в высших учебных заведениях крупнейших городов страны. О тех, кто защищает кандидатские и докторские диссертации в известных всему миру научных храмах, о воинах, наших земляках, несущих беспокойную службу в дальних боевых гарнизонах. Не говорю о тысячах туристов, которые ежегодно посещают многие страны мира, о десятках тысяч наших рабочих, колхозников и служащих, отдыхающих и лечящихся во всех краях Союза. Надо думать, что все они, где бы ни были, что бы ни делали, с кем бы ни соприкасались, достойно представляют свою Буратию, родное Прибайкалье, каждый чем-то своим, в пределах возможностей, умножает доброе имя народа, воспринимает все хорошее у других.

Это большое вступление к основной теме рассказа я делаю сознательно. И вот почему. Только что мы торжественно и радостно отметили праздник всех праздников — полувековой юбилей Великого Октября. Душа просится сказать самое заветное — сайидаа — спасибо партии коммунистов, Советской власти за то, что они открыли бурятскому народу неограниченные просторы во всех отношениях жизни и бытия. И в смысле расстояния. Дали сокращаются не только и не столько потому, что в наш век появились скоростные транспортные средства. Народы все больше сближаются по духу, по духу интернационализма, завещанного человечеству Лениным, по чувству дружбы и братства, торжествующих в стране Октября. Поэтому и наша Бурятия через своих многочисленных представителей постоянно общается с другими народами, активно включаясь этим в плодотворный процесс взаимообогащения и взаимовлияния.

Тема моего разговора — это поездка в Дагестан. Я, конечно, не ставлю цель рассказывать о Дагестане вообще. Это — большая страна с многовековой историей и многогранной действительностью. Я хочу говорить о своих непосредственных впечатлениях, причем связанных в основном с темой дружбы и общности, взаимоотношения и взаимообогатения.

Поехал я туда в составе делегации Союза писателей РСФСР на празднование 50-летия со дня рождения народного поэта Дагестана Гамзата Цадасы. Делегацию возглавляла секретарь правления Союза писателей Федерации, прекрасная русская поэтесса Людмила Татьяничева. В делегацию входила Наталья Капиева, видный литературовед, тонкий знаток и большой пропагандист литератур Кавказа. Гостями Дагес-

тана были представители писательских организаций Кавказа, известные поэты и прозаики Реваз Маргиани (Грузия), Нариман Гасан-заде (Азербайджан), Максим Цагараев (Северная Осетия), Хачим Теунов (Кабардино-Балкария), Магомед Сулаев (Чечено-Ингушетия) и Андрей Джимбиев (Калмыкия).

Все они очень заслуженные и интересные люди. Общение с ними лично для меня было большим удовольствием, я узнал много нового и полезного об их народах и литературах. Само празднование юбилея Гамзата Цадасы превратилось в удивительный праздник дружбы народов. Не то удивительно, что приехали туда отовсюду, даже из далекой Бурятии. Удивительно и прекрасно другое—живем в такое время, когда радость одного народа становится радостью других, гордость одного—гордостью всех. Гамзата Цадасу, как и нашего Хоца Намсараева, хорошо знают во всех краях нашей страны.

Дагестан, как известно, самый многоплеменный край Советского Союза. Товарищи из республики говорили, что не будет преувеличением сказать: что ни долина, то другой народ, другой язык или другое наречие. Народность кубачинцы, например, целиком помещается в одном ауле, а на гинухском языке говорят всего лишь двести человек. Но больше всего там аварцев, даргинцев, лезгинов, лакцев, табасаранцев, кумыков, русских.

В Дагестане нам рассказывали, что идет один интересный процесс. По переписи населения 1926 года там насчитывалась 81 народность, а сейчас—33. Идет национальная консолидация—сближение и слияние мелких народностей в более крупные. Происходит это естественным ходом, в рамках одной автономии. На вопрос—какой ты национальности?—многие отвечают: дагестанец.

Мы видели, что Советская власть сделала и продолжает делать для развития каждой народности, как бы ни была она малочисленна. На нескольких языках издаются книги, выходят газеты, ведутся радиопередачи. В столице республики—Махачкале, в университете обучается молодежь буквально всех народностей.

Литература Дагестана создается на многих языках. В Союзе писателей республики более 80 членов. Возглавляет организацию народный поэт Дагестана лауреат Ленинской премии Расул Гамзатов, сын Гамзата Цадасы. Ответственным секретарем правления Союза работает широко известный прозаик даргинец Ахмедхан Абу-Бакар. Консультанты—популярный в своей стране поэт, драматург и прозаик кумык Аткай Аджаматов, автор замечательных прозаических произведений тат Хисгил Авшалумов, лауреат премии имени Сулеймана Стальского и талантливый аварский поэт Омар-Гаджи Шахтаманов.

Литература страны гор большим и светлым потоком вливается в океан общесоюзной и мировой культуры. По-прежнему мудро, молодо и боевито творчество старейшего народного поэта Дагестана лака Абуталиба Гафурова. Звонкое эхо в горах рождает мускулистые и нежные строки аварки Машидат Гаирбековой. В конце 1967 года в журналах «Дружба народов» и «Молодая гвардия» напечатаны роман и поэма другой аварки—Фазу Алиевой. Я помню ее молоденькой студенткой литературного института имени Горького. Сейчас она, как и другие молодые литераторы Дагестана, вся находится в большой работе и смелом движении вперед. Крепнет год от года талант даргинского поэта и детского писателя Рашида Рашидова, моего однокашника по Высшим литературным курсам. Плодотворно и с высокой требовательностью к себе работает лак Юсуп Хаппалаев—автор удивительно лиричных стихов. Больших творческих успехов добиваются лезгин Шах-Эмир Мурадов, табасаранец Манаф Шамхалов и многие другие труженики многонациональной и многоцветной литературы Дагестана.

Меня очень тронуло, что писатели, вся общественность, народ Дагестана глубоко чтят память основоположников литературы своей республики. При входе в Союз писателей, кстати будет сказано, большое двухэтажное здание, под большой свечей, день и ночь горящей, висят шесть мемориальных досок, где по белому мрамору золотыми буквами выведены имена шести классиков литературы Дагестана. Среди них имя замечательного лезгина, народного поэта Дагестана Сулеймана Стальского, которого Максим Горький назвал Гомером XX века. Слова Горького: «Берегите людей, способных создавать такие жемчужины поэзии, какие создает Сулейман» в Дагестане хорошо воплощаются в жизнь.

Одним из ярких выражений того, как народ бережно хранит в сердце память о

своих певцах, и явились торжества по случаю 90-летия Гамзата Цадасы, к большому сожалению, не дожившего до наших дней. В Махачкале два дня шла научная сессия, посвященная его творчеству. В самом большом зале города — театре имени Горького — состоялось торжественное заседание представителей трудящихся республики, где присутствовали и первый секретарь обкома КПСС Абдурахман Даниялович Даниялов, и рядовая горянка из Хунхаза. Где отличным был доклад о Цадасе, сделанный поэтом и литературоведом Камилем Султановым, а речи гостей — сердечными и вдохновенными.

А когда председательствующий объявил, что сейчас выступит посланец писательской организации далекой Бурятии, раздались горячие аплодисменты. Они адресованы народу, к которому я принадлежу. Буряты, как говорили там друзья, не частые гости в Дагестане. Поэтому интерес к приехавшему с берегов Байкала был немалый. Это чувствовалось, когда я во многих местах вынужден был произносить речи, провозглашать тосты, которых, надо сказать, было предостаточно. Однажды, когда мы с моим давним другом Аткаем шли по улице, нам встретилась группа школьников. Вдруг мы слышим слово «Бурятия», и ребята, окружив нас, стали просить автограф. Оказывается, они по телевизору слушали мое выступление и узнали. Затем кто-то из них спросил: «Есть ли у вас горы?» Второй добавил: «А море?» Когда я назвал Саяны и Байкал, ребята понимающе и дружно кивнули. Были вопросы, есть ли у нас театр, холодно ли зимой, ездят ли ребята на конях и т. д. В общем, пришлось дать непредвиденное программой получасовое уличное интервью. А в высокогорном ауле Хаджал-мали на встрече, устроенной у мощного живописного водопада, хозяева попросили меня прочитать стихотворение на родном языке, что я и сделал с удовольствием. Видимо, горцы хотели услышать звучание бурятского языка.

В центре Махачкалы, у начала большого людного сквера, на высоком постаменте, утопая в венках, сидит прославленный Гамзат Цадаса. Но я видел и другой памятник ему же. Он поставлен в горах Аварии, на высоте около двух тысяч километров, у въезда в аул Цада, где родился и долгие годы жил Гамзат. Мне кажется, на свете нет второго такого памятника. Из водопровода, неумолчно журча, бьет в каменный бассейн хрустально-чистая струя. На стене бассейна — высеченный из песчаника скульптурный портрет Цадасы. Это работа местного ваятеля-самоучки.

Нам поведали, что памятник соорудили цадинцы после кончины поэта. Водопровод в Цада был проведен еще до войны по предложению Цадасы, при его горячем участии. Он сам намечал трассу, потом со всеми вместе работал, а когда стройка была завершена и колхоз устроил по сему случаю пир, прочитал на празднике свои новые стихи:

Горную воду наука в аул принесла.
Радуйтесь, женщины — жены, и сестры, и дочки!
Прочь уберите веревки с кувшинов своих,
Можете выбросить даже запасные бочки.
Видите, что может сделать простая кирка,
Если и воля, и руки народа — едины.
Всем уже ясно теперь: перед силой такой
Скалы развалятся, горные рухнут вершины.

Воздвигая этот трогательный памятник, горцы выразили свою большую любовь и уважение к своему поэту и строителю новой жизни. В горах вода — это жизнь. И, проводя водопровод в аул, чтобы женщины с тяжелыми кувшинами на плечах не карабкались по скалам по несколько километров, и словами высокой поэзии воспевая это, на первый взгляд, будничное событие, Гамзат Цадаса жил жизнью родного народа.

Нет ни одного важного периода в жизни аварского народа, не воспетого Цадасой, — и революция в горах, и приход Советской власти в аулы, и борьба нового быта со старым, и Отечественная война, в которой он потерял двух своих сыновей, и борьба за мир, и многое другое.

Как похожи этим друг на друга Гамзат из Цады и Хоца из Кижинги, хотя они жили в разных концах страны! Вот у меня под рукой поэма Цадасы «Моя жизнь» и большое стихотворение Намсараева «Жизнь моя». У них много общего и в самой биографии. Трудно перечислить все то, что они сделали для духовного возрождения своих народов. Были сельскими агитаторами и газетчиками, сочиняли и ставили од-

ноактные пьесы да еще играли в них, писали статьи, сатирические рассказы и басни, создавали стихи, детские книги и поэмы. В течение многих лет формировали вкус своего читателя, ведя его от притчи, песни и сказки до психологически глубоких, крупноплановых произведений. Они оказали огромное влияние на родной язык, закладывали фундамент литературы, были воспитателями плеяды молодых писателей.

Творчество и Цадасы, крестьянина с гор Кавказа, и Намсараева, скотовода из Забайкалья, обязано революции своим расцветом. Время требовало и рождало в аулах и в улусах таких людей — просветителей, ниспровергателей старины, борцов с пережитками и религиозным дурманом, неутомимых общественных деятелей, многогранных художников.

Они начинали свою большую деятельность молодыми, не зная друг друга. Убежденные седины, облеченные доверием своих народов, они встретились в Кремле, на сессиях Верховного Совета СССР. В родных краях покоится их прах, и жизнь их теперь звучит мудрой летописью народа, становится легендой.

Восхищаясь жизнью Гамзата Цадасы, участвуя в торжествах в его честь и память, я не переставал думать о незабвенном Хоце Намсараеве. Много сделано для увековечения его памяти. Но все ли? Нам надо создать его музей, подобный тому, какой недавно открыли в ауле Цада. Первый секретарь Хунзахского райкома партии Магомед Махулов и председатель местной артели Муслим Кадиев рассказывали, что силами колхоза и общественности сделали просторный пристрой к сакле Гамзата, собрали материалы о нем и фотографии, его личные вещи, обратились за содействием в республиканские органы и с их помощью организовали такой музей. А музей хороший, и много людей его посещают, хотя он и стоит далеко и высоко в горах.

Нам, общественности Бурятии, видимо, надо подумать о сооружении в Улан-Уде памятника Хоце Намсараеву, нашему самому любимому народному писателю.

Хочется привести слова Расула Гамзатова об отце:

И портреты точны, и скульптуры похожи,
Но не в них, неживых, я тебя узнаю.
В старике-чабане, в каждом горце проходим
Вижу взор твой и вижу улыбку твою.
В каждом горце, я знаю, есть нечто такое,
Что всегда мне напомнит отца моего.
Ты, отец, был народом, и он был тобою,
Ты причастен к бессмертью его.

Да, мудрые старейшины-певцы причастны к бессмертью и славе своих народов! Много впечатлений вынес я из Дагестана. Хотелось бы некоторыми из них поделиться.

Слово «Дагестан» означает «Страна гор». Горы и горы. Высокие и обычно безлесные. Скалистые и труднопроходимые. Много ущелий, местами достигающих почти двухкилометровой глубины, по дну их текут бурные реки.

В горах земли мало. Невольно на ум приходит сказка Льва Толстого: горец не может отыскать свою пашню, потому что нечаянно прикрыл ее буркой, сброшенной с плеч.

Жители этой страны в давние времена забрались высоко в горы не для спортивного интереса. Постоянные нашествия завоевателей вынудили их к этому. Каждый аул — это крепость свободолюбивых. Аул лепится к скале, крыша нижней сакли — это двор или пол для верхней. Сакли, можно сказать, висят над пропастью. Улиц почти нет. Для жилья, видимо, нарочно выбраны неудобные места — более удобные распаханы. Сколько нужно было мужества, упорства и трудолюбия, чтобы затеплилась жизнь, загорелись очаги на этих голых камнях. Я видел в аулах так называемые террасы. Люди складывают их из камней, таскают туда землю и выращивают овощи и даже фруктовые деревья.

Да, трудолюбие — общая черта многих народов. Легко ли было моим немеханизированным предкам сохранять скот — основу своего существования в холодной, неуютной степи! Легко ли было первым русским, пришедшим в Забайкалье, осваивать новые земли, чуть не голыми руками выкорчевывать лес под пашню! В преодолении трудностей, в борьбе со стихией, в схватке с врагами выковывались воля сибиряков, стойкость горцев.

Тяжелая жизнь научила наши народы ценить дружбу, доброту, готовность к взаимовыручке. С другом легче и под дождем мокнуть, и в стужу мерзнуть. Имеешь друзей — широк, как степь, не имеешь — узок, как ладонь. Хороший конь быстрее орла, хороший друг крепче скалы. Сам народ, выстрадав, создал эти поговорки.

С незапамятных пор, замурованный в камень,

Мой народ, был ты беден, и дик, и забит.

Но теперь, окруженный своими друзьями,

Защищен ты надежно от бед и обид.

И с другими в ряду ты готов, если нужно.

Кровь пролить за друзей, в единенье влюблен.

Непременный закон человеческой дружбы —

Самый мудрый на этой планете закон.

Так восклицает Расул Гамзатов. И мы, сыновья других народов, говорим: верно!

Радусие, гостеприимство — вторая натура горца, как и у бурят, у сибиряков. Человек, пришедший с дружбой, с открытым сердцем, — самый высокий гость в любом ауле, в любой сакле Дагестана. Все мы, приехавшие из других республик, чувствовали это повсюду.

Мы были гостями трех аулов. В Цаде я ночевал в доме очень милой семьи племянника Расула, человека могучего телосложения. Увидев его, я вспомнил нашего художника Александра Казанского, такого же статного и высокого. По-моему, и в характере их есть что-то общее, прежде всего спокойное достоинство, искренность и доброта. В Махачкале мы угощались из рук чудесной подруги Расула Гамзатова — Патимат, имели удовольствие быть тепло и радушно принятыми правительством республики. В Дагестане говорят, что рядом идут чам-чам и дам-дам. Это значит — рог вина и рог изобилия, песни и пляски.

Мне очень понравились кавказские тосты, остроумные и сердечные. Должен сказать, ни один бокал не выпивается без тоста. И нет того, чтобы заставлять человека обязательно выпить все, что налито.

А веселье! Я видел буйный вихрь лезгинки. Засмотрелся на юношу в мягких сапогах без каблуков, в черкеске с газырями наборного серебра на груди, с узким поясом, с кинжалом. Любовался горянкой в длинном платье, окутанной широким платком, украшенной серьгами и браслетами.

И старуха-земля ускоряет вращенье

Под кипучие звуки лезгинки лихой.

И напевы зурны повторяет ушелье.

Даже мертвый воскреснет от пляски такой.

В Дагестане глубоко почитается уважение к старшим. Седоусые старики в мохнатой черной бурке с широкими прямыми плечами, в круглой барашковей шапке — мудрость и гордость аулов. Этот наш общий замечательный обычай — почитание старых людей — должен жить всегда. Глупо и противно, когда юноца хлопает по плечу человека, который годится ему в деды, и говорит: «Ну как, старина, скрипишь?»

Дагестанцы, как и все народы Советского Союза, — истинные интернационалисты. Но они умело сохраняют хорошие, нужные для воспитания молодежи обычаи и традиции, бережно относятся к национальной форме. Я встречал много людей, одетых в национальную одежду. Оформление клубов, магазинов, ресторанов и других общественных мест выдержано в характерном для Дагестана стиле. Хорошо организованы производство и продажа сувениров. В большом специальном магазине «Дагестан», что расположен у центральной площади города, я видел гравировку и чеканку знаменитых кубачинских золотокружечек, изделия унцукульских мастеров инкрустации по дереву, балхарских гончаров, искусно вытканые ковры и другие замечательные работы народных умельцев. В Дагестане широко развиваются давно сложившиеся в отдельных аулах промыслы прикладного искусства. В магазине, кстати, можно купить и национальную одежду — бурку, папаху и т. д. Думается, что все это небезынтересно и для нас.

Конечно, в Дагестане, как и во всех республиках, областях и краях страны, много хорошего и поучительного. И, наверно, как и везде, есть какие-то недостатки. Я их не искал, не они нам нужны. Но дагестанские друзья нам говорили, что у них если и не острый, но все же злободневной проблемой остается так называемый жен-

ский вопрос. В дни нашего пребывания там происходил съезд женщин Дагестана. Выяснилось, что в некоторых аулах не хотят отпускать девушку на учебу, особенно в город. Кое-где женщина чрезмерно перегружена домашней и другой работой. Многие мужчины до сих пор считают великим позором сходить за водой. Но все это преодолевается и будет, безусловно, полностью преодолено.

Но я хочу подчеркнуть исключительное трудолюбие дагестанской женщины, ее мастерство и умение делать все, скромность и достоинство, немногословную мудрость, верность семье. Не могу умолчать и об их обаянии и красоте.

В Дагестане чем выше, тем женщины краше.

О, горянки, живущие там, в облаках,

Как пленительны черные родники ваши

И смешливые ямочки на щеках,

— сказал Расул, и я полностью к нему присоединяюсь.

Велики достижения советского Дагестана. Много людей из высокогорных аулов с помощью государства переселяются на плодородную равнину. Выросло более 50 новых селений. Там не сакли с земляным полом, а добротные дома. Кстати, я очень обрадовался, услышав, что лес они получают из Сибири. Наверно, думаю, и от нашей Бурятии.

Широко развернулось строительство дорог. Они для горного Дагестана — очень важные жизненные артерии. Сейчас даже в далекие высокогорные районы ходят автобусы. Мы видели, как расширяют дорогу, вернее, мы ждали часа два, пока уберут с дороги огромные глыбы взорванных камней. Проезда нет — с одной стороны скала, с другой — ущелье, куда я долго смотреть не решился. В общем, каждый сантиметр дороги берется с боем.

Должен сказать, что там мы единодушно восхищались шоферами. Низами Адильшинов из гаража Совета Министров Дагестана спокойно, невозмутимо, я бы сказал, мастерски вел нашу машину по немыслимой крутизне. Моему другу калмыку, который сидел с краю, все казалось, что задние колеса проходят над пропастью. На участке дороги, кажется, от Гергебеля до Хунзаха, где всего 46 километров, мы насчитали 83 крутых поворота. Трудно иногда понять, куда едем — вперед или назад. И еще — хотя дорога все время петляет по краю ущелья, нет ни одного заградительного столба. И машины, надо сказать, не летают в пропасть. Только в некоторых местах, где были тяжелые аварии, предупреждающе висят флажки.

Дагестан растет. Он добывает нефть из Каспия, нашел золото и другие сокровища в каменной толще гор, строит гидростанции, запроектирована электростанция на подземной горячей воде.

В Дагестане свыше тридцати тысяч различных специалистов — намного больше, чем в Иране, хотя населения раз в двадцать меньше. Работает филиал Академии наук СССР. В ауле Цада имеется столько же книг, сколько было во всех библиотеках дооктябрьского Дагестана.

Дагестан цветет. К названию Дагестан — Страна гор — иногда прибавляют Бакистан — страна садов. В горах Аварии, по пути в Сванетию, раскинулись большие плодовые сады. Они все упорней поднимаются по склонам гор к седым вершинам.

Сулейман Стальский говорил, что при Советской власти в Дагестане слепые получили зрение, глухие — слух, голые — шубы, бедные — коней, мерзнувшие — солнце, старики — молодость. Как метко сказано! Молода и мудра, красива и сильна страна гор и солнца, страна тружеников и певцов — Дагестан!

ЗДРАВСТВУЙ, Байкал!

Уже свыше трех часов самолетик пробирался сквозь рваные тучи, дрожа и раскачиваясь. Внизу беспокойно вскипали чернильного цвета горы, уже кое-где припорошенные снегом, и лежала медленная и огромная вода. Но вот показались долгожданные кубики домов. Нижнеангарск!

Поселок растянулся длинной и ровной строчкой. С одной стороны вплотную к домам подходит глухая темно-зеленая стена гор, с другой — тяжелые байкальские волны.

Самолет еще раз трянуло, уже по-земному твердо — и мы стоим на небольшом местном аэродроме-огородике. Лица у всех осунулись и позеленели, но глаза пристально вглядываются в улицу, в дома, во встречных людей, живущих в этом прекрасном и суровом крае.

Не терпелось скорее к Байкалу, к этому славному и священному морю, к Байкалу, давно и серьезно интересовавшему меня. И вот я опускаю ладони в волны и говорю:

— Здравствуй, Байкал!

И сколько потом я ни буду ходить по улицам Нижнеангарска, по прекрасным и светлым его лесам, и хрупкая осина, и тяжелый кедр, и молочные стволы берез, и сетчатая крона лиственниц, сколько бы ни было у меня интересных и нужных встреч с людьми — я буду вновь и вновь возвращаться на берег Байкала, наяву и в мыслях, и делиться с ним тем, что я узнала, что поняла.

Я буду разговаривать с ним, как с живым, и он своей строгостью и неповторимостью будет мне помогать.

Равнодушно и устало глянули на нас рыбаки. Их лица, обветренные и неяркие, слились в одно, руки тяжело лежали на коленях, подрагивали, еще не остывшие от горячей работы и еще не согревшиеся после ледяной воды...

— Нужны ли мы им со своими стихами? Вон там кто-то уже спит, кто-то держит растрепанную, и, вероятно, занимательную книжку, кто-то ведет неторопливую беседу. Но вот отложена книга и прервана беседа, вот стряхнул сон старый рыбак, а лицо у него приветливо и глаза так по-доброму шуряют.

Незаметно и свободно завязался разговор. Никакого равнодушия, а наоборот, интерес к свежему человеку.

Эти рыбаки бригады Нелюбина Федора Андреевича. Большинство их «нездешних», не северо-байкальских. Вот неброское, мягкое лицо Александра Николаевича Тучина. В далеком 1945 году он приехал сюда с товарищем. Может быть, просто приехал поглядеть на дикий и забайкальский край, может быть, не мог еще расстаться с фронтовым другом, с которым столько вместе пережито и передумано. Но как бы то ни было, а приехал человек с Волги, с ласковой, приветливой Волги, да и прижился здесь.

Удивительное свойство есть у Байкала... Живет человек, по привычке поругивая этот жестокий край, собирается уехать в какие-то свои «теплые страны», да так и прособирается всю жизнь, не найдя в себе сил оторваться от этих лесов, от воды и неба. А иной решится, уедет, бросит все. Год живет, два... и поднимается постепенная

и медленная тоска, приходящая сначала в снах, потом — в бессонницах, не дает покоя, все растет. И срывается человек из «теплых стран» и летит назад.

Мне это чувство件нятно и близко. Я считаю сама и говорю всем, что я впервые на Байкале. Это — и правда, и нет. Родилась я в Забайкалье. Помнить, конечно, я не могу, так как всю свою «сознательную» жизнь прожила уже в Западной Сибири. Может быть, благодаря воспоминаниям и рассказам нашей семьи, кочевой и непокорной семьи топографов, может быть, по какой другой причине, но осталась «память сердца» и «зов родной земли».

Во мне, жившей среди спокойных равнинных лесов и солончаковых Барабинских степей, всегда таилась острая тяга, если не сказать тоска, к тайге, к сопкам, к пьянящему багульнику и даже к самому слову «Забайкалье». И, может быть, кому-нибудь покажется странным, что я выбрала по распределению после института именно Улан-Удэ, а не Новосибирск, не Москву, не Красноярск, куда была прямая возможность поехать.

И вот, я сижу в низком деревянном домике, а кругом люди, еще почти неизвестные, но уже понятные и близкие. Говорили мы недолго, но запомнился мне этот разговор и лица, оказывается, совершенно не похожие одно на другое. Лишь одно объединяло их — взгляд усталых, немного смущенных и внимательных глаз.

Спокойно и мягко плыл голос поэтессы Веры Панченко, приехавшей сюда из Риги, но жившей раньше в Забайкалье. И, наверное, не случайно читала она рыбакам такие стихи:

Четыре ветра на Байкале,
По ветру с каждой стороны.
Свистят береговые скалы
Клинки вершин обнажены.
Байкалу неба чистота,
как человеку ясность мысли...

Она читала, а я смотрела на ее скромный платочек, на брюки, сапоги, на руки, которые вели здесь не праздную жизнь туриста, а руки рыбаки, моряка, поэта, руки, умевшие держать и перо, и весло.

Потом и я стала читать свое. И у меня уже не было сомнений, что стихи здесь нужны, что они будут поняты, как, может быть, нигде. Я думала, каково должно быть чувство поэзии, пусть даже неведомое им самим, чтобы называть Родной, не изменяя ей, далекую, неласковую землю, не просто позволявшую себя любить, а требующую за эту любовь тяжкого труда, терпения и простого человеческого мужества. Землю, раскрывающую свое истинное материнское тепло за великую плату — жизнь.

А эти люди, эти скромные рыбаки, как это ни больно говорить, не только не избалованы судьбой, а скорее, напротив, за что-то обойденные ею, отдают свои жизни не жалея и, может быть, даже не очень задумываясь над этим, потому что больше, чем жизнь, для них эта любовь.

Нам хотелось еще посидеть с ними, еще поговорить, расспросить их, что-то рассказать самим, но уже слышался низкий нетерпеливый гудок «Богатыря», согласившего подождать лишние полчаса. Уже темнело и надо было возвращаться на рыбокомбинат. Да и опасно будет выходить из устья, как объяснил нам помощник капитана Воронин.

Он стоял за штурвалом, снисходительно и даже чуть насмешливо поглядывая вниз, на палубу, где мы восторженно делились впечатлениями от всего увиденного... А по Байкалу разливался закат, глубокий и чистый, и постепенно таял, гас в темно-серых волнах...

Начало следующего дня мы встретили опять на «Богатыре». Байкал был матово-сиреневый. Палуба пахла рыбой, мазутом, а из камбуза чуть тянуло подгоревшей картошкой, таким мирным и земным запахом.

Два матроса, молодые ребята, Леся Ключихин и Миша Катышев, угощали нас омлетом, чаем поили. Не оказалось заварки — «сами сделали» — закрасили пережженным сахаром. И пили мы вкусный, коричневый чай, воистину чай, заваренный гостеприимством.

Легко и весело было с этими ребятами. Они, совсем разные на внешность, один смуглый и черноглазый, другой беленький, были чем-то очень похожи. Может быть,

выражением лиц, лукавых, чуть плутоватых даже, может быть, тем, как играючи, совсем еще по-детски, выполняли нелегкую, взрослую работу и делали ее хорошо и серьезно.

За спиной у каждого по десяти классов, а дальше — один собирается стать летчиком, другой моряком. И это не просто юношеская, романтическая мечта — оба они подготовлены к этому, испытавшие не раз и шторм, и холод.

Я не могла разглядеть, что они там делали вдалеке, но я видела, как Лёня перегнулся через борт к воде, ловко, как воздушный гимнаст, цеплялся ногами за бортовой канат, а Миша, смеясь, держал его за шиворот, как будто шутя, вроде даже подталкивая его в воду, но держал крепко, действительно рукой друга.

Я видела, как они быстро подцепляли баграми баркасы, полные белой рыбы, как четко, без суеты насыпали, или скорее даже наливали ее в ящики, такая она была скользкая и блестящая. Я видела, как потом они играли в домино, а, проиграв, лезли огорченно под стол. Как страстно они желали выиграть и увидеть под столом своих партнеров. Честное слово, я не менее страстно хотела увидеть их торжествующие лица и жалела, что им так этого не удалось. Глядя на них, взрослые и степенные люди, сами становились детьми.

Константин Карнышев, редактор газеты «Северный Байкал», смуглый, с суровыми черными бровями, почти двухметрового роста, радостно хохотал и потирал руки, убедившись, что и на этот раз он остается за, а не под столом.

И опять я хочу вернуться к этому удивительному свойству байкальской земли.

Константин Карнышев живет в Нижнеангарске только год, но, наверное, нет уголка на Северо-Байкале, где бы он не ходил с ружьем, где бы не разговаривал с людьми, где бы не вынимал свой редакторский блокнот. Я убедилась в этом воочию, видя, как принимали его рыбаки, как встречали его на звероферме. Мне не удалось побывать с ним на оленьей ферме, но и там его, должно быть, встречают не менее приветливо. Судя по его рассказам об оленеводах. Мне запомнился, в общем-то, незначительный на первый взгляд, случай, как мы однажды долго бродили по лесу и как Галя, жена Константина, повернулась к нам и сказала:

— Вот только из-за этой красоты я не могу отсюда уехать, — и развела руками, как будто обнимая весь лес. Как прекрасно осветилось при этих словах лицо Карнышева.

И земля байкальская это понимала и щедро платила им обоим за эту любовь. Любовь не простых созерцателей, а творцов, людей, не принимающих предмет своей любви таким, каким он дается ему, а совершенствуя его и облагораживая своим трудом.

Солнце еще было низко, когда я вышла из кубрика. «Богатырь» стоял на якоре, ожидая рыбаков, вынимавших рыбу из ставника.

Я не покривлю душой, если скажу, что у меня перехватило дыхание, когда я глянула на них. Это было красиво просто смотреть: ровная и безучастная вода без конца и края, посередине маленький островок из трех лодок, оранжевая куртка бригадира, зеленые и голубые его товарищей, изумительно светлая, почти лунного цвета рыба и горластые чайки, летавшие над всем этим. Но крики чаек и голоса людей слабо, как сквозь сон, доносились до «Богатыря», глотили, тонули в величественной и властной тишине волн, неба и скал. Это было прекрасно и я, ошеломленная, любовалась ими, а люди работали и некогда было глядеть им на всю эту красоту, в голову не приходило покрасоваться самим. Люди работали четко и вдохновенно. Как в большом оркестре каждый вел свою партию, но звучала одна слаженная и героическая симфония, гимн труду и жизни.

Меня не раз поражало то упорство и честность в работе, та приветливость и доброта при встречах, та чистота взглядов и глубина мыслей при разговорах, какими наделяны северо-байкальцы. В этих трудных условиях они сохранили то, что мы порой теряем при самых незначительных испытаниях. Они не жалуются, не сетуют на жизнь, они живут и делают ее сами.

А условия, действительно, трудные. Нижнеангарск. Связь его с «большой землей» зависит полностью от летней погоды. Свежей почты иногда здесь ждут по полмесяца, а то и больше. В магазинах... Тут я хочу особо остановиться. Свообразным бюро прогнозов являются очереди, в очередях, как правило, ведутся разговоры, на первый

взгляд, случайные и неглубокие. Но если коснуться поближе этих разговоров, можно понять и увидеть действительное настроение людей. Мне, можно сказать, посчастливилось постоять в очереди в одном из магазинов Нижнеангарска. (К слову, очереди здесь нечасты, как я могла судить, прожив здесь десять дней). В этот раз поводом для очереди послужил виноград. Привезли чистый, прохладный, свежий виноград. Каждая ягодка еще запотевшая, как будто только что с куста, свежий виноград за 6000 километров! И люди весело набежали в очередь, делились бумагой для пакетов и уносили с собой тяжелые свертки по пяти-шести килограммов. И радовались, что виноград совсем свежий и что вчера, вот, и яблоки были, такие хорошие...

Я сначала тоже радовалась вместе со всеми, хотя свежие фрукты не могли меня удивить, а потом прорезалась горькая мысль: да, виноград — это, конечно, здорово, виноград — это трудно и сложно, тем более свежий. И пробежала глазами по полкам — консервы, консервы, консервы. Ни овощей (обыкновенных огурцов, картошки, помидор, капусты), ни колбас, ни сыров, ни вообще молочных продуктов... Хотя все это можно было доставить гораздо ближе, чем за 6000 километров. И молоку здесь так же рады, как винограду, даже, может быть, и более. А рядом колхоз, который мог бы поставлять молоко в неограниченном количестве.

Да что там овощи и молочные продукты — рыба! Насмешливо и больно всплывает — «сапожник без сапог». В этом рыбном крае люди не видят настоящей рыбы. И, приезжающие сюда, останавливаются в недоумении перед пустыми полками в магазине на самом берегу Байкала.

Такая вот простая и очевидная несправедливость. Ведь в первую очередь рыба должна быть здесь, тем более, люди лишены других, просто необходимых для жизни, свежих продуктов. А пока я стояла в очереди и видела лица веселые, лица людей, хороших и добрых, и, глядя на них, мне хотелось, чтобы не лишены они были таких, казалось бы, маленьких человеческих радостей, как свежая почта, свежие продукты, новые люди, которые тоже здесь редкость. А здесь ждут, ждут артистов, художников, писателей и прекрасно встречают всех, кто все-таки приезжает...

Я не ошибусь, если скажу, что одним из лучших литературных вечеров был у нас вечер в нижеангарской библиотеке, небольшой зал был полон, мест не хватало, стояли на ногах, в дверях толпились опоздавшие. Была та особенная тишина, не равнодушная и безликая, а такая, при которой устанавливается контакт глаз, сердец и дыханий.

Не часто бывает, чтобы слушали так, что хотелось еще и еще говорить. И мы говорили, а зал вздыхал там, где хотелось вздохнуть нам, смеялся там, где думали зашутеть и мы, глаза то грустнели, то искрились смехом. И вот мне уже стало казаться, что я говорю веселые вещи, когда этого хотят слушатели, в стихах начинает всплывать печаль, когда почему-то загрузили они.

И, наверное, к месту будет вспомнить опять матроса с «Богатыря» Лению Клочихина. Мы сидели на берегу, среди удивительно красивых, обкатанных водою, камешков, горел костер, на рожке аппетитно подрумянивался омуль, а Ления читал свои стихи.

Вероятно, мы никогда с ним не встретимся, но я вряд ли забуду это, и я очень благодарна ему за ту неподдельную искренность, за те прекрасные минуты, за то, что я больше узнала эти места, этих людей и, может быть, в какой-то мере, себя.

Когда сталкиваешься с честными людьми — сам становишься честнее, не имея потребности и сил лгать, когда тебя встречают улыбкой, не замечая того, сам начинаешь улыбаться в ответ, а когда глядишь в пустые глаза — наполняешься непреодолимой скукой, хотя, может, тебя в это время окружает фейерверк многозначительных фраз. А когда рядом с тобой мужество, руки твои сами наливаются силой, сердце упорством и тебе открываются такие возможности, о которых не только не подозревал раньше, от которых просто отмахивался, не видя в них смысла. И я верю в таких людей, как Ления и Миша, как рыбаки бригады Нелюбина, как помощник механика «Богатыря» Петр Платонович Леговой, словоохотливый и гостеприимный человек.

Можно поверить в северо-байкальцев, услышав хотя бы один рассказ о том, как однажды девять часов на обледенелом катере пробивались люди к берегу, оказавшись безоружными против стихии. Лед герметически закупорил двери машинного отделения, кубрика и капитанской рубки, разъединив этот маленький, но сильный коллектив. А отправиться поодиночке с каждым, казалось, не представляло особого труда такому

снлоченному и безжалостному врагу, как ветер, вода и мороз. А Байкал был настолько велик и безучастен, что не мог или не хотел прийти на помощь людям. Или просто проверял еще раз, признавая только мужественных и сильных. Но не зря катер носил имя «Богатырь»...

Можно поверить в этих людей, глядя на самую острую и высокую вершину гольца.

Однажды человек взял, отесал белый ствол лиственницы и понес в гору. Один понес, на себе. Затащил и поставил. Умер он давно, а ствол долго еще стоял, как обелиск. И видно его было далеко с моря и суши. Недавно только не стало, наверное, упал. Никто не знает, зачем так сделал этот человек, но люди до сих пор вспоминают и рассказывают об этом с каким-то внутренним сожалением, что не видно больше этого памятника надежде и силе, мужеству и поэзии и, понятной только русскому человеку, одержимости.

В последний вечер мы пришли проститься с Байкалом. Каждый день мы встречались с ним и каждый день он был разный.

Вот я склоняюсь с бревенчатой подпорной стены, волны сильно бьются об нее. А уже стемнело и только яркие, белые брызги, как холодные огоньки, на секунду поднимаются в воздухе и освещают стену и хлещут меня по щекам. А вчера тучи низко плыли над водой, казалось, можно потрогать их рукой, эти жестокие, медленно ползущие черные тучи. Байкал посылал волны на берег, и они бурно накатывали, как бы угрожая еще издали, но у берега стелились уже рабски покорно и как бы о чем-то умоляя. Потом опять вскипали гордо и гневно и опять бессильно падали и подползали, будто целуя край одежды неведомого властелина. И мы слушали эту бесконечную песню Байкала, а он гневался и жаловался, и плакал по-детски, и успокаивал свои волны, как мать успокаивает ребенка.

Сегодня же, в последний день, Байкал — безмятежно тих. Днем ласково и прозрачно светился на солнце и видны были круглые камешки... Розовые, белые, голубые... Наивные и неповторимые цвета.

Мы последний раз говорили с Байкалом. Вспоминали и переосмысливали все эти дни, встречи. Но мы знали, что никогда уже не расстанемся с этим краем, что будем приезжать сюда еще и еще, что будем сохранять чистоту помыслов, искренность встреч, что никогда не поселится в нас равнодушие к людям, к их жизни, ибо нет на свете неинтересных людей, как нет некрасивых мест, и если почему-либо нам не дано увидеть и понять красоты, значит мало еще было требовательности и строгости к себе и друг другу.

А вода была гладкая и лоснилась, как розовый шелк. Неправдоподобно сиреневое светились горы и через весь Байкал протянулась чистая и ослепительная лунная дорожка...

XX ВЕК Авиация + Космос

РЕДАКТОР ОТДЕЛА ЛЕТЧИК • ИСПЫТАТЕЛЬ ✈ ЮРИЙ БЫКОВ ✈

Человек покорил небо, завоевывает космос, щупальцами автоматических станций исследует соседние планеты, чуткими антеннами радиотелескопов прислушивается к голосу Вселенной в надежде найти братьев по разуму. Но за всеми этими величайшими достижениями стоят люди, которые своим энтузиазмом, силой воли и верой в грядущее шли и идут на переднем фронте цивилизации. О них — космонавтах, летчиках-испытателях, парашютистах, конструкторах «земных» и космических летательных аппаратов, ученых, изобретателях, а также о путях развития авиации и космонавтики мы начинаем рассказывать на страницах нашего журнала в рубрике «Авиация и Космос — век XX».

В этом разделе читатель может принять участие в конкурсе на лучший фантастический рассказ на авиационную и космическую темы. Наши авторы — космонавты, летчики-испытатели, ученые, писатели и все рядовые читатели.

Ю. ГАРНАЕВ,
Герой Советского Союза,
заслуженный летчик-
испытатель СССР.

НАД КРЫШАМИ ЕВРОПЫ

Все было не так парадно, как при заранее подготовленных встречах: мы не увидели Парижа и Париж не увидел нас. Шел дождь. Знаменитые кровли грифельного цвета тонули в тумане. С напряжением преодолели последние сто километров пути. Нам пришлось обходить холмы, на вершинах которых уже копилась низкая облачность, — миновали их в обход, над цветущей зеленой долиной, и вот перед нами в слабом свете смутного дня открылись огни посадки...

Мы прошли необычный путь в три с половиной тысячи километров. Дождливым было в этот год лето Европы. Чаще всего нам приходилось идти под низкой сумрач-



ной облачностью, но, несмотря на это, впечатления наши были ярки и праздничны. Перелет чем-то напоминал далекие годы, когда авиация проходила на небольшой высоте небольшие расстояния. Теперь мы тоже шли над Европой на высоте всего в двести метров — и медленно проплывала она, так что мы могли разглядеть ее как ожившую карту, с подробностями живого быта, с особыми красками, присущими по-своему каждой стране.

Нам предстояло пересечь шесть стран, часть пути пролететь над морем. Три больших вертолета конструкции Миля, как воздушные мастодонты, медленно шли над Европой в Париж, на выставку в Ле-Бурже...

Пасмурным дождливым утром, 1 июля, мы поднялись с подмосковного аэродрома, и, собравшись группой, взяли курс на Запад. Наш МИ-6 возглавил группу. Низкие облака стелились над землей. Моросил мелкий, похожий на осенний, дождь. Не видно было даже затерявшейся где-то в утренней дымке Москвы, но вертолеты оборудованы приборами для полета в сложных метеорологических условиях. Машину ведет автомат, «непьющий пилот», как его называют в шутку, и трудно было только следить за строем — плохая видимость заставляла держаться слишком близко друг к другу.

Под нами были хорошо различимые сначала поля Смоленщины, потом дремучие белорусские леса. Земля для летчика всегда имеет свое лицо, мы узнаем ее как друзей при встрече. В Витебске нас ждали многотонные автозаправщики — даже не верилось, что все это поместится в баках, но ведь предстояло пройти непривычно долгий для вертолета путь, готовыми к любой неожиданности. Мы шли на керосине — устаревшие поршневые моторы заменили теперь мощные турбореактивные двигатели.

За Витебском нас встретила Литва, с ее характерной архитектурой готических построек и костелов. Дождь все шел. На следующий день нам уже не дали вылета. Тоскливо бродили мы у карты, думая о том, что выставка в Ле-Бурже ждать не станет. Сквозь туман еле-еле просматривались на аэродроме силуэты вертолетов, напоминающая сказочных чудовищ — исполинских динозавров. За много лет испытаний я так и не могу привыкнуть к их форме... Она волнует меня сходством с фантазиями Жюль Верна и с необычностью бескрылых аппаратов, которые когда-нибудь понадобятся для посадки на Луну, где нет атмосферы. На Тушинском параде мне приходилось однажды показывать полет на турболете, сооруженном вроде башенного крана, бескрылом прообразе космической техники...

Дождавшись амнистии от синоптиков, мы, дружно воскликнув, как старые кавалеристы, «По коням!», бросились к своим машинам. И вот уже под нами Неман. Отчетливо виден пограничный столб с гербом СССР. Мы не были новичками в зарубежных встречах — приходилось бывать в Европе, в Азии и в Америке, а командир группы Василий Калошенко, опытный полярник, знал все континенты: зимовал на Северном полюсе и в Антарктиде, видел величественные многоцветные грани Гималаев в Индии, где его вертолет МИ-4 оказывался победителем в международном конкурсе на лучшую машину для самых трудных высокогорных условий, учил осваивать вертолеты индонезийцев... И все же каждый из нас снова почувствовал что-то схожее с инстинктом перелетных птиц — Россия осталась за кордоном.

Дружественно встречала нас соседняя польская земля. Как принято во всей Европе мы перешли на радиосвязь по-английски и вдруг услышали родную речь: это польский радист хотел практиковаться в русском языке.

Варшава была хороша как сказка: Борис Земсков, который пролетел теперь над ней на величественном воздушном кране В-10, видел ее с воздуха еще в дни войны — все в руинах, казалось, не стать уже больше таким как был прекрасному старому городу, — но вот он восстановлен, кропотливо, по разысканным старым чертежам и проектам, а в других районах отстроен по-современному, заново. Может быть, с воздуха особенно остро чувствуешь, как много сил положила Польша, чтобы восстановить свою Варшаву. В Польше (тоже строит вертолеты наших систем) велика популярность конструктора Михаила Леонтьевича Миля, и встреча была многолюдной, оживленной, радостной. Мы все, инженеры, механики и летчики, сразу превращаемся в гидов. Для нас выставка вертолетов началась уже в Польше.

Над Одером на второй день полета мы пересекли вторую границу — внизу аккуратно расчерченная немецкая земля. Ясный день. Нас всех ведет по курсу флаг-штурман Петр Халтурин, быть может, как мы думаем, дальний потомок знаменитого ре-

волюционера. Он плечист, высок и белокур, сидит впереди всех в остекленной сплошь кабине и кажется, что он, как Илья Муромец, едет на богатырском коне через необозримые просторы полей. Скользит вниз странная тень летучего крана В-10 — он настолько красив на фоне чистого неба, что я, не выдержав, прошу Земскова подойти поближе, чтобы сфотографировать. «Берлин», — говорит в это время Халтурин. Уже видны впереди предместья большого города, тихие, глубокие пруды, красиво окруженные густой зеленью, четко разграниченные линии шоссе и дорог. Те, кто летал здесь в последние дни войны, помнят горизонт в сплошной пелене пожаров. Теперь раны города закрылись кваргалами новостроек и мы приходим сюда не мстить за сожженные города и села, а как паломники над Европой, странствуя к выставке грандиозной авиации нашего времени. После посадки все отправляемся в Трептов-парк — и здесь нас поражает аллея русских березок у скульптуры двух воинов, склонившихся под сенью знамен в поклоне погибшим... Затем идем к рейхстагу, к Бранденбургским воротам, — до шлагбаума.

Странной тревожной тишиной, как будто в ней еще таятся выстрелы, встречает нас граница Берлина: на нейтральной зоне, в самом центре города, как шрам, тянется полоса бурьяна и домов, разрушенных войной... Здесь кажется, что ясный полдень все еще обманчив со своей тишиной, как ожидание в окопе. Быть может, это ощущение рождено тем, что мы знаем: единственная страна, которую по дороге на мирную выставку нам придется обойти стороной — Западная Германия. Поэтому от Берлина мы идем не в Париж, а на север, к границам Дании.

Впервые нам предстоит пройти на больших вертолетах над морем и мы готовим резиновые лодки, надеваем надувные жилеты и вызываем по радио советские корабли. Теплоход «Иван Ползунов» отвечает, что будет следить за нами, пока не выйдем на сушу. Но сам он далеко, в стороне от нашего курса на 60 миль. Над морем непривычно, нет рельефности, в тумане не видно горизонта. На аэродром Копенгагена заход на посадку с моря. Дания кажется сплошь вычитанной из Андерсена, игрушечной. Островершие дома с черепичными крышами. Не очень большой дворец на маленькой площади. Здесь живет король — это тоже вроде детской сказки, потому что он не правит страной. Аэродром скандинавской компании «САС» — мирового значения, имеются представительства всех крупнейших авиакомпаний, самолеты здесь тоже разные, как на выставке, и к нам направлен неподдельный интерес специалистов. Балконы аэродрома пестрят вышедшей из здания публикой — ее удивляют наши огромные вертолеты, а мы, в свою очередь, удивляемся, что корабли проходят здесь мимо по проливу так, как будто плывут по самому аэродрому.

Больше всего нас поразило в Копенгагене уличное движение: оно обходится почти без полицейских и отдано водителям и пешеходам под общественный контроль — малейшее нарушение уже вызывает возмущенные гудки соседей.

Над прекрасной цветущей фермерской Данией мы прошли от столицы на Эсбьерг — над длинными полосками тщательно возделанной земли, где в конце всегда стоит аккуратный кирпичный домик с кирпичным коровником. Знаменитые рыжие датские коровы на всем пути шаркались от вертолетов, а куры повсюду разлетались в панике от одной нашей тени, очевидно, принимая машины за огромных коршунов. За час мы пересекли всю страну и сели на травяном спортивном аэродроме, куда из города сразу стали съезжаться автомобили. Был день отдыха и датчане, собравшись толпой вокруг аэродрома, с нашего согласия упростили полицейских пустить их из-за забора к вертолетам. Мы захлебнулись в раздаче значков и автографов, в вопросах взрослых и детей. Нашему перелету не предшествовала реклама в газетах, корреспонденты о нем заранее не знали и слава наших машин шла не впереди, а за нами, чистая в своей непосредственности.

Резким контрастом после Эсбьерга был путь на Голландию над морем, мимо военных баз ФРГ. Мы шли над нейтральными водами, но строго по курсу, — в двадцатикилометровом коридоре, за которым в обе стороны были обозначены зоны стрельбы и учений западногерманской ПВО. Самолет, поднявшись из Дании, уже видит Голландию, но мы шли низко, берега от нас скрылись, горизонт сливался с морем, внизу металась волна, наши корабли по радио уже не отзывались, очевидно, близко их не было. Вдали маячил остров Гельголанд с военным аэродромом. Залив, через который Западная Германия выходит в море, казался мрачными воротами смерти. Уже дома

мы прочитали потом в газетах, как самолеты ФРГ атаковали над Европой пассажирскую «Каравеллу». За полтора часа над тревожным морем мы заметили только на отмели одинокую и пустынную вышку какой-то телевизионной станции.

С искренним удовольствием увидели мы, наконец, драгоценный пояс Нидерландов — нитку плотин, ограждающую низлежащую страну от моря. Даже сверху эта плотина, храня жизнь целому народу, казалась чудесной. Страна лежала слева, как на дне, а в самом море, на окружающих бетоном островках, крылатые ветряные мельницы все махали руками, как на рисунках старинной Голландии, откачивая воду с отmelей, как из стакана, и отвоевывая куски плодородной суши... И мы пришли в Голландии тоже махая лопастями в тон пейзажу — как мельницы в небе. Каналы напоминали про серебряные коньки, о которых помнишь с детства, или маленькую модель Марса, как он представлялся раньше по фотографиям. Крыши домиков были острее чем в Дании и все окантованы белым по краям. Нас приняли на запасном аэродроме, где откуда-то прямо из земли к нам потянулся шланг вездесущей компании «Шелл», снабжающей Европу горючим. За обедом в ресторане аэропорта любопытных набилось много, и нас чуть ли не кормили бесплатно, настолько удачно спустились мы к хозяину ресторана прямо с неба. Здесь же начались съемки для телевидения. После, уже в воздухе, нас все провожал самолет с оператором, из-за которого пришлось снизить скорость, так как он явно отставал. Говорят, что вечером была уже передача.

В Брюссель нас вели по локатору. На траверзе Амстердама снова пошел дождь, спустилась облачность, мы летели в сплошной муре, стараясь не слишком сближаться, но и не терять друг друга. Казалось, что в дождливой хмаре плывут, как по морю, почти бок о бок, плавучий кран с пароходом — наш МИ-6, кругловатый и объемистый, похож на крутобокий морской буксир, деловито взобравшийся в небо. Я вспоминал, что мне рассказывали, как плавучие портовые краны, огромные «блейхерты», плывут на буксире из Европы на Камчатку, тяжело ныряя в штормах трех океанов, и это выглядит величественно, как шествие исполинов с их добродушной уверенностью в себе... Так и мы появились из дождя над Бельгией, увидели близко под собой длинные, как Кордильеры, глыбы жилых массивов, подумали, как по русским представлениям мала и как тесна от этого Европа, увидели главный павильон прошедшей Брюссельской выставки, и сели уже по огням, в тумане. Здесь встретили мы в витрине на улице фото наших вертолетов, сделанное еще во Внукове при показе для торговых фирм и познакомились с очень крупным промышленником, последовавшим затем в Париж и особенно заинтересовавшимся воздушным краном, — для своих строительных работ.

В Париж мы пришли почти первыми, сразу за нашим ИЛ-18, и только на второй день начала слетаться великая армада новейшей авиации — больше 450 самолетов принял в эти дни Ле-Бурже.

Чтобы хоть немного посмотреть Париж мне пришлось напрячь всю многолетнюю выдержку испытателя: днем было слишком много работы на выставке — мы ежедневно показывали вертолеты в воздухе, оставался только вечер (до предела выносливости), потому что Париж совсем не спит: утром он не просыпается, а просто начинает новые сутки. Я бывал в Париже проездом, но в этот раз, составив список на две недели, — с Лувром, букинистами на набережной Сены и ночным Монмартром, — купил заранее новые башмаки; улетаю, я их выбросил, они сносились.

Выставка крутилась безостановочно, как огромная карусель, и с каждым днем людей прибывало все больше. Наша техника все эти дни была в центре внимания прессы и телевидения: колоссальный «Антей», лайнер ИЛ-62 и вертолеты. Билеты все повышались в цене, особенно после каждой из двух катастроф, отзвук которых похватила пресса. В первый же день, задев при посадке за огни аэропорта, разбился огромный американский «Хаслер», бомбардировщик с четырьмя двигателями, — этот Б-58 уже снискал во Франции довольно стойкую мрачную славу, ибо такая же машина погибла уже на прошлой авиационной выставке здесь же, в Париже.

Мы видели каждый день много великолепных образцов пилотажа, который смелее и точно демонстрировали над аэродромом иностранные летчики. Но, когда поднимался итальянец Донати, меня охватывало, как у всех старых летунов, роковое предчувствие — много раз я сталкивался с оправданным риском в воздухе, на войне и после на испытательной работе, мне приходилось испытывать на себе катапульту, отстрели-

вать лопасти у вертолета, чтобы проверить возможность выбрасывания из него с парашютом, рвать грудью, приземляясь на парашюте после аварии, телеграфные провода — но слишком рекламный риск итальянца нам всем казался ненужным и неоправданным.

19 июля сразу после пилотажа у земли, заходя на посадку через неудачно расположенную на подходе к полосе стоянку автомашин, Донати потерял высоту и упал, и унес с собой еще восемь жизней из числа неповинных зрителей, и сжег 60 автомобилей. Хотя после этой катастрофы цена на билеты поднялась уже до 26 новых франков, вовсе не большой интерес к летным происшествиям привлекал прежде всего парижан в павильоны XXVI авиационного парижского салона, а их природная любознательность и любовь к технике. Французы хорошо помнят, что в их стране в одной из самых первых занималась заря авиации в начале века. Они чтят славную память Блерио. В знаменитой серии издания классиков всех времен и народов, роскошно оформленного крупнейшим издательством Галлимар, не случайно наибольший тираж собрал Сент-Экзюпери — летчик, национальный герой и популярнейший писатель Франции, ярче всех воплотивший в своей поэтической прозе романтику нашего летного дела. И не случайно, что за две недели выставку в Ле-Бурже посетило около миллиона зрителей. Франция всегда была сильна технически и инженерно, одной из самых лучших машин на пассажирских линиях мира справедливо считается «Каравелла» и мне кажется, что много интересного надо ждать от воплощения известного проекта сверхзвукового пассажирского самолета «Конкорд».

В каждый проблеск свободного времени и неизменно по вечерам и ночью мы бродили и ездили до изнеможения по Парижу. Незабываемо обаяние его уличных сцен, ночные художники, рисующие на Монмартре, Булонский лес, ночной огромный рынок, где в это время оптовики продают горы сверкающих яркими красками овощей розничным торговцам и где в ночном кафе «Три поросенка» узнав, что среди нас Юрий Гагарин, хозяин немедленно вручил нам всем сувениры. Вообще, популярность Гагарина в Париже почти не меньше, чем в России. В рабочей столовой, как только его узнал зашедший случайно бойкий репортер, нас окружили с готовыми фотокарточками и невозможно было отказать в автографах. Больше того, — американские космонавты Макдивитт и Уайт, недавно осуществлявшие второй выход человека в космос, несколько дней не могли пробиться на первые полосы парижских газет, пока не сфотографировались вместе с Гагариным.

Я думаю, что участие Соединенных Штатов в нынешней авиационной выставке вряд ли повысило их популярность во Франции. Под каждым самолетом и вертолетом, даже почтовым, выразительно лежала бомба. Это был открытый базар военной техники, без намека на возможность мирного применения. Конечно, в военное время любой тракторный завод можно при необходимости быстро перевести на танки, но я, как испытатель, хорошо знаю, что у нас даже необходимую военную технику при малейшей возможности стремятся приспособить к транспортному обслуживанию населения или к другим мирным целям. У американцев все было наоборот, их товар в виде спортивных самолетов могли покупать только миллионеры, а все остальное — генералы. И прилетела почти вся эта техника в Париж не через Атлантику, а из соседней ФРГ, как будто демонстрируя, что бундесверу недалеко до Франции если лететь на чужих черных крыльях.

Я знаю что такое война и мир. На обратном пути, когда быстро опустели широкие площадки Ле-Бурже и Париж скрылся в легкой дымке, мы совершили недолгую посадку для ремонта на травяное поле у деревушки. Нас быстро окружили французы. Это была Франция сельская и девушки здесь уже не выглядели так модно, как в Париже, в них было меньше кукольного, зато они отличались здоровым румянцем. Нас спрашивали с тревогой «Америкен?», а потом радостно и весело кричали: «Рюс, рюс!» И снова шли под нами, сменяя свои оттенки, благодатные, тщательно возделанные поля — мирные поля Европы, искусственные пруды Бельгии с голубым кафельным дном, луга Голландии, где коровы почему-то смотрели на вертолеты бесстрашие датских... И снова мы задержались в Варшаве, а потом полетели в Люблин. И здесь впервые в жизни я увидел своими глазами Майданек — почерневшие тоскливые бараки, газовые камеры и печи крематория, поглотившие сотни тысяч людей, фотографии расстрелов, вещественные улики образцового поточного производства матрасов и

сувениров из человеческих волос и костей, и холм из пепла за крематорием, теперь поросший дерном. Но память наша не порастет травой. Я вспомнил аллею березок в Трептов-парке нынешнего Берлина и вспомнил, как мне рассказывали, что в тюрьме Зоненбурга, перед камерами приговоренных русских с утонченным садизмом тоже сажали березы... Мы только что прошли над Европой, над крышами тысяч домов, под которыми теплилось простое счастье простых людей, и нам не хочется верить, что может настать время, когда рассыплются сразу все эти веселые черепичные кровли, рухнут искусные плотины Голландии, впуская холодные морские волны, обуглятся снова тихие пруды под Берлином... Мы шли на Восток и перед нами, долгожданная снова вставала Родина, которую не первый раз мы готовы от всех пожаров заслонить собой.

Москва—Париж—Москва.

Журнал «Байкал» объявляет конкурс на лучший фантастический рассказ на космическую тему, посвященный первому выходу человека из космического корабля в мировое пространство. Объем произведения не более 25 машинописных страниц через два интервала. Последний срок сдачи рукописи 1 февраля 1969 года. Лучшие рассказы будут печататься в течение всего 1968 года. Итоги конкурса будут подведены во втором номере журнала в 1969 г.

Победителей конкурса ждут денежные премии, почетные дипломы журнала и приветственные адреса космонавтов. Лучшие произведения будут изданы отдельной книгой Бурятским издательством.

В жюри конкурса, кроме членов редколлегии журнала входят: летчик-космонавт, Герой Советского Союза Алексей Леонов, писатели Андрей Меркулов и Борис Ляпунов.

Фантасты о космосе

ОТ ИСТОКОВ КОСМИЧЕСКОЙ ЭРЫ ДО НАШИХ ДНЕЙ

Теперь, когда мы постоянно становимся свидетелями все новых и новых побед в космосе, трудно представить себе время первых робких космических мечтаний. И тем более интересно проследить тот путь, который прошла научная фантастика, повествующая о грядущем выходе человека в космос.

В 1893 году подписчики журнала «Вокруг света» среди приложений получили книгу Константина Эдуардовича Циолковского «На Луне». Это было первое выступление ученого в качестве писателя-фантаста. А в 1895 году вышел сборник его очерков «Грезы о Земле и небе». С тех пор и повесть, и очерки многократно переиздавались — вплоть до наших дней.

Тогда, в конце прошлого века, сама мысль о возможности межпланетных путешествий безраздельно принадлежала фантастике. И Циолковский не мог описать, как происходил бы в действительности полет на Луну. Даже герои Жюль Верна не добрались до серебряного шара, хотя и облетели вокруг него. Герой же Циолковского очутился в лунном мире самым простым способом: он перенесся туда бо сие.

Лунный мир предстает со страниц повести совершенно реальным. Что увидел бы человек, оказавшийся в этом странном мире, где соседствуют яркий свет и резкие, черные тени, где нет воздуха, где тяжесть в шесть раз меньше, чем на Земле, и где суровый холод двухнедельной ночи сменяется жарой двухнедельного дня?

Еще более удивительное путешествие совершает читатель «Грез о Земле и небе». Из рассказов «чудака», побывавшего в поясе астероидов, он узнает об «эфирных» жителях — существах, которые в результате длительной эволюции приспособились к жизни в пустоте, питаясь, подобно растениям, солнечными лучами... Фантазия Циолковского уносила далеко-далеко, к тем временам, когда потомки людей расселятся по всей Солнечной системе, и она станет для них таким же родным домом, как теперь Земля.

То были мечты ученого, искавшего дорогу в Космос. Фантазию он считал началом научного творчества. «Сначала идут: мысль, фантазия, сказка. За ними шествует научный расчет... Нельзя не быть идее. Исполнению предшествует мысль, точному расчету — фантазия». Но от сказки, вымысла Циолковский шел к научной фантастике.

Герои его следующей повести — «Вне Земли» — покидают Землю на ракетном корабле. Создавая теорию космонавтики, ученый в то же время стремился наглядно представить, как произойдет первый вылет за атмосферу, как будет протекать путешествие на спутнике-корабле, как станет осваиваться околосолнечное пространство.

Повесть была им начата в 1896 году, главы из нее печатались в журнале «Природа и люди» в 1918 году и отдельное издание вышло в Калуге два года спустя. Она

стала библиографической редкостью, эта книга, о которой Юрий Гагарин после приземления первого корабля «Восток» сказал: «...Сейчас, вернувшись из полета вокруг Земли, я просто поражаюсь, как правильно мог предвидеть наш замечательный ученый все то, с чем только что довелось встретиться, что пришлось испытать на себе. Многие, очень многие его предположения оказались совершенно правильными».

После запуска первого спутника космическая фантастика Циолковского обрела широкую популярность. Вышел ряд изданий и повести «Вне Земли» — родоначальницы подлинно научно-фантастической литературы о космических полетах.

Циолковский рисует переживания пассажиров ракеты, победившей земное притяжение и летящей сначала вокруг Земли. Они видят нашу планету «извне», испытывают ощущение невесомости, выходят наружу в скафандрах. Затем они посещают Луну — уже не во сне! На маленьком ракетомобиле путешествуют по лунным горам и долинам. А потом ракетный корабль превращается в маленькую планетку со своей атмосферой, которая очищается растениями. Оранжерея дает обитателям ракеты и пищу. Постепенно около Земли создаются целые космические поселения...

И пусть читателя не смущают выбранные Циолковским имена героев — Галилей, Ньютон, Лаплас, Франклин и другие. Не в этом дело, и коллектив ученых разных национальностей служит своего рода символом международного сотрудничества космонавтов.

Циолковский — фантаст хотел прежде всего как можно более наглядно показать обстановку будущих заатмосферных полетов, обрисовать перспективы, которые откроет человечеству ракета — корабль Вселенной. Освоение межпланетных просторов и главного богатства Космоса — солнечной энергии, он считал важнейшей целью космонавтики. Поэтому его фантастика и рассказывает о том, какие плоды получают люди, когда сумеют выбраться за пределы своей планеты.

Фантастические наброски будущего мы находим и в других работах Циолковского, уже не специально фантастических. Но все же их можно по праву отнести к научной фантастике. Так, например, «Цели звездоплавания» — по существу рассказ о внеземных станциях, городах, которые появятся со временем в Космосе. И от того, что Циолковский подробно описывает, какими будут эти города, из чего и как будут построены эти «эфирные жилища», рассказ становится предельно убедительным.

Не случайно «Цели звездоплавания», вместе с другими статьями и очерками, а также повестью «На Луне» и «Грезами о Земле и небе» вошли в сборник научно-фантастических произведений ученого «Путь к звездам», вышедший в 1960 и 1961 годах. Его дополняет небольшой сборник, составленный из неопубликованных ранее рукописей Циолковского, — «Жизнь в межзвездной среде». Он вышел в 1964 году с предисловием И. Ефремова. Автор «Туманности Андромеды» подчеркивает: «Подобной смелости научной фантазии могут позавидовать лучшие современные авторы произведений о Космосе и будущем!»

Мысль о том, как сумеют люди обживать Космос, подробности устройства внеземных станций, различные стороны космического «бытия» — все это изложено строго научно и, вместе с тем, является фантастикой для сегодняшнего дня. Циолковский дал образцы предвидений, которые уже начинают сбываться. Кругосветные рейсы современных спутников-кораблей — прообраз путешествия вокруг Земли на «ракете 2017 года», как назвал он свой межпланетный корабль (повесть «Вне Земли»). Только дата, пожалуй, указана слишком далекой: не в 2017 году, а гораздо раньше состоится и полет на Луну, и созданы будут постоянные внеземные станции. А первые выходы людей в открытый Космос уже произошли.

Циолковского Александр Беляев назвал первым научным фантастом. И это действительно так: никто до него не смог столь впечатляюще и, главное, с предельной научной достоверностью описать и первые шаги в Космос, и самые дальние перспективы покорения человеком Вселенной. Дело не только в том, что Циолковский был первооткрывателем грядущей космической эпохи. Дело и в том, что он силой воображения убеждал в реальности своих идей, рисуя осуществленным лишь намечавшееся на страницах его научных сочинений.

Циолковский пропагандировал идеи, им самим высказанные и опережавшие свое время. Создатель космонавтики, определивший ее развитие на многие десятилетия

и даже века, стремился образно раскрыть этапы дороги к звездам. «Невозможное сегодня станет возможным завтра», — писал он.

В истории фантастики поэтому творчество Циолковского занимает особое место. Были и другие ученые, которые популяризировали научные знания художественными средствами. Но он первым ввел читателя в свою творческую лабораторию, показал, как мечта сможет превратиться в действительность.

«Эти мысленные эксперименты подготавливали воображение автора к той необычной обстановке, с какой придется встретиться будущему звездоплывателю. Помогали они и читателю вникнуть в условия межпланетного путешествия. «Грезы» — это тренировка ума будущего автора «Исследования мировых пространств», пробные полеты воображения, расправляющего крылья для небывало-дальнего путешествия», — писал о Циолковском-фантасте, авторе «Грез о Земле и небе», Я. И. Перельман. Повесть же «Вне Земли», подчеркивал Перельман, была первым фантастическим произведением на тему о ракетоплавании в мировом пространстве, написанном с образцовой научной добросовестностью.

Мало кому известно, что Циолковский был еще и редактором научной фантастики. Под его редакцией вышла в 1933 году книга К. И. Микони и Г. С. Солодкова «Завоевание неба», значительную часть которой составил научно-фантастический очерк о будущих космических полетах. Содержание его во многом напоминает повесть самого Циолковского «Вне Земли», но, будучи написан позднее, этот очерк отразил и новые идеи в области звездоплавания.

Циолковский был и консультантом романа А. Беляева «Прыжок в ничто». Ко второму изданию он дал свое предисловие. Константин Эдуардович прочел роман и сделал ряд конкретных замечаний. Между ним и Беляевым завязалась переписка по поводу работы над этим романом. А Беляев написал очерк «Гражданин Эфирного острова», где рассказал об идеях Циолковского, касающихся освоения Космоса и переделки планеты Земля.

Циолковский принимал активное участие в работе над научно-фантастическим фильмом «Космический рейс». Сначала у него была идея экранизировать повесть «Вне Земли», но ее осуществить не удалось. Позднее, когда задуман был фильм о полете на Луну, Циолковский стал его главным консультантом.

Все детали будущего лунного перелета согласовывались кинематографистами с Константином Эдуардовичем. По его эскизам строились макеты ангара ракетопланов, ракетного корабля и его кабины, пейзажи Луны, скафандры, предохранительные масляные ванны, в которых космонавты находили защиту от перегрузки во время взлета. Эпизоды, связанные с невесомостью, приключения на Луне, прилунение, возвращение на Землю получились в фильме очень правдоподобными.

«Константин Эдуардович заботился о том, чтобы в картине все было интересным и занимательным, чтобы фильм увлек юного зрителя. Ученый точно определил, что должно быть показано в фильме о межпланетных сообщениях и что не может быть технически осуществимо. В фильме обязательно должен быть мир без тяжести, передвижение людей на Луне прыжками и черное небо Космоса с ярко горящими немигающими звездами.

Циолковский просмотрел и подписал эскизы декораций, дал нам целый ряд практических советов и в заключение сказал:

— Ну, а теперь вы можете отправляться в кинокосмический рейс! — писал режиссер фильма В. Н. Журавлев.

Циолковский в статье «Только ли фантазия» подчеркивал роль фантастики в пропаганде идей завоевания Космоса: «Кто этим занимается, делает полезное дело — побуждает к деятельности мозг, рождает сочувствующих и будущих работников великих намерений». В одном из своих писем Александру Беляеву он писал: «Одни изобретают и вычисляют, другие более доступно излагают эти труды, а третьи посвящают им роман. Все необходимо, все драгоценны».

Труды Циолковского выходили в издании автора в Калуге. Фантастика, однако, составила исключение. Повесть «На Луне» вышла в издательстве И. Д. Сытина, издававшего журнал «Вокруг света». «Грезы о Земле и небе» вышли в издании И. А. Гончарова. «Вне Земли» была издана Калужским обществом изучения природы и местного

края. И только «Цели звездоплавания» и другие статьи, вошедшие впоследствии в сборник «Путь к звездам», издавались им самим в Калуге.

Страстным пропагандистом идей Константина Эдуардовича Циолковского был писатель-фантаст Александр Беляев. В своей статье «Памяти великого ученого и изобретателя» он писал: «Я перебираю его книги и брошюры, изданные им на собственный счет в провинциальной калужской типографии, его письма, черновики его рукописей, в которые он упаковывал посылаемые книги, его портреты,—и раздумываю над этим человеком. Тяжелая и интересная жизнь! Он знал Солнечную систему лучше, чем мы свой город, мысленно жил в межпланетных просторах, был «небожителем»...

В романах «Воздушный корабль» Беляев описывает путешествие на цельнометаллическом дирижабле «Альфа». Идеей такого дирижабля, как и космической ракеты, Циолковский занимался всю свою творческую жизнь. Он предрекал воздухоплаванию великое будущее.

Небезынтересно, что в последние годы вновь вернулись к проектам дирижаблей из металла. Подобный корабль может быть снабжен атомным двигателем и совершать длительные рейсы, поднимая большие грузы и много пассажиров.

В романе «Прыжок в ничто» использованы технические идеи, которые Циолковский выдвигал в повести «Вне Земли». «Ноев ковчег» Беляева — это «ракета 2017 года» Циолковского. Но Беляев предложил и новое: вращающийся шар — лабораторию для изучения действия перегрузки. В этой лаборатории, являвшейся также и оранжее-й, космонавт жил как в кабине космического корабля. На межпланетном корабле герои Беляева установили атомный ракетный двигатель, который мог бы развивать скорости, сравнимые со световой.

Роман «Звезда КЭЦ» посвящен идее внеземной станции. Беляев описал оригинальную ее конструкцию — станция состояла из сооружений самой разнообразной формы: обсерватории — тетраэдра, в вершинах которого помещались рефлекторы; оранже-й в виде цилиндра и конуса с полусферами на концах; завода-шара.

Кроме того, в романе описаны скоростной реактивный поезд на воздушной подушке, реактивный стратоплан и лунный ракетомобиль, предложенные Циолковским.

В рассказе «Слепой полет» (он был напечатан в журнале «Уральский следопыт» в 1935 году и вновь перепечатан также в начале 1958 года, вскоре после запуска первых искусственных спутников) Беляев пишет о кругосветном путешествии на самолете с комбинированным — винтовым и воздушно-реактивным двигателем со скоростью, близкой к скорости спутника Земли. Эту идею также развивал Циолковский.

Тема космических путешествий была одной из основных в советской фантастике с самых первых лет ее развития. Начатая Циолковским, она затем продолжена была в творчестве многих писателей. Как приемом воспользовался ею А. Толстой в романе «Аэлита». Другие фантасты задолго до начала космической эры рассказывали о будущих путешествиях на Луну и планеты.

Так, С. Граве в повести «Путешествие на Луну» (1926) описал лунный перелет на ракете «системы Циолковского». С. Григорьев написал фантастический рассказ «За метеором» (1932) — о полете двух ракет, охотников за астероидами, об использовании которых в качестве сырья мечтал и Циолковский. Небезынтересно, что он читал рассказ Григорьева в рукописи.

А. Беляев затронул космическую тему, помимо романов «Прыжок в ничто» и «Звезда КЭЦ», а также очерка «Гражданин Эфирного острова», в других, менее известных, произведениях. Он написал научно-фантастический роман для детей — «Небесный гость», который был напечатан в ленинградской газете «Ленинские искры» в 1937—1938 годах (в послевоенное время был переиздан на Украине, в сборнике «Небесный гость»).

По своей направленности он близок к произведениям Уэллса — «В дни кометы» и «Звезда». К Земле приближается двойная звезда с планетами-спутниками. Под действием ее притяжения устремляется в Космос вода океанов, а с нею — гидростат, аппарат для глубоководных спусков, превратившийся в межпланетный корабль. Таким необычным способом людям удается попасть в мир соседнего Солнца, где существует жизнь, познакомиться с ним и вернуться потом на присланной за ними ракете обратно.

В раннем романе «Борьба в эфире» (1928) находим упоминание о летающем го- роде — внеземной станции. Он мог неопределенно долгое время находиться вдали от Земли, посылая к ней небольшие «суда» для пополнения запасов продовольствия.

В числе довоенных произведений Г. Адамова — рассказ «В стратосфере». Техническая идея его — электронно-ракетный корабль, использующий солнечную энергию при помощи термоэлементов.

В 1926 году вышел роман А. Ярославского «Аргонавты Вселенной» о полете на Луну на корабле, приводимом в движение атомной энергией.

«Путешествие на Луну и на Марс» — так назывался научно-фантастический рассказ В. Язвицкого, выпущенный отдельным изданием в 1923 году и вошедший в сборник его рассказов «Как бы это было» (1938). Это путешествие описано в юмористическом духе, передавая впечатления неискушенного «пассажира» ракеты Циолковского, который видит лунные растения и животных и встречается с марсианами, переживает угрозу стать вечным спутником Земли, не достигнув родной планеты... и просыпается.

В романе А. Палея «Планета КИМ» (1930) ракета, отправленная на Луну, по ошибке попадает на астероид Цереру, где возникает небесный поселок. Добыв горючее, жители Цереры, переименованной ими в планету КИМ, возвращаются на Землю.

В 1939 году писатель В. Владко выпустил роман «Аргонавты Вселенной» — о полете на Венеру.

Межпланетные путешествия и внеземные станции описывались в романах о будущем — социальных утопиях (Э. Зеликович, В. Никольский, Я. Ларри).

Советская космическая фантастика опиралась на идеи Циолковского — основоположника космонавтики. Ракетные корабли, внеземные станции, перспективы освоения богатств Вселенной, условия полета жизни на других небесных телах — все это почерпнуто было из арсенала идей Циолковского.

Читатели имели возможность познакомиться и с переводами зарубежных произведений на космические темы. Еще в 1922 году в журнале «В мастерской природы» и позднее отдельным изданием в приложении к нему вышел роман А. Трэна, написанный в соавторстве с известным физиком Р. Вудом, — «Вторая Луна».

В 1930 году вышел роман немецкого писателя О. В. Гайля «Лунный перелет», написанный по идеям немецкого ученого профессора Г. Оберта, и появился «Астрополис» — отрывок из другого его романа «Лунный камень».

Я. И. Перельман в своей известной книге «Межпланетные путешествия» поместил научно-фантастический рассказ Г. Оберта «В ракете на Луну». Были изданы также переводы романов К. Лассвица «На двух планетах», Б. Бюргеля «Ракетой на Луну», трилогия польского писателя Г. Жулавского — «На серебряном шаре», «Победитель», «Возвращение на старую Землю», романы шведской писательницы С. Михаэлис «Небесный корабль», французских авторов Ле-Фора и Графиньи «Вокруг Солнца».

Профессор Н. А. Рынин, известный историк космонавтики, опубликовавший девятитомную энциклопедию «Межпланетные сообщения», посвятил обзору космической фантастики три первых ее выпуска: «Мечты, легенды и первые фантазии» (1928), «Космические корабли» (1928) и «Лучистая энергия» (1931). Перу самого Рынина принадлежит фантазия «В воздушном океане» (1924), в которой описан космический корабль, получающий энергию для движения по радио с Земли.

(Окончание следует)





Рэй БРЕДБЕРИ

КАРЛИК

Эмми спокойно взглянула на небо. Был один из тех жарких вечеров, когда воздух совершенно неподвижен. Бетонная набережная опустела. Красные, желтые, белые фонарики, похожие на диковинных насекомых, неподвижно висели в воздухе. Менеджеры карнавальных балаганов стояли у билетных касс, подобно вылепленным восковым фигурам, тупо глядя перед собой.

Эмми подошла к кассе аттракциона «Кривые Зеркала». Она увидела свою фигуру, сплюсненную, словно под прессом, в зеркалах, выставленных снаружи. Эмми вошла внутрь будки, задержав взгляд на худой шее Ральфа Бангарда. Стиснув в зубах незажженную сигару, он неторопливо раскладывал пасьянс. Когда на американских горках снова завизжали развлекающиеся посетители, Эмми заговорила:

— Что за люди ходят на эти горки?

Ральф Бангард вынул сигару изо рта.

— Люди хотят умирать. А эти американские горки ближе всего подводят их к ощущению смерти. — Он прислушался к слабым звукам выстрелов, доносящимся из соседнего тира. — Проклятый карнавальный бизнес! Например, этот карлик. Ты видела его? Каждый вечер платит дайм¹ и бежит к зеркалам.

— Интересно, — подумала Эмми вслух, — как чувствовать себя карликом? Мне жаль его.

— Он похож на говорящую куклу из магазина Вудворта. Я мог бы играть на нем, как на аккордеоне.

— Не говори так.

— Тоже мне! — Ральф похлопал ее по бедру. — Странно, что это ты так заботишься о нем? — откинувшись в кресле, он захихикал. — Только один я знаю его секрет. А он об этом даже и не подозревает.

— Сегодня жарко. — Эмми нервно надела на кисть руки большое деревянное кольцо.

— Не пытайся переменить тему разговора. Он приходит сюда в любую погоду, каждый день.

В замешательстве Эмми переступила с ноги на ногу. Она уже хотела уйти, но Ральф схватил ее за локоть.

— Эй, ты случайно не сумасшедшая? Ты хочешь видеть этого карлика? — Ральф повернулся к окошку кассы.

— Вот он.

¹ Дайм — десять центов (америк.).

Волосатая рука с зажатой в ней серебряной монетой появилась в окошке. Невинный человек сказал «один» высоким детским голосом.

Эмми выглянула в окошко.

Карлик взглянул на нее, черноволосый, черноглазый, безобразный человек, с морщинистым загорелым лицом.

Ральф наполовину надорвал желтый билет и сунул его в окошко.

— Держите.

Карлик, как бы испуганный приближающимся штормом, поднял воротник пиджака, и, потоптавшись на месте, направился к аттракциону.

Минутой позже десять тысяч бесформенных уродцев заплясали в зеркалах, подобно бешеным черным жукам, испуганным ярким светом.

— Скорее! — Ральф потащил за собой Эмми к щели, сквозь которую было видно помещение аттракциона. — Это интересно, — захихикал он. — Смотри.

Эмми заколебалась, затем наклонившись, взглянула в щель.

— Видишь? — прошептал Ральф.

Эмми почувствовала, как ее сердце бешено запрыгало в груди. Кровь тяжелыми толчками пульсировала в артериях.

Прошла минута. Карлик стоял посредине маленькой комнаты, окруженный зеркалами. Его глаза были закрыты. Наконец, он взглянул в большое зеркало перед ним. То, что он увидел, заставило его улыбнуться. Он подмигивал, делал пируэты, размахивал руками, кланялся, исполнял какой-то дикий неповторимый танец. Зеркала повторяли каждое его движение. Но теперь его руки были длинные и тонкие. Гигантский черный глаз, чудовищный оскал зубов. Уродливые губы, раздвинутые в улыбке. И поклоны. Поклоны Гулливера.

— Каждый вечер он делает одно и то же, — прошептал Ральф в ухо Эмми. — Разве это не забавно?

Эмми повернула голову и взглянула на Ральфа, но ничего не сказала. Затем она снова прильнула к щели. Эмми почувствовала, что глаза ее стали мокрыми от слез.

Ральф подтолкнул ее, шепнув:

— Интересно, что он сейчас делает, этот маленький чудак?

Спустя полчаса они пили кофе в билетной будке, не глядя друг на друга. Карлик вышел из павильона, снял шляпу и направился к будке, но увидев Эмми, поспешил прочь.

— Он что-то хотел сказать, — прошептала Эмми.

— Да, — Ральф смял сигарету. — Я знаю, что ему надо. У него просто не хватает мужества спросить. Как-нибудь он скажет своим визгливым голосом: «Эти зеркала слишком дороги». Я притворюсь непонимающим и отвечу: «Да, они дороги». Он выжидающе посмотрит на меня, но я промолчу. Тогда он пойдет домой. Но на следующий вечер он снова вернется и спросит: «Сколько стоят эти зеркала? Пятьдесят, сто долларов?» — «Может быть», — отвечу я.

— Ральф, — прервала его Эмми.

Он взглянул на нее.

— Ральф, — повторила она. — Почему бы тебе не продать ему одно лишнее зеркало?

— Послушай, Эмми. Я же не учу тебя, как управлять твоим аттракционом.

— Сколько стоят эти зеркала?

— Я могу достать их с рук за тридцать пять долларов.

— Почему ты не скажешь ему, где можно купить такое зеркало?

— Эмми, ты не деловой человек.

Он положил ей руку на колено. Эмми отодвинулась.

— Боюсь у него не найдется денег, даже если бы я и сказал, где купить зеркало. К тому же он самолюбив. Если бы он знал, что я за ним наблюдаю, он никогда бы не пришел сюда снова. Он притворяется, что ходит сюда, чтобы развлечься, как все остальные люди. Он всегда приходит к концу дня, когда уже мало посетителей. У него нет друзей. А если бы они у него, даже и были, он никогда не попросил бы их купить такую вещь. Гордость! Я, наверно, один знаю его тайну.

— Я ужасно себя чувствую. Мне жаль его. Интересно, где он живет.

— Наверное, в какой-нибудь дыре.

— Мне его ужасно жаль,— повторила она.

Ральф усмехнулся.

— Эмми,— процедил он,— ты всегда шутишь.

Теплая ночь, жаркое утро и палящий полдень. Море похоже на блестящий лист фольги. Эмми медленно шла по аллее, стараясь держаться в тени. Подмышкой она держала журнал. Эмми открыла дверь и позвала:

— Ральф!

Он лениво поднялся с раскладной кровати.

— Ты выглядишь, как кошка, которая съела канарейку,— протянул он, зевая.

— Ральф, я сейчас узнала о нем очень интересную вещь.

Она протянула ему журнал. Ее глаза сияли.

— Оказывается, он писатель. Только подумай!

— Сегодня слишком жарко, чтобы думать.

Ральф снова лег, полускрыв глаза.

— Я проходила сегодня мимо по Брэдфорд Стрит и встретила мистера Грили. Он мне сказал, что машина целыми днями стучит в комнате мистера Бига¹.

— Его так зовут?! — Ральф разразился смехом.

— Он пишет детективные рассказы,— продолжала Эмми, не обратив внимания на реплику Ральфа.— Один из них я случайно нашла в журнале, который купила у букиниста. Как интересно, Ральф.

— Я устал, Эмми.

— Оказывается, у него такая же душа, как и у всех остальных людей. Голова у него устроена так же как у нас.

— Почему он не пишет для центральных журналов?

— Может быть, потому что боится попробовать свои силы. Это бывает. Люди часто не верят в себя. Но если бы он только попытался, он смог бы поместить свои рассказы в любом журнале.

— Почему же он не может достаточно заработать?

— Возможно, он думает медленнее других. Наверное, ему трудно думать о чем-нибудь другом, кроме того, что он такой маленький. Я сейчас прочитаю тебе выдержку из его рассказа. Сплошная стрельба и гангстеры. Но ведь он написан карликом. Издатели не поверят автору, который не знает того, о чем пишет. Послушай, Ральф.

Она начала громко читать.

— Я карлик и я убийца. Эти две вещи не могут быть разделены. Одно порождает другое. Человек, которого я убил, всегда останавливал меня на улице, брал на руки и пел мне колыбельную песню. Затем он тащил меня к торговцу мясом, ставил на весы и кричал: «Покупайте мясо! Дешевое мясо лучшего качества!» Теперь Вы понимаете, как можно стать убийцей. Я немного опишу свое детство. Мои родители были маленького роста. Конечно, не совсем карлики. Моему отцу достался в наследство маленький дом. Маленькие комнаты, маленькие стулья, миниатюрные картины. Все крошечное. Мир гигантов был далеко. Где-то там, за стеной сада. Бедная мама, бедный папа. Они лелеяли меня как фарфоровую вазу. Они, наверное, думали, что буду жить вечно, держа меня как бабочку под стеклом. Сначала умер отец, затем сгорел дом. Мама тоже умерла. Я остался один в мире чудовищ и титанов, захваченный оползнем действительности, низвергнутый на самое дно. Только через год я немного пришел в себя. Работа в цирке, конечно, была не для меня. Мне не было места в этом мире. А месяц назад новый преследователь вошел в мою жизнь. Он нахлобучил мне на голову шапку и крикнул друзьям: «Я хочу, чтобы ты встретил маленькую жемчужину!».

Эмми остановилась. Журнал дрожал в ее руках. В глазах стояли слезы.

Она передала журнал Ральфу.

— Дочитай до конца сам. Остальное — это уже история убийства.

Ральф отложил журнал в сторону и лениво зажег сигарету.

— Мне больше нравятся вестерны.

¹ Биг — большой (англ.).

— Ральф, ты должен дочитать. Нужно, чтобы кто-то сказал ему, что он должен продолжать писать.

— Если ты ему скажешь об этом, он подумает, что его жалеют.

— Может быть, ты прав. Но это не жалость, Ральф. Просто с ним надо быть особенно тактичным.

Ральф мягко потряс ее за плечо.

— Выброси лучше из головы всю эту чепуху. Я никогда не видел, чтобы ты так волновалась, Эмми. Давай-ка лучше поедem куда-нибудь отдохнуть. Искупаемся, поужинаем, посмотрим фильм — и черт с ним, с этим карликом. Ну как?

— Я знаю, что он другой, — продолжала уже вслух свои мысли Эмми. — У него есть что-то такое, чего нет у нас.

Жизнь сделала его таким, что он подходит только для карнавальных представлений, но он все же этим не занимается. Мы не должны торчать у этих жалких балаганов. И все же мы работаем здесь. Почему же так происходит?

— Ты даже не слушаешь меня, Эмми.

Ей казалось, что голос Ральфа доносится откуда-то издалека. Ее глаза были полуприкрыты, а руки нервно теребили платок.

— Мне нравится твой задумчивый взгляд.

Не отвечая на слова Ральфа, она открыла кошелек, вынула смятые бумажки и начала считать.

— Тридцать пять, сорок долларов. Хватит. Я позвоню Билли Файну и попрошу его послать одно увеличивающее зеркало мистёру Бигу. Да, я должна это сделать.

— Что?!

— Подумай, Ральф, как ему будет приятно иметь дома это зеркало. Могу я позвонить отсюда?

— Звони.

Ральф повернулся и молча хлопнул дверью.

Эмми немного подождала, затем начала медленно набирать номер. Она делала паузы между цифрами. Задержав дыхание и закрыв глаза, она думала о том, как странно быть таким маленьким и получить такой приятный подарок. Специальное зеркало в его комнате, где он сможет отгородиться от мира, спрятавшись за большим изображением, и писать, писать рассказы, выходя во внешний мир только в случае крайней необходимости. Интересно, сделает ли это его счастливым или грустным, великим или смешным? Поможет ли это ему писать или причинит боль? По крайней мере, никто не сможет наблюдать за ним. Каждое утро он будет вставать и улыбаться и кивать самому себе, такому высокому в этом блестящем стекле.

В трубке раздался голос.

— Билли Файн у телефона.

— Ах, Билли! — радостно вскрикнула она.

На набережную опустилась ночь. Океан лежал темный и зловещий под нависшими серыми облаками. Ральф сидел в своем стеклянном гробу, раскладывая пасьянс. Перед ним стояла пепельница, полная окурков. Он не прекратил раскладывать карты, когда она вошла.

— Как твои любовные дела? — спросил он, отхлебнув из бокала со льдом.

— Я купила себе новую шляпу, — объявила она, улыбаясь. — Теперь я чувствую себя нормально. Знаешь почему? Билли Файн пошлет ему завтра зеркало. Интересно, какое у него будет лицо, когда он получит его?

— У меня слабо развито воображение. Впрочем, уж не собираешься ли ты выйти замуж за этого мистера Бига? Интересно. А почему бы и нет? Будешь носить его в чемодане. Когда тебя спросят, где твой муж, ты откроешь чемодан и скажешь: «Вот он». Что-то вроде кларнета. Достанешь его из футляра, поиграешь, а затем положишь на место. Благотворительность — вот как это называется!

— Не проси меня больше приходить к тебе сюда. Лучше быть одной, чем с таким бессердечным человеком.

Ральф глубоко вздохнул.

— Эмми, неужели ты не понимаешь, что не сможешь ему помочь? Он сумас-

шедший и твоя помощь будет означать: «Продолжай быть сумасшедшим, я тебе помогу в этом, парень».

— Заткнись! — закричала она.

Ральф резко поднялся, отодвинул в сторону бокал.

— Посиди пока здесь за меня. Я скоро вернусь.

— Хорошо.

Эмми сидела в будке уже несколько минут. Она вздрогнула, когда начали бить часы. Она прислушивалась к их ударам, перетасовывая карты. Где-то внутри раздавался едва различимый стук молотка.

Наконец, Ральф вернулся. На его губах играла усмешка.

— Что привело тебя в такое хорошее настроение? — спросила она подозрительно.

— Эмми, — ласково начал он. — Нам не стоит ссориться. Так ты говоришь, Библии завтра пошлет зеркало мистеру Бигу?

— Ральф, ты, наверно, хочешь сыграть с ним какую-нибудь шутку?

— Я?

Не глядя на нее, он стал быстро перетасовывать карты. Прошла минута. Единственными звуками были шум воли, тяжелое дыхание Ральфа и шорох карт. Где-то у горизонта мелькали слабые вспышки молний.

— Ральф, так что ты говорил насчет этой поездки на побережье? — начала Эмми.

— Завтра, — отрезал он. — Может быть, в следующем месяце. А может быть, в следующем году.

Она подождала, пока стихнет гром. Ветер то теплый, то прохладный дул с моря. Чувствовалось приближение дождя. Надоедливо тикали часы. Где-то вдали слышалось хлопанье пистолетных выстрелов.

Наконец, он пришел.

Эмми хотела сказать ему, что это его последний вечер, последний раз придется ему прийти сюда, последний раз будет наблюдать за ним Ральф.

— Привет! — крикнул Ральф. — Сегодня вход бесплатный — специально для постоянных посетителей.

Карлик испуганно взглянул на него, затем его маленькие черные глазки забегали и опустились в смущении. Его губы прошептали слова благодарности. Он повернулся и, зажав в руке десятицентовую монету, направился к входу.

— Ральф, — Эмми взяла его за локоть. — В чем дело?

Он ухмыльнулся.

— Я сегодня в благодушном настроении, Эмми.

— Ральф, — повторила она снова.

— Тише, — прошептал он. — Слушай.

Пронзительный крик разорвал гнетущую тишину перед грозой. Там, в маленькой комнате, уставленной зеркалами, истерически рыдая, беспорядочно метался карлик. Наконец, он выскочил, и бросился по набережной.

— Ральф, что случилось?! — воскликнула Эмми.

Не отвечая, он смеялся и хлопал ее по бедрам.

Она ударила его по лицу.

— Что ты наделал?

Он продолжал смеяться.

— Пойдем, я покажу тебе.

Теперь она металась от зеркала к зеркалу, видя изображение истерической женщины, за которой двигался улыбающийся мужчина. Зеркала были заменены. Эти новые зеркала превращали нормального человека в карлика. Эмми стояла перед ними и думала, во что же превратили они карлика, крошечного карлика, испуганного и одинокого.

— Ральф, почему ты это сделал? — спросила она.

Не получив ответа, Эмми стремительно выбежала на набережную, метнулась в одну сторону, в другую и остановилась в замешательстве. Ральф стоял сзади, пытаясь что-то объяснить. Но ей казалось, что его голос доносится откуда-то издалека.

— Не обращай ко мне! — крикнула она.

Раздался топот чьих-то ног. Это был мистер Келли из тигра.

— Вы не видели Карлика? Он утащил заряженный пистолет. Вы не можете мне найти его?

Келли ушел, оглядываясь по сторонам. Эмми взглянула на Ральфа так, как будто они были случайные прохожие, столкнувшиеся на углу.

— Пойду поищу его,— бросила она.

— Ты сейчас не способна на разумные действия.

— Все же я должна попытаться. Боже, это я во всем виновата. Я не должна была звонить Билли Файну. Тогда бы ты не сделал этого. Теперь я должна найти его.

Перед ее глазами стояло изображение Ральфа, отраженное в зеркале. Эмми не могла отвести от него глаз.

— Эмми, что с тобой?

Он понял, куда она смотрит. Его глаза в ужасе расширились. Безобразный маленький человек, ростом не более двух футов, с искаженным и бледным лицом, в упор смотрел на него, сжимая в руке непомерно большой пистолет.

Перевод с английского А. Берга и В. Обухова.

Галина СЕРЕБРЯКОВА

О ДРУГИХ И О СЕБЕ

Новеллы

«Занимаясь историческими исследованиями, мы удерживаем душой память о лучших и самых признанных характерах, и это позволяет нам решительно отвергать все скверное, безнравственное и пошлое, с чем сталкивает неизбежно общение с окружающим миром и обращать умиротворенный и успокоенный взор и мысль только на образцовое».

Плутарх. Сравнительные жизнеописания.

Факел от Прометея

Я смотрел на женщину среднего роста с гордо посаженной на легкие плечи головой, на согретое большим чувством, живое смуглое лицо, вслушивался в ее речь.

— Серебрякова, Галина,—представилась она.

— А я думал вы совсем другая...

— Какая же? — с интересом спросила она.

— Представлял вас ученой дамой в очках.

Галина Иосифовна улыбнулась.

— Немудрено...

Здороваясь с давно знакомыми ей товарищами, она шутила, звонко смеялась. И мы все забыли, что Галина Иосифовна Серебрякова прожила тяжелую жизнь.

Мать Галины Серебряковой—Бронислава Сигизмундовна в царской России сидела в тюрьме, была в изгнании. О ней справедливо говорит писательница: «Нена-

висть к царизму, цель — свобода и пролетарская революция—давали этим людям могучие силы. Мать была счастлива. Ни тюрьма, ни суды, ни изгнание не могли ослабить ее. Это был добровольный, желанный жребий».

Галина Серебрякова была и, несмотря ни на что, осталась коммунистом. Мать и отец ее были профессиональными революционерами, от них она и унаследовала стойкость характера и волю к борьбе.

Позднее я видел фотографии совсем молодой на редкость красивой женщины, впечатленной за несколько лет до ареста. Смотря на нынешнюю Серебрякову, стройную, с горячими черными глазами, обаятельную улыбкой, я спросил:

— Что вас поддерживало там?

На миг только она задумалась:

— Он, Прометей... Если бы я не знала

его жизни, если бы я не знала его учения, я бы не выжила...

Вспоминаю, сверстники моей юности читали «Чапаева» Фурманова, «Цемент» Гладкова, «Неделю» Лебединского. Мы жадно впитывали в себя все, что узнавали о Марксе и Ленине. Увлекались книгой Ярославского о В. И. Ленине. Читали мы и «Юность Маркса» Галины Серебряковой. Она, наша ровесница, участвовала своей интересной книгой в воспитании поколения, которому пришлось строить социализм и участвовать в Великой Отечественной войне против гитлеровской Германии. Вспоминая, с каким увлечением я тогда читал роман «Юность Маркса», не могу не сказать — книга оставила глубокий след в моем сердце и была участницей формирования мировоззрения молодежи моего круга.

2

Приехали мы в Перedelкино на дачу Серебряковой.

Просторная веранда, заставленная цветами, — здесь зимний сад. В доме комнаты разной окраски, но все светлые. Кабинет. Под стеклом в рамке вырезка из «Правды» с фотографией: Горький и ныне уже маститые советские писатели, среди них Серебрякова.

— Эта фотография мне очень дорога, — говорит она. — Горький мой учитель, наставник. У Алексея Толстого мы учились великому русскому языку, а у великого Горького всем тайнам мастерства. Он не жалел времени на чтение наших, часто несовершенных произведений и делал это так тщательно, что исправлял даже грамматические ошибки и знаки препинания.

Мыслью написать роман о Карле Марксе Галина Серебрякова поделилась с Максимом Горьким.

— Однако трудненько такую глыбину поднять, — с нескрываемой озабоченностью сказал он.

— Я попытаюсь...

Многоопытнейший, всеми признанный великий писатель задумался. Представляю, как он пытливо всматривался в молодую писательницу, взвешивал ее возможности.

— Похвально, но трудно, невероятно трудно, — говорил он ей.

Писать об основоположнике марксизма действительно невероятно трудно. В его жизни нет пикантных подробностей — дешевой занимательностью писатель не имеет возможности отделаться. Черпать

романтику можно только в его суровой жизни, в его безмерно великой революционной деятельности.

Максим Горький советовал Галине Серебряковой:

— Не забывайте, в исторической прозе, в описании событий, обстановки, бытовых деталей должны быть величайшая точность и правда.

Покачивая седой головой, Горький сказал тогда ей:

— Пишите. Нужно писать так о Марксе и Ленине, чтоб за мрамором памятников встали во всем величии живыми эти люди.

Максим Горький знал жизнь молодой Серебряковой, полной революционной романтики. Летом 1919 года она вступила в ряды комсомола, а осенью — в партию. После шестинедельных курсов сестер-санитарок тайком уезжает на фронт, оставив матери записку: «Мама, не волнуйся. Еду в 13-ю Красную Армию. Хочу воевать. Твоя Галя». В грозный для страны год 13 армия занимала позиции под Тулой. Серебряковой тогда было четырнадцать лет, она боялась, что война кончится, и торопилась принять участие в защите молодого Советского государства.

На фронте молодую Галину потянуло к перу, она пишет пьесу, плохую, как она говорит, но она была первой искрой таившегося в ней таланта.

— Тогда я еще не знала, — говорит она, что рождение значительных произведений стоит большого коша крови и пота.

После фронта Галина Серебрякова поступает учиться на рабфак, а потом в медицинский институт. Она изучает труды Маркса, Энгельса, Ленина, увлекается историей развития рабочего движения, историей революционной мысли. Накопленные знания позволили ей пылливо взглянуть на народы Англии, Франции, Германии, где она побывала в качестве корреспондента центральных газет.

3

За границей Галина Иосифовна встречается с широко известными в мире литераторами и общественными деятелями. Она подолгу гостит у супругов Вебб, у Бернарда Шоу, беседует с политическими деятелями Западной Европы. Масса впечатлений. Острый ум писательницы выкристаллизовывает образы революционеров, либералов, оппортунистов, людей высокой чести и преданности идеалам и людей коварных, интриганов и льстецов... В будущей работе все это писательнице понадобится.

Начала она свою литературную деятельность в 1925 году с очерков о Китае. Они составили ее первую книгу «Зарисовки Китая». Вскоре выходит ее книга очерков «Пестрая Бухара», печатавшихся в «Известиях» и журнале «Красная новь», а в 1929 году «Женщины эпохи французской революции». В 1932 году эта книга издана

в числе ста лучших книг советской литературы, выпущенных к пятидесятилетию Советского государства.

«Женщины французской революции» издается в 1931 году в Англии с предисловием Беатрисы Вебб.

В Англии издан «Дневник Беатрисы Вебб». В дневнике встречаются записи о Галине Серебряковой. «Она восточного типа, очень симпатичная и талантливая... восприимчивая и чувствительная — одним словом «художественная натура». Вебб записывает, что она не агрессивна, но очень тверда «в своей приверженности большевизму во враждебном мире».

Из Лондона Галина Иосифовна писала очерки в «Известиях», там их публиковали под псевдонимом. По возвращении была издана книга «Очная ставка» и стал известен подлинный автор, выступил и метал громы и молнии тогдашний премьер-министр британского правительства Чемберлен.

Новая книга Галины Серебряковой «Юность Маркса» переводится на восемь языков, в том числе на немецкий. Книгу сжигают на кострах фашисты гитлеровской Германии.

Галина Серебрякова готовится к написанию второй книги о Марксе — «Похищение огня».

— Я «заболевала» своей темой. Увлечение ею было так велико, что я видела сны, связанные с той или иной сценой из жизни моих героев и как бы переселялась в XIX век...

4

Но... Как некстати для такого яркого таланта «но».

Галина Иосифовна рассказывает неторопливо со склоненной головой, грустная. Что и говорить, слишком много горя и страданий для одной жизни...

Двадцатый съезд Коммунистической партии Советского Союза осуждает культ личности Сталина, вскрывает с беспощадной силой его пороки...

У Галины Иосифовны мы однажды встречались с Шостаковичем Дмитрием Дмитриевичем. Они знакомы с юных лет, еще тогда композитор оценил голос Галины Иосифовны. С ней занимался Голованов, Ф. Ф. Комиссаржевский, итальянец Манлио Дивероли, наставницей ее была Нежданова. Не отсоветуй Максим Горький, она могла стать солисткой Большого оперного театра. Сейчас, вспоминая те годы, Галина Иосифовна говорит:

— Хорошо, что не стала певицей, в тюрьмах и ссылке все равно пропал голос.

Но к оперному искусству она привязана крепко, ее музыкальная одаренность поз-

волила открыть замечательную казахскую актрису. Галина Иосифовна находилась в ссылке в Семипалатинске, там преподавала в городской музыкальной школе. Однажды на концерте художественной самодеятельности она услышала Бибигуль Тулегенову.

— Вам надо учиться, приходите ко мне, — сказала она восемнадцатилетней девушке.

— У меня нет денег. Я работаю разнорабочей на мясокомбинате, а мама уборщицей.

— Приходите, я с вас денег не возьму. Скупные были тогда достатки писательницы, но она поделила свой бюджет с талантливой казашкой. В большой семье Галины Серебряковой она была принята как родная дочь.

Три месяца занималась Галина Иосифовна с Бибигуль Тулегеновой, за это время голос ее окреп, она научилась им управлять. Ученица оказалась на редкость одаренной личностью, не имея среднего образования, она поехала держать экзамен в Алма-Атинскую консерваторию, там спела на итальянском языке две арии.

Однажды Галина Иосифовна приехала к нам на дачу с красивой молодой женщиной.

— Как тебе нравится шемаханская царица? — спросила она меня. — Это и есть моя семипалатинская ученица, ныне народная артистка СССР Бибигуль Тулегенова.

Роман Галины Серебряковой «Прометей» получил народное признание. Характерный пример. На собрание сочинений Галины Серебряковой подписалось семисот тысяч человек.

Галине Серебряковой удалось показать нам Маркса человеческим из человеческих. Она подметила катящуюся по его щеке и затерявшуюся в бороде скрупулезную и глубокую морщину, которая после смерти сына пересекла его лоб. Писательница нам донесла через столетие его улыбку, его нежность к другу всей своей тяжелой жизни — Женни. Мы увидели Маркса, поднимающего кружку пива, и искристый взгляд, обращенный к друзьям... Многие стало зримым.

Роман «Прометей» воссоздает картину рождения гениального «Капитала», «Классовой борьбы во Франции», тезисов о Фейербахе. Мы узнаем то, чего не было написано в этих произведениях, обогрешших планету, как ласковая весна.

Прочитав ее новый роман «Предшественник», я увидел, что это роман о коммунистах Франции, Англии, России, Польши, Италии, роман о мировом социалистическом движении. Если бы роман был только об Энгельсе, она исказила бы образ соратника Маркса. В романе Энгельс с революционерами, революционеры с ним.

Энгельса мы видим в этом романе беззаветно преданным дружбе Маркса, неустрашимым и гениальным и каким скромным.

Мне доставило огромное удовольствие встретиться в романе с Верой Засулич, Степняком... Хорошо, что они показаны революционерами чистой воды, но с за-

блуждениями, правдиво, исторично. Трогательный и романтический образ Анны Бах выписан Галиной Серебряковой с исключительным художественным мастерством.

Галина Серебрякова еще девочкой по-

шла к Прометею. Путь к нему оказался длинным, трудным, тернистым, но до Прометея она дошла и зажгла свой факел от его огня. Это подвиг ее жизни.

С. НОВИКОВ

ЕВГЕНИЙ ВУЧЕТИЧ

В Италии я торопилась увидеть бессмертное олицетворение вечной юности — в Давиде — и философской мощи старости — в Моисее Микеланджело. Рассвет и закат, старость и мышление, приход и уход, суть жизни и смерти терзали неистового, противоречивого и великого, как Бетховен в музыке, флорентийского ваятеля.

Пером или звуком, кистью и резцом воплощает гений свой замысел, мечту, тоску и радость — все, что созревает в нем для отдачи, как электрический заряд в грозовой туче.

«Прекрасны скульптуры Кановы в римской вилле Боргезе, совершенны в своей красоте творения безмянных античных ваятелей в флорентийских дворцах и музеях, но все они будто камерная музыка по сравнению с громадной симфонией Микеланджело. Его монументальность, искания, свершения ошеломляют. Тесно было ему на земле, и если обычному скульптору достаточно камня и бронзы для превращения в памятники героям, Микеланджело, вероятно, хотел бы воплотить величие людей и событий, подчиняя себе горы и скалы. Такова душа ваятеля.

Художники мыслят разными масштабами. Одни, подобно ювелирам, гранят самоцветы, погружаются в изучение деталей и открывают тончайшие, как крыло бабочки, душевные покровы, другие разрезают пласти земли и рвутся в небо...

Я познакомилась с Вучетичем в Берлине, когда шла по Трептов-парку к статуе советского воина, держащего ребенка у груди.

Видимо, чувства, поднимающиеся в нас при чтении замечательной книги, у картины большого художника, во время исполнения совершенного спектакля или истинно превосходной музыки, чем-то сходны. Волнение, глубокая поглощенность, когда забываешь о самом себе и подчиняешься магической воле, — такое волнение испытала я, двигаясь навстречу гармоничнейшему творению. Мать-Родина, коленопреклоненный воин, аллея саркофагов в своем вечном отчаянии и молчании более громко, чем вопль, с пугающей силой перенесли меня на порог сражений всех веков, — так велика сила обобщения у Вучетича. И только победивший солдат с ребенком над братской могилой как бы вернул мне понимание того, что война, о которой рассказывают изваяния, была спасительной для планеты.

Полностью книга выходит в издательстве «Советский писатель».

Этот памятник, ставший доподлинно народным, увековеченный из медали в ознаменование 20-летия победы над фашистской Германией, на серебряном рубле, на множестве эмблем, естественно, возбуждал во мне глубокий интерес к его создателю.

Монументальная скульптура, бессловесная симфония печности, покоряет нас с детства, мы учимся понимать искусство древних Эллады и Рима, Египта, Индии, Китая, Бирмы и Вьетнама.

В дереве, камне, бронзе она переходит как святые из поколения в поколение, становится предметом поклонения и вдохновляет человечество.

Мы мечтаем о древнем Ниле, навсегда очарованные Сфинксом, мы восхищаемся пагодами с редчайшими изваяниями так же, как языческими храмами более поздних времен, где стояли мраморные боги и герои, научившие нас понимать и любить прекрасное, созданное гением человека.

...Превосходным кажется мне исполненный Вучетичем монументальный памятник генералу Ефремову в пропитанном кровью героев многострадальном городе Вязьме.

Сульба прославленного полководца хорошо известна народу. Командующий 33-й армией Ефремов, несмотря на тяжелое ранение, продолжал стоять насмерть, а когда угроза плена приблизилась, последней пулей убил себя. То было в тяжелейший первый год войны.

У каждой скульптуры, как и у книги, есть своя цель, идея. Вучетич легко достигает того, к чему стремится. Он создал великолепную оду бесстрашию и патриотизму, героической самоотреченности, победе над страхом и смертью.

Ефремов свято соблюдал традиции Суворова и с солдатами держался на равной ноге. Раненный в бою, он продолжал сражаться, преодолевая острую боль. Перед скульптором встала нелегкая задача воссоздать образ воина именно так, чтобы каждому было видно, как подавляет он железной волей страдание.

Вучетич рассказывал об этом мне сам:

— Вот зачем я ввел в композицию солдата, который поддерживает физически слабейшего командира. Чтобы острее передать напряжение боя и готовность погибнуть, но не сдаться оказавшейся в окружении группы смельчаков, пришлось изваять еще нескольких бойцов. Солдат приготовился бросить свою последнюю гранату, автоматчик отстреливается от наседающе-

го с тыла противника в тот момент, когда

Ефремов рвется вперед. Но этого оказалось недостаточно. Главное дается нелегко. Все останется мертвым, если скульптор не найдет идейно-художественный стержень, глубинную сущность произведения. Тут-то и начинаются бессонные ночи, постоянно терзающее беспокойство. На помощь мне пришли память, опыт. Из подсознания встали, казалось, забытые фронтовые эпизоды. Наступление. Подле меня упала и взорвалась мина... Осколки ее пробили мою шинель, но смертельно ранили юного лейтенанта. На мгновение я остановился... И вот он воскрес: передо мною с запавшими стекленеющими глазами, как бы видящими что-то очень значительное, скрытое от меня. Чего он хотел? Последнего выстрела. Я видел, как силится он поднять пистолет, но рука безнадежно отяжелела... Так появилась пятифигурная композиция, и памятник нашел для меня свое смысловое значение. Постоянная борьба и победа жизни над смертью.

В этом признании весь сжигаемый творческим огнем Вучетич.

Ленин подписал декрет о монументальной пропаганде через несколько месяцев после победы Октября, предложив средствами искусства донести до народа величие наших дней. В монументах Владимир Ильич увидел могучих просветителей, возвращающих мысль к подвигам истории, к подвижникам в революции и науке. Он знал, что любовь к искусству — путь к культуре.

Немало отличных скульпторов появилось на советской земле, и каждый из них отличается своим особым видением и манерой созидания.

Таковы Томский, Кербель и другие, близкие знакомому народу и полюбившиеся ему. Им, маститым, на смену поднимается славная рать молодых ваятелей.

Вучетич, подобно В. Мухиной, смело расширяющий пошлость и стандарты, посвятив свой талант героике. Его мучительно влечет достижение не только внешнего сходства, этого подобия действительности, но раскрытие внутренней сущности людей и событий. И он достигает больших высот. Самое трудное в искусстве — заглянуть в глубину вещей, а не описать их.

Репин некогда говорил, это передавал мне его ученик, художник Вербов, что невозможно создать портрет, если смотришь на глаза, а не в глаза.

Вучетич будто сам символически награждает препятствия на своем творческом пути, чтобы затем на них испытать всю свою силу, преодолев и победив их. Таков солдат у подножия монумента Победы в Волгограде.

В каждой мышце героя, олицетворяющего непобедимую энергию советского человека, — трепет вечной жизни, пренебрежение к смерти. Пусть сломено ружье и в руке последняя граната, — он неизбежно победит. А бой все еще длится, и Родина, подвизая меч и повернувшись на запад, зовет советское воинство вперед. Лучшие бессмертные создания античности словно воскресли в этих, исполненных порыва и движения, скульптурах.

Памятник работы Е. В. Вучетича на Волге стал уже местом паломничества. Скромные букеты цветов подле как бы оживших бойцов и матери, склоненной над убитым сыном, красноречивее всех похвал, которые заслуживает этот беззвучный реквием.

Настоящее творение искусства неисчерпаемо и не наскучит векам. Девятая симфония Бетховена и «Война и мир» Толстого... Такая же притягательность в монументах памяти битвы на Волге. Хочется без конца размышлять над каждым изваянием, орнаментом, вязью слов на знаменах, находить небосвод в ротонде пантеона и любоваться прекрасной в своем зажигательном искусстве статуей Родины. Истинно художественное, идущее от великого Проксителя, позднее Микеланджело, торжествует и в наши дни, оттесняя всяческое шукачество и уродство. Произведения монументального искусства создаются на века и проверяются восприятием многих поколений.

Евгений Викторович Вучетич пишет об этом в своей книге «Художник и жизнь»:

«Монументализация — это, прежде всего, очень широкое обобщение...

...Изображая те или иные явления жизни, создавая образ человека, раскрывая его чувства и стремления, показывая его в различных жизненных ситуациях, художник, вольно или невольно, всегда дает оценку изображаемому...

В монументальной скульптуре запечатлеваются на века самые благородные, а значит, и самые красивые дела той или другой эпохи, в силу чего памятники должны быть обязательно художественно прекрасными...

И чем больше советский художник подчеркивает в герое народные черты, тем больше он раскрывает присущее народу подлинно героическое, потому что героизм народа — понятие несоизмеримо более широкое, чем понятие героизма отдельной личности».

Вучетич, будучи замечательным скульптором, создателем монументальных композиций, в то же время тонкий портретист. Его светлые, покрытые очками, глаза цепко вглядываются в каждого нового человека и мгновенно схватывают наиболее характерное. Беглые штриховые портреты Вучетича убеждают в остром и пронизательном уме художника. Рисуя, Евгений Викторович как бы уясняет себе образ, и, когда начинает лепить, кажется, что он уже почти не смотрит на позирующего ему человека. Легко и быстро мнет он глину и, будто шутя, бросает ее. Но вот из-под его крепких и чутких пальцев вырисовывается человек. Ничто не укрылось от ваятеля. В этом даре прозрения души Вучетич близок Вере Мухиной. Похожи они и в манере работы.

Беликолепн созданный Вучетичем эскиз памятника битве на Курской дуге. Лишь неоглядная фантазия, могучее воображение, беспечное сердце и талант могли создать столь новаторский монумент.

На широкой равнине, где ничто не мешает солнцу созерцать триумфальный обход, столкнулись, поднялись две огромные глы-

бы, две силищи, и одна из них под мощью другой сломилась и вот-вот рухнет. Эти силищи образовали таинственную арку из тысяч моторов, танков и орудийных дул. Но фашизм обречен. Победа осталась за нами. Как Антей, припавший к Матери-Земле, рядом с памятником спит утомившийся юный танкист с лицом былинного богатыря. Бой кончен, ничто не мешает его отдыху, но такое спокойствие и уверенность в этом современном Илье Муромце, что стоит ему открыть глаза, подняться—и врагу не совладать с русским исполином.

Неожиданно и смело пользуясь национальным колоритом и предельно обобщив свой замысел, творит Вучетич.

Убежденный реалист, он и в беседе напоминает мне Веру Игнатьевну Мухину, Евгений Викторович блестяще знает анатомию человеческого тела и любит повторять известные слова Полликлета о том, что самое трудное в скульптуре—это довести работу до ног. Он вспоминает, смеясь, как еще в начале 30-х годов некие экспериментаторы в художественных вузах пытались обучать студентов «лепить... допалтой».

Постоянная ненасытность в поисках творческого совершенства, стремление преодолеть неподвижность формы, пере-

дать движение в бетоне и камне, упорные поиски новой символики и аллегорий, достижение трагизма и жизнеутверждения—все это сопутствует труду Вучетича и ведет его от победы к победе. Его замечательные работы известны всему миру, и последнее достижение его резца—величественный памятник-ансамбль героям Сталинграда—получили огромное признание: скульптору присвоено звание Героя Социалистического Труда. Это большая радость.

За многие годы жизни Вучетич постоянно обращался к образу Ленина и создал галерею портретов творца Октябрьской революции. На одном из них Ленин прикрывает глаза рукой, он погружен в глубокое раздумье. Гениальная голова Владимира Ильича, его могучий лоб сами по себе необычайно значительны и скульптурны. Вучетич изваял их как венец мышления. Полна жизни и рука Владимира Ильича. Она—вся действие, вся движение. Ильич Вучетича—наивысшее выражение духовной жизни целой эпохи...

Народ любит скульптора Вучетича, потому что в его искусстве бьется сердце нового мира, новой России. А залог бессмертия в творчестве—единение художника с народом.

Б. В. ЩЕРБАКОВ

Много лет подряд над моим рабочим столом висел автопортрет замечательной художницы Зинаиды Серебряковой. Моя однофамилица рисовала себя в зеркале. Никогда не задумывалась я над тем, чем нравится мне эта картина, светлая, правдивая, мастерски выполненная по краскам, композиции, тончайшему реализму.

Подобно музыке, живопись вошла в мою жизнь в детстве. Родные жадно впитывали все впечатления мира и, казалось, не могли насытиться прекрасным, тем, что щедро дарует именно искусство. Не только в театры, на концерты, но и на выставки картин и скульптуры водила меня мать, постепенно приучая любить творения кисти и резца. Строгие залы музеев и картинных галерей создавали иное настроение, нежели театр и консерватория. В них была торжественность храма и хотелось говорить только шепотом. Наслаждение красотой требовало молчания и сосредоточенности. Живопись понятнее музыки. Путь к ней прокладывают рисунки к сказкам, весь быт ребенка.

Передвижки взлелели умами поколения, к которому принадлежала моя мать. Репин был для нее так же дорог, как Мусоргский и Гольцкий. Репродукции картин Александра Иванова, Врубеля, Левитана встречались мне на всех дорогах детства. В кабинете отца со стены на меня смотрел лохматый, седой «Пан», а смежив веки я часто вижу и теперь «Осень»—над пианино,

которое лучше других на земле познало душу моей матери.

Вернувшись в Москву с гражданской войны в 1920 году, в шинели, сапогах и старой буденовке, я отправилась с поэтом Арго, словоохотливым, образованным и добрейшим человеком, в национализированный особняк купца Щукина, в одном из приарбатских переулков, где находилось богатейшее собрание картин новейшей западной живописи. Там было холодно илюдно. Чудесная новь открылась нам. Искусство импрессионистов очаровывало. Нас согревали полотна Гогена, потрясал яростным реализмом Ван-Гога, радовали Дега и Ренуар.

Большие знания и щедрость Арго помогли мне разобраться в этой неведомой ранее области человеческого гения. Но принимая сердцем творчество замечательных французских художников, я с ожесточением, как кошунство и невежество, смотрела на шукачество различных «истов», которыми в те же годы кишила Москва.

В конце 20-х и начале 30-х годов мне пришлось часто, иногда издалго, ездить за рубеж. С неутомимостью молодости и здоровья, я посещала музеи и салоны живописи, весьма многочисленные во Франции и Италии. Приобретаемые знания расширяли представления о виденном. О многом заставил меня думать великий Леонардо да Винчи, но покоренная его рисунками, образом святого Иоанна, я тщетно пыталась понять и восхититься Монной Лизой. Добро-

совестно сидела подолгу в Лувре перед этим признанным шедевром, стараясь постичь, что же так пленяет человечество в этой безбровей даме? Так и не снизошла на меня благодать понимания. Но другие картины все больше влекли меня к себе.

С годами раздвигаются границы нашего разума и чувств, ширятся грани и множится перечень полюбившегося нам в музыке, литературе, скульптуре и живописи. Наивнее кажется мысль о выборе одного, главного имени и произведения в искусстве. Можно ли отказаться от Бетховена ради Берлиоза, Бизе, отдать предпочтение Мусоргскому перед Римским-Корсаковым или Бородиным? Все они неотделимы, как звезды, образующие Млечный Путь или созвездие Большой Медведицы. Все они, как лучшее в природе, сотворяют жизнь в самом высоком, желанном неисчерпаемом ее значении.

Из них, многих, прославивших и возмечивших все области науки и искусства, так же как небо, море, лес, горы, образовалось то, что так дорого нам на земле — жизнь, освещенная сознанием, видением, мышлением, словом.

Есть некие единные законы для творческих работников и первый из них — труд. Пишет или писатель, актер или художник, стремящийся к совершенству, не смеет бездействовать, остановиться. Остановка означает движение назад. Время неумолимо подгоняет нас только вперед.

В 20-х годах я часто бывала в маленьком домике близ Серпуховской площади, где вся мебель, даже часы-кукушка были сделаны руками хозяина — художником-графиком Иваном Павловичем Павловым. Этот редкий самородок говорил мне, мастера что-нибудь и во время беседы, что безделье — смерть таланта. Ученик Репина, известный художник Вербов, вспоминал, что более двух лет учитель требовал от него воспроизведения только одних человеческих глаз.

— А до этого я несколько лет учился анатомии и мучительно добивался, чтобы ступня и руки жили полнокровно на полотне, — признавался он мне.

Миф о Пигмалионе и Галатее бессмертен и приложим к любой ветви искусства. Наивысшая вершина творчества — воссоздание жизни из мечты.

Борис Валентинович Щербаков — неистовый Пигмалион, жаждущий вдохнуть жизнь во все, что им создано, будь то портрет, пейзаж или жанр.

Впервые я познакомилась с работами Щербакова на его выставке, посвященной Ясной Поляне, Пушкинским и Тургеневским памятным местам. И сразу же обрадовалась встрече с одухотворенным большим мастерством, с итогами страстного поиска, труда и счастливых достижений. Быть верным великим традициям, идущим от древности, от жизнесозидающего реализма всегда трудно. Неискушенный человек легко поддается блеску подделок, шуму реклам и сенсаций. Неуверенность в знании предмета ведет к робости и даже страху прослыть отсталым ретроградом. Мещанин хочет быть впереди моды, а моды переменчи-

вы и не всегда в ладах с красотой. Щербаков смело, как надлежит истинно талантливому человеку, несет через всю свою творческую биографию один идеал — востановленный реализм. Художник прошел сложный, многолетний путь ученичества и, верный традиции великих художников мировой живописи, прежде чем попытаться вдохнуть жизнь в свои творения, терпеливо, упорно учился владеть свободной кистью, как певец голосом; а музыкант инструментом.

Сын художника — академика, Щербаков сизмала вдыхал терпкий запах красок, учился секрету их соединений, рисовал натуру, борясь с бесчисленными препятствиями на дороге к совершенству. Но барьеры существуют для того, чтобы испытывать силу. Он преодолевал их один за другим. Годы шли на то, чтобы воссоздать виденное. Сначала это походило на копирование, но Пигмалион мог оживить Галатею лишь тогда, когда она стала под его резцом совершеннейшей из женщин.

Щербаков, человек весьма образованный, настойчиво и уверенно шел к намеченной цели. Он учился у классиков мировой и русской живописи. Когда школа была им закончена, он смог броситься в пучину поисков. Его глубоко интересовали природа и человек. Одна и та же мысль главенствует над всем, что он пишет: про иконо-вение в тайное тайных бытия и обнажив сущность создание не подобия, а самое жизни.

Лес, чуть влажный под вечерней росой, пруд с колеблемой ветром мутноватой водой, затихший и скорбный дом в Ясной Поляне (так и чувствуется, что гений ушел из него навсегда), шаткий мостик над прудом в Михайловском, поля в Спасском-Лутонинове — все это живет и дышит, волнуется не только на цепной реакции воспоминаний. Такими же были эти места в те дни, когда смотрели на них Пушкин, Толстой и Тургенев. Естественное волнение испытываешь на выставке Щербакова. Горячая рука водила кистью, воспроизводящей в настоящем дорогое нам прошлое. Многое меняется с веками, но неизменна природа и так же, подобно заре, тревожа воображение, розовело гречишное поле и сто лет назад.

Когда на картине Щербакова видишь туман, поднимающийся в сумерки над бором, нелепо ежишься от подступившей прохлады. Мастер перспективы и света, он воссоздает восходы и закаты, и магически погружает дуга в предзакатную мглу. Его деревья живут и шепчутся под солнцем.

В век цветных фотографий и кино немало художников мечутся, шарахаются прочь от воспроизведения природы, стремятся к созданию новых недостижимых для техники форм. Мне довелось услышать от одной знакомой художницы, что ее вдохновляют для орнаментов снимки, сделанные с бактерий над микроскопом.

— Все остальное живое на Земле уже устарело, — сказала она мрачно.

— Но и окрашенные на стекле бактерии тоже жизнь, — ответила я ей.

Дубы и клены, перелески и дужайки, заводи и ручьи, извечно прекрасные пейзажи центральной полосы России, не раз вдохновляли художников и, однако, остаются неисчерпаемым кладом для искусства, как народная песня, гениальные симфонии Калинникова, Чайковского, Мусоргского, как поэзия Есенина.

С далеких тридцатых годов, когда А. М. Горький познакомил меня с Павлом Корниным и я впервые увидела его творчество, этот вдохновенный тонко чувствующий, лирический, многодумный и страдавший большой художник стал мне очень дорог и душевно близок. В работах Щербакова я нашла многое, что роднит этих двух мастеров разных поколений, но одной направленности, честной искренности и бескомпромиссной правды жизни.

В портретах кисти Щербакова я ощущаю затаенную пылкость, творческую напряженность и муку, блаженство постижения. Через труд — к радости!

Особенно, думается мне, удалась ему портреты Г. М. Кржижановского, бессмертного друга Ленина, этого ученого и поэта, отчаянного коммуниста-борца и застенчивого читателя, а также народных артистов Кочарьяна и Жильцова, поэта С. Смирнова, академика Скобелкина. На полотне отражены характеры и судьбы этих людей.

Портрет К. А. Федина закончен пятнадцать лет тому назад, но годы не стирают основных внутренних и внешних черт человека. И художник знает это. Портрет не стареет, как любая фотография. Щербаков навсегда запечатлел вдумчивую и пылкую серьезность очень светлых глаз Фе-

дина, волевой склад художавого лица, сложность и душевный накал этого внешне весьма сдержанного мыслителя-писателя.

Портреты Щербакова глубоко индивидуальны, как и те, кого он рисовал. В этом сказывается большое реалистическое искусство. Только обездушенные формалистические рисунки приложимы к каждому, так как в них нет сходства с натурой, как и вообще с жизнью.

Есть у Щербакова и жанровые полотна, но в них преобладает главным образом психологическое решение, а не сюжет. Таков его «Непобедимый рядовой». Кряжистый, могучий человек, обожженный войной, не ослабевший, а неизмеримо окрепший в испытаниях, вернулся на пепелище, бывшее некогда его домом. Изборожденное морщинами темное лицо, руки пахаря и бойца символичны. Они так же трагичны, как развалины, пустые поля и одинокое освещенное окно на горизонте. Один из многих рядовой устремлен вперед, в жизнь и достаточно силен для того, чтобы еще раз перекроить мир и победить.

Творчество Щербакова—гимн реалистическому искусству. Картины его обладают счастливой особенностью нравиться со временем больше и больше. К ним возвращаешься и находишь может, и не замеченную ранее глубину и прелесть.

Редко человеческое и творческое разделимо. Талантливые действительные люди, которых я знала, были по большей части, гармоничны во всем: в дружбе, взаимоотношениях с людьми, в быту. Таков и Борис Валентинович Щербаков.

РЕДАКТОРЫ

Воспоминания — тончайшая, как облако или паутина, пряжа памяти. Мифические Парки пряли прочные нити человеческой жизни и наш мозг продолжает их упорный волнующий труд до самой смерти. Какое счастье, что прошлое не исчезает в нас, покуда мы дышим! Издалека доносятся отзвучавшие слова, возвращаются ушедшие навсегда люди.

В начале моего журналистского пути пришла я в самую шумливую, доброжелательную, смеющую редакцию—«Комсомольской правды».

С ее вдохновителем и создателем Тарасом Костровым я познакомилась у себя дома. В ту пору, если автор был нужен, к нему не считалось зазорным зайти и самому главному редактору. Табель о рангах не существовал в среде журналистов, да и вообще, был не в чести.

Каждому, кто видел Тараса Кострова хотя бы единожды, вряд ли можно было забыть его. Рыжеватый шатен с беспорядочной шевелюрой и окладистой бородой, с большим мягким носом толстовского рисунка, с синеватыми глазами, будто два василька, упавшие в стог свежего сена, вы-

сокий, сутулый, нескладный, чисто, но убого одетый, он излучал такое обаяние и ум, что сразу уничтожал всякую неловкость и предвзятость.

— Вы были спецкором в Китае,— сказал он мне.— Напишите нам художественные очерки обо всем, что видели там, да сделайте это познавательнее,—Костров протяжно, скрипуче заканлялся. Кровь бросилась ему в лицо, он побавровел и начал задыхаться, торопливо достал коробку с лекарственными папиретами, закурил одну из них и с трудом выдохнул дым.

«Такой молодой и тяжело болен... Астма... экое страдание»,—думала я.

Вскоре приступ кончился и мы смогли продолжить беседу. Я испытывала чувство неуверенности в своих творческих силах и призналась в этом Кострову, пояснив, что в 13-й армии пятнадцатилетней девочкой написала плохую пьесу и позднее дала себе зарок не браться за художественную прозу.

Костров внимательно смотрел на меня. Бывают глаза, под взглядом которых леденеет и как бы прячется в броню из чувства самосохранения человек. Реже встреча-

ется такой по-настоящему честный и доброжелательный взгляд, под которым естественно падают невидимые душевные запоры и хочется быть самим собой. С Костровым всегда, как на духу, мы, сотрудники газеты, делились сокровеннейшими мыслями.

Мне было двадцать, ему немногим больше, но казался он значительно старше, опытнее, может потому, что был исключительно образован, оригинален в мышлении и темпераментно предан делу, которое вел с большим тактом и знанием людей.

В кабинет Кострова я всегда бежала вприпрыжку, как торопятся в родной, желанный дом. Нередко получала я шуточные записки от Кострова. Одна из них чудом уцелела. На посеребренном бланке с печатным штампом газеты, ее адресом «Москва, М. Черкасский, д. 3/4 и цифрой 192... г.» веселым, размашистым почерком написано двумя чернилами — красным и черным:

«Галина.

Многочисленная рабоче-крестьянская масса СССР ждет с нетерпением твоих статей. Посылаю карикатуру из «Комсом. правды»...

Заказы такого рода Костров часто сопровождал каким-нибудь забавным рисунком.

Обычаи редакции в первое десятилетие были своеобразны. Сотрудники и особенно посетители предпочитали стулманы, столы, подоконники и кипы книг на полу. Маяковский, взобравшись на чей-то письменный стол, как бы чеканя мысль, излагал план своей будущей поэмы «Капитал», на которую вдохновил его гениальный и поэтический, по его словам, труд Маркса. Лариса Рейснер, красивая, большая и величавая, как ожившая античная статуя, привлекала всеобщее внимание, собирала немую дань удивления и восторга. Кольцов всегда появлялся в редакции с ватагой журналистов, вооруженный самым неотразимым оружием — юмором.

Приветливо раскрытые двери привлекали случайных прохожих и не раз во время острого спора или патетического чтения стихов известным поэтом, на пороге комнаты появлялся эзпман, раздраженный тем, что не получил патент на изготовление крахмальных мужских воротничков и пестрых галстуков, извозчик, поругавшийся с седоком, девушка, ищущая рабфак.

Шум в комнате прекращался, когда начинал говорить Костров. Авторитет его был непререкаем. Он внушал его людям незаметно, без всякой заданной цели. К нему нельзя было относиться иначе. Казалось, он всегда находился в редакции и, однако, успевал учиться и размышлять, как только думается наедине с книгой или самим собой. Превосходно зная и цитируя по памяти многие положения Маркса, Энгельса, Ленина, он удивлял нас блестящим и оригинальным отношением к творчеству Герцена, Чернышевского, Писарева, Белинского. Свободно и уверенно говорил Костров о классической и о молодой советской литературе, а как-то на хорошем французском языке прочел наизусть стихи Мюссе

и Бодлера. Он был разносторонне и основательно учен в самых разных предметах. Глядя на его изумительное неизлечимой болезнью лицо, я вспоминала Добролюбова, такого же талантливого и хворого, и ярилась на суровость судеб людских.

Но никогда не слышали мы сотований от Тараса Кострова, который, как бы стремился за короткий срок, отпущенный ему жизнью, сделать как можно больше полезного людям. Любящий препятствия, не обходивший, а преодолевавший их, он был для всех его знавших воплощением жизнелюбия и душевной силы. Газета, подобно каждому из нас, получала заряд его воли. Раньше других и даже меня самой, определил Костров то направление, по которому следует идти мне в литературе. Способности писателя, как всякого работника искусства, редко всесторонни. Один обладает даром слышать сегодняшний день, голос только что прилетевшего скворца, обонять аромат начавшей распускаться сирени, другой, как мифический Акометей, видит прошлое и лишь через него настоящее, он глух к голосам, звучащим рядом.

— Пишите о Марате. Сегодня я встретил моряков с судна, названного в честь великого французского трибуна, но они не знают, кто он и когда жил на Земле. Напишите о нем — именно вам это под силу.

Так задолго до своих «Женщин эпохи французской революции», я написала большую новеллу и назвала ее «Смерть Марата».

В дни бурных дискуссий, идеологических схваток просветительствовать, подниматься над злободневностью и воскрешать минувшие события было непривычно, но Костров понимал, как много поучительного в прошлом, и на полосах молодой газеты перемешались огневые репортажи, отчеты о диспутах с увлекательными рассказами о делах прошедших и героических.

Все это происходило сорок лет назад. А век нынешний — особый и каждое десятилетие — эпоха.

Тарас Костров прожил недолго и умер в начале тридцатых годов от задыхавшей его скарилатины.

За долгие годы мимо меня прошли разные люди, немало достойных и одаренных редакторов газет, попадались также попрамывавшие свое высокое назначение. Одни промелькнули как падающая звезда, а лучшие, подобные Кострову, остались в памяти целого поколения.

Велико значение встречи с значительной личностью, особенно для литераторов. Впечатлительных и зорких. Для начинающих — общение с теми, кому всерьезно они итог первого творческого вдохновения, бывает удачей, а те и белой. Редактор журнала для них — судилище либо исповедальня.

В двадцатых годах у нас постоянно бывал Александр Константинович Воронский, очень талантливый и своеобразный человек. Я еще училась и не помышляла о профессиональном писательском труде. Для меня, друг моего мужа, Воронский был поначалу особенно интересен как давний наш революционер, коммунист, увлека-

теплейший рассказчик, проникновенно чувткий, внимательный к всем кт ювек. Меня пленяла его совершенная простота, любовь к природе и простосердечие, грустная и добрая улыбка. Из рассказов Александра Константиновича, еще до выхода его автобиографических книг, я узнала, что он учился в духовной семинарии. Бурсу Воронский описывал так красочно и умно, как это не удалось даже Помяловскому. Сложным и нелегким было приобщение глубоко верующего в детстве юноши к социалистическим идеям к атеизму. Воронский принадлежал к числу мечтательных, впечатлительных и справедливейших людей. Он не был изъятен от рефлексий, так как повышено советливый, постоянно проверял свои поступки и стремился во всем к совершенству.

Воронский приходил к нам после работы в журнал «Красная новь» и делился всеми тревогами, которые щедро поставляла жизнь и литературские поиски. Его уважительно, как старшего, любили молодые писатели и поэты.

С Воронским пришел к нам Всеволод Иванов, «сибирский самородок». Иванов носил тогда бриджи и серые обмотки, вовсе не идущие к его кряжистой, мощной фигуре. Большое грубоватое и вместе приятное лицо его с зоркими скифскими глазами, казалось давно знакомым по галерее буддийских божеств. Рассказы автора «Похождений факира» были весьма интересны и новы. Бывалый и своеобразно мыслящий, он, впрочем, становился подчас молчаливым, сосредоточенно наблюдающим. Иван Катаев, Борис Пильняк и, наконец, Есенин, все появились в нашем доме благодаря Воронскому. Он, как неутомимый садовод, разстил, берег и радовался новым и новым цветам литературы.

Вряд ли кто-либо мог сравниться с Воронским в знании русской литературы от древности по наши дни, а также в чувстве родного языка. Он знал его тончайше, во всем необозримом богатстве, любил поговорки, прибаутки, крылатые слова. Деревня была ему колыбелью и кладезем эпоса и народной мудрости. Партийная работа сблизила Воронского с Фрунзе и Куйбышевым и тесная дружба связывала их до конца.

Летом 1923 года мы поселились вместе с семьей Воронского в бывшем имении Мартынова, убийцы Лермонтова, по Ленинградской железной дороге. «Знаменское» было разрушающимся дворянским гнездом. Редкой красоты местность, просторный дом над прудом, ветхая церковь с печальными надгробиями и склеп, где схоронен Мартынов и его жена, естественно волновали нас нахлынувшими размышлениями, спаянностью с историей. У Мартыновых, породнившихся с Клейнмихелями, бывал Толстой. Лев Николаевич в своей ненасытимой жажде проникновения в души и поведение людей, с замшелой террасы бросал крестьянской детворе конфеты. Дети дрались из-за лубочки, визжали, барахтались в кустах жимолости, а Толстой, опершись на балюстраду, о чем-то напряженно думал. На заросшем теннисном корте про-

исходили соревнования знатной молодежи, но дамы, затянутые в тугие корсеты, с трудом передвигавшиеся на каблучках узких шнурованных ботинок, предпочитали крокет. Шары терялись под многочисленными оборками и юбками и смех ненатуральный, как платья начала 20-го века, огромные шиньоны и вычурные манеры, звучал под липами, вязами и березами. В парадной зале висели в ряд портреты сестер Мартынова. Стоял там и злобещий бюст Николая I с пустыми глазами и затаенной злой улыбкой в приспущенных углах надменных губ.

В дни, когда Воронские и мы переехали в несколько комнат, служивших челяди и гувернанткам, в мартиновском доме был найден клад, вделанный в полулю стену спальни последнего владельца. Шкатулка с золотыми червонцами, драгоценности, множество серебряных и золотых сервизов, канделябров, собольи палантины и несколько картин великих итальянских мастеров тщательно переписывались и упаковывались прибывшей из Москвы комиссией.

Александр Константинович и я увидели разделенный на десятки ячеек длинный ящик красного дерева. В нем были письма. Несколько дней мы рылись в них с алчностью добытчиков, но кроме пространных и монотонных эпистолярных излияний семейства баронов Клейнмихелей в пору мировой войны, которую они замечали лишь мимоходом, ничего мы там не обнаружили.

Вместе с Воронским, его женой Серафимой и дочерью, восьмилетней пытливой Галей, мы совершали дальние прогулки, находили одиночавшие беседки, заброшенные кладбища и нищенские деревушки.

Александр Константинович, поглощенный своим журналом «Красная новь», критическим перепалкой с Полонским, детски торжествовал, когда мог прочесть нам что-либо выдающееся из портфеля редактора, порадоваться открытию нового имени в литературе. Собирая талантов, всеобщий друг начинающего писателя, он поражал щедростью, искренностью своих чувствований и строгой идейностью. Он бывал неутомим к тому, что могло бы причинить малейший вред общему советскому делу, партии, ради которой ушел некогда из бурсы и бросился в революционный водоворот.

Было в лице Воронского что-то от семидесятников, готовность погнубить, но не унижить свое человеческое достоинство. Иногда в его глазах задерживалась какая-то невысказанная дума, и бывали они скорбными. Ранним и глубоко прачущий чрезмерную чувствительность, он был однако суров и даже фанатичен, когда дело касалось искусства, и никогда не кривил душой в оценках, не шел на уступки. Это создавало для него, как для редактора, часто трудные положения. Воронский не был самонадеян. С сомнениями о том, хорошо или плохо то или иное произведение, он шел только к тем, кого считал, безусловно, непригодными и для него авторитетными судьями.

Воронский восторженно и глубоко любил Ленина. Фрунзе, Куйбышев, Луначарский

и несколько большевиков помогали ему в трудном деле руководства юной советской литературой. В день смерти Фрунзе я видела, как безутешно рыдал, спрятав мягкое лицо в ладони, Воронский. 1925 год принес нам много горя. Я встретила удрученного Александра Константиновича на похоронах Фурманова, Ларисы Рейснер и Есенина. Его большие губы растерянно вздрагивали. Он часто снимал очки, чтобы протереть мешавшие ему стекла.

Появление книг Воронского было всегда событием для нас и читали мы их залпом, как и его превосходные полемические статьи. Он открылся нам еще одной гранью — большого писателя, критика и публициста. Много лет я не видела Воронского. В последний раз мы оказались рядом на трибуне в день похорон Горького. Был душный день, небо от засухливого ветра посерело и жгло. Воронского я не сразу узнала. Он стал совершенно седым, но лицо странно помолодело и глаза смотрели отрешенно. Губы же казались еще добрее, умнее и печальнее.

— Один такой был и навсегда один такой останется, — сказал Александр Константинович о Горьком. Потом добавил: — А вы оказались мужественнее, чем я думал. Быть писателем, о Марксе писать — это мужество.

С надгробным словом Горькому в это время выступил Андрэ Жид.

— Еще с подошвы не отряхнет московской земли, как уже отречется от нас, — холодно и презрительно заметил Воронский.

Мимо нас дружески поклонившись, прошел Автем Веселый.

— Талантище! — сказал Воронский и добрым взглядом проводил автора «России, кровью умытой».

Мы так и не попрощались с Александром Константиновичем, толпа нас развела в разные концы площади. Тяжелый и незабываемый был тот день. До вечера я бродила по раскаленной Москве, смотрела на багровый и грозный закат. Тоску объяснила уходом Горького, вспоминала тех, кто, как и он, протянул мне некогда руку и помог взбираться по кручам роковой моей профессии литератора.

За несколько лет до Горького умер, укушенный сыпнотифозной вошью по пути из Москвы в Сибирь, замечательный человек и большой редактор Вячеслав Павлович Полонский.

Я узнала его, зайдя в середине двадцатых годов в редакцию «Печать и революция». Не без робости ждала я ответа, принята ли рецензия на понравившуюся мне книгу молодого прозаика Дроздова.

Первый, кто снял с меня понатянутую тяжесть беспокойства, был ответственный секретарь Черняк. Он умел разрушить любое напряжение. Отлично понимая душу молодого и растерянного автора, Черняк принимался сыпать словами, давая время пришедшему овладеть собой, собраться с мыслями. Так было и со мной. Подметив, что я преодолела застенчивость и колющее самолюбие, он повел меня в маленькую комнату, где из-за стола, на который как бы вывалили несколько корзин газет и

книг, встал нам навстречу высокий, широкоплечий, представительный человек с необычным продолговатым лицом, украшенным большим орлиным носом. Да и форма удлинённых его глаз была та же, как у царственных и гордых птиц.

Полонский заговорил уверенно, красиво-го тембра голосом, с той олагожелательностью и знанием моей незначительной и несовершенной статьи, о которых я и мечтать не смела. Но что может быть важнее, чем первые строки для молодого писателя, чем внимание к ним со стороны маститого специалиста. Такое не забывается до смерти. Только очень большой культуры люди понимают это, знают, что ростки творчества могут в дальнейшем дать всходы, которые, как мутация, окажутся новью в литературе. Но и просто воспитанные в чутком и уважительном отношении к другим литераторы не растопчут сапогом юной поросли.

Полонский был пронизательный психолог, многотребовательный человек. Такой редактор наиболее полезен журналу. Блестящий полемист, критик, исследователь, знаток Бакунина, он оказался умелым организатором. Никакой групповщины Полонский не признавал.

— Меня интересует не автор, а произведение, — часто повторял он и, подобно Горькому, давал рецензировать поступившие в «Новый мир» произведения, предварительно убрав фамилию автора.

Как-то он дал мне прочесть чью-то рукопись. Перевернув титул и последнюю страницу и не найдя имени писателя, я позвонила Полонскому.

— Кто написал эту повесть?

— Странный вопрос, разве это имеет значение для вашей оценки? Какова повесть, хотел бы я от вас услышать.

Однажды у нас дома Полонский на вопрос, как делается литературно-художественный журнал, ответил шуточно:

— Так же, как варится суп. Наливается вода, кладутся разные овощи: морковь, картошка, лук и прочее и, наконец, хороший кусок мяса для навару.

Если Полонский верил в творческие возможности писателя, он работал с ним как требовательный наставник, стараясь приобщить к знаниям, интересам, взглядам, которые необходимы каждому, кто своими книгами призван не столько развлекать, сколько учить, помогать, думать, решать, действовать, чувствовать.

Я написала, по мнению Полонского, подкупающую искренностью повесть «Роса». Прежде чем напечатать ее в «Новом мире», Полонский приехал к нам, чтобы тщательно проанализировать слабые и сильные стороны произведения. Так он поступал со всеми своими авторами, работая с ними, внося, что напряженный труд и самозабвение необходимы в литературном творчестве, как впрочем, и во всяком ином искусстве. Он требовал от писателей широкой эрудиции и высмеивал едко и точно всякую безвкусицу, узость мышления и невежество. Сам он был хороший знаток живописи, скульптуры и музыки, как и его жена, талантливая художница.

Полонский, подобно Тарле, блестяще владел мастерством разговора. Слушая его, я легко представляла себе Жореса и других прославленных трибунов. Находчивый остроумец, человек редкой памяти, он напоминал в полемике умелого и гибкого фехтовальщика. Приводимые им факты, обобщения, бывали столь неотразимы и убедительны, что для спора с ним нужна была отвага. Но секрет его критической мысли заключался в усвоении марксистской диалектики и в пылом боевом темпераменте. Полонский любил сражения и рыцарски бился до победы на многочисленных творческих поединках, которыми славились 20-е годы.

От Полонского впервые я узнала о колени-преклоненной исповеди Бакунина перед

Николаем I. Мое отношение к этому поведению всеразрушения, обычно по недостатку знаний воспринимаемому нами с детства, как личность цельную и чуть ли не героическую, изменилось.

Многим в литературе и истории обязана я беспокойному и оригинальному уму Полонского. Он был революционер мысли в высоком смысле слова. Немало человечески значимого дало мне общение с сложным и возвышенным Воронским и как неугасимый луч света остается в памяти моей образ талантливого Кострова.

Каждый из нас в той маленькой Вселенной, что умещается в нашем сердце, свято бережет свои светила. Три замечательных редактора—Костров, Воронский и Полонский—для меня яркое созвездие.

МОЯ ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

Немного на свете таких приветливых прекрасных мест, как Верховажье и Тотма. Покатые холмы, леса, не по-северному приветливые душистые луга, прозрачные веселые извилистые реки—все это первозданно и самобытно. Я дивилась тому, что суровый климат не смог наложить свою печать угрюмости и печали на окружающую природу. Она радовала сердце и будила надежды. Нравилась мне здешняя речь, не цокающая, как в Архангельской области, откуда я приехала в Вологодскую область.

Никто не говорил мне более: «Дохтурса, цаю не хочес ли? Водицки хочес?» И я не обращалась к встречному ребенку с просьбой: «Повопи-ка мамку-то».

За время жизни в Вельском районе в середине 40-х годов и работы в деревнях, я вполне освоилась с местным произношением, и меня не раз считали уроженкой этого лесного края. Вологодцы же, хотя и сильно окают, но говорят на среднерусском наречии.

Вельские жители недоверчивы, прижимисты, скуповаты, в Верховажье народ оказался мне добрым и гостеприимным. Два дня, проведенные мною у пасечников—супругов, удивительно напоминавших Афанасия Ивановича и Пульхерию Ивановну, умиротворили душу. Старикам было уже далеко за семьдесят. Их рассказы о пчелах не уступали поэтическим откровениям Метерлинка. Давно уже они не защищались от пчелиных укусов ни сетками, ни перчатками. Старики верили, что своим долговечием обязаны не только меду, но и пчелиному яду.

Рой встречал нас торжественным маршем, веселым согласным гудением. Маленькое королевство неутомимо трудилось.

Пасечник говорил:

— Нет мудрее бессловесной твари, нежели пчелы. Мал золотник да дорог. Читал я, что боги языческие питались нектаром и амброзией. Так ведь это и есть мед. Он очищает кровь и молодит тело. Вы пчел

не бойтесь. Они доброго человека чувят, а особенно—работающего и смирного.

Вечерами пасечник читал «Мифы древней Эллады» и «Жития святых» с одинаковым увлечением.

Старушка потчевала меня перед сном медом на блюдечке и испуганно поверяла шепотом, что старику в последнее время неможется. Просила советов и каких-либо порошков.

— Мы, почитай, пятьдесят лет живем уже вместе и детей у нас не было, так вот всю любовь-то друг на друга и возложили,—говорила она мне.

А едва она уходила, являлся старик со стаканом меда и советовался насчет старухи, у которой вот уже год не все ладно с головой, очень забывчива стала.

Вскоре душевно поздоровев, напутствуемая добрыми пожеланиями пасечников, я отправилась к косарям, расположившимся в деревне, километрах в 25 от Верховажья.

В глухом живописном селе, под холмом у самого леса, поселилась одна из трех бригад косцов.

Я устроилась у вдовы, болевшей раком. Зная о скорой смерти, она то истово молилась, то изощренно кляла бога. Детей и родных у нее не было, и целый день в нашей светелке толпились болтливые соседки и убогие калеки: горбунья, слепец и глухой однорукий старец.

Стены избы были с пола до потолка оклеены пожелтевшими газетами двадцатых годов. Над моей постелью висела литография, изображавшая все семейство Романовых за несколько лет до мировой войны. Старые ходики мерно отсчитывали время, и сквозь чуть пыльные фикусы едва пробивался свет в маленькое оконце. Мне доставляло неизъяснимое удовольствие перед сном при мерцающем свете лучины читать на своеобразных обоях сводки с фронтов гражданской войны, декреты рабоче-крестьянского правительства, подписанные Лениным, отрывки статей о соглашателях-

меньшевиках и о победах над белой армией.

Иногда в ногах моей постели усаживалась вдова-хозяйка. На исхудалом лице ее цвета необожженной глины навсегда застыла гримаса испуга.

— Рак у меня,—шептала она.—В наших краях раньше такой хвори не знали. От старости больше кончались. Я и сейчас не верю, что будто от рака этого умираю. Я так думаю, не от него, а потому что пора пришла. Двум-то смертям не бывать, а одной не миновать. От нее не укроешься, где-нибудь да споймает. А болезнь это так, повод один, да и все тут. Вот слепец говорит, нынче, когда люди железную дорогу построили, смерти за нами легче стало добираться. С нею и раки, и разные другие муки едут.—Вздохнув и пожевав сухими губами, она продолжала:—Хотела я эту самую дорогу посмотреть, сорок верст до нее ходу, да горбунья отговорила. Пошто идти, нечего смотреть, говорит, дорога-то и не железная вовсе, а так, одни деревяшки насланы да бруски.

В соседней избе безмужние бабы, собираясь под вечер в праздник, пили горькую. Они дивились, что я отказываюсь от угощения, не пью.

— Чего бережешься? Ты от работы, а хозяйка твоя от рака изойдете, а сивуха — лекарь.

Не часто случалось мне принимать в окрестных селениях роды. Не было мужчин, тосковали женщины. Обычно я ездил на вызов, оседлав тощую и длинную, как Россинант Дон-Кихота, трофейную лошадь, названную Фокусом. С ларем, в котором находились инструменты и лекарства, иногда с рассвета допоздна, объезжала я верхом стоянки косов и деревни, где не было медработников. Это были счастливые дни. Опустив поводья и высвободив ноги из стремени, я предоставляла Фокусу везти меня по безлюдным и нарядным лугам Вологодского края.

Я погружалась в прошлое, как в стога ароматного сена, встречавшегося на моем одиноком пути, и ловила себя на том, что говорю мысленно с теми, кого уже нет в живых. Хорошо было петь, присоединившись к хору птиц и букашек, и даже печаль не причиняла острой боли. К осени пошла я работать в больницу.

Там жили мы тихой, однообразной жизнью. Вечерами зажигали лучинки и копилки. Прошедшая война все еще давала себя знать в этой глуши. Для больных ставились в тамбуры отхожие ведра, а здоровые бегали за деревянные загородки над ямой. Мысли в полутемной бане с огромными бочками, в которых налита была холодная вода с плавающими льдинками. Из дымящегося чана черпали ведром и наливали в деревянные шайки кипятком. В Вологодской области мы мылись «по-черному» и нагревали воду раскаленными камнями. Больничная баня казалась нам роскошью, как в древности римские термы.

В дежурках лечебных корпусов по вечерам медработники играли в домино и шашки.

Один из них, бывший ротный фельдшер

Зайцев или Зайчик, как мы его звали, был прямодушный старик, всю жизнь скитавшийся по глухим углам Родины. Никогда не читывал он Пришвина, но его образный язык и рассказы о лесных чащобах, о деревьях, птицах и животных, напоминали мне лучшие страницы книг этого чудесного писателя.

Было в Зайчике что-то детское, и в характере, и в лице, широком, без морщин. Несмотря на то, что он перешагнул за пятьдесят, глаза его сохранили выражение неведения и чистоты, а бесхарактерные толстые губы всегда складывались в добрую улыбку. Никогда он не сердился, герпеливо переносил придирки больных, искал возможности помочь товарищу. Однажды он пришел ко мне крайне взволнованный и протянул письмо. Писал ему сын из госпиталя.

«Я умираю, папаша. Медицина бессильна исцелить меня. Умираю от немецкой пули, засевшей в позвоночнике. Был ты мне хорошим отцом и всегда честным человеком. Я верю в это теперь и всегда верил, да вот, позабыл я такого отца. Годами не отзывался. Теперь смертью искупаю. Не поминай духом своего сына Сергея Зайцева».

— Вот и весь сказ,—добавил Зайчик и разрыдался. Была у него также дочка Наташка.

— Ей уже двенадцать, в школе учится,—рассказывал нам Зайчик с нескрываемой гордостью. Наташка, когда несколько лет назад отец нашел семью, бежавшую от немцев в далекий тыл, ответила ему самостоятельно написанным большими каракулями, письмом. Я не раз перечитывала эти строчки: «Здравствуй, папочка,—писала девочка.—Я тоже люблю клены, воробушков и всяких птиц. У меня в ведре живут карась и карасиха. Приезжай скорее».

Заходя ко мне в корпус, Зайчик делился своими мыслями о будущем. Скоро он собирался к семье.

— Жить буду, конечно, до самой смерти с Наташкой и старухой и опять же где-нибудь в глуши, в деревне. Мое дело облегчать людям физические страдания. Опытный фельдшер — правая рука врача. Будем мы с Наташкой по грибы и ягоды ходить, но птиц и зверя больше бить не буду. Упаси бог. Я теперь цену жизни познал. Пусть себе живут, всякое дыхание славит господа, так-то.

Однажды утром Зайчик зашел ко мне в неурочное время.

— Умру я,—сказал он твердо.

— Нет,—ответила я.—С чего только вы это взяли?

— Сон ли, видение ли мне было, а чудится, еле мы с вами на лодке. Берег в цветущих деревьях. Подъехали к нему близко, и вы вдруг выпрыгнули, а я остался, лодку мою от берега отнесло.

— Глупости, видно, расшалились нервы у вас, да и каша гороховая на ужин тяжела,—засмеялся я.

На следующий день, играя в шашки, Зайчик медленно сполз со стула на пол. Лицо его побягровело, распухло, сознание исчезло. Два дня все мы тщетно пытались ослабить отчаянные хрипы, вырывавшиеся

из его груди, привести умирающего в сознание. Так и не удалось. Скончался Зайцев от кровоизлияния в мозг. Смерть его всех нас жестоко поразила. У гроба старшего фельдшера я горько плакала.

На убогих дорогах повезли сосновые, неоструганные гробы в лес и зарыли Зайцева на опушке под деревом. Сообщили жене и Нагашке, чтобы не ждали больше мужа и отца.

Автоматически двигалась я в те годы по жизни, стараясь никогда, кроме часов для сна, не оставаться без дела.

Вскоре неожиданно в Княж-Погосте встретила я Аннушку Берзинь, вдову Бруно Ясенского. Была она все та же очень полная блондинка, точь-в-точь красавица купчиха с полотен Кустодиева. Когда-то мы с ней и ее мужем часто встречались и состояли в одной партийной организации. Благодаря Берзинь я поступила на работу в «Помощь на дому» одного из медицинских отделений Печерской дороги.

Днем и ночью по непролазной грязи ходила я по пустырям Княж-Погоста в бараки и домишки строителей и железнодорожников. Более угрюмого и нелепо расположенного человеческого становища, нежели Княж-Погост в те годы, нельзя себе было представить. Точно ребенок, играя, раскидал кубики, которые кой-где сгрудились в кучу, а то далеко разлетелись по сторонам, образовав дома. И только огромное, похожее на сундук, здание Горного управления казалось примечательным в этом городке, поднявшемся на погосте, где схоронен некий опальный князь, умерший от тоски и лихорадки по пути в цареву ссылку.

Работала я усердно и вскоре получила назначение начальником-врачом (на военном транспорте—все начальники) вновь создаваемых детских яслей Северо-Печерской железной дороги.

Один из самых могучих двигателей на земле — это голод по творческому труду. Я испытала его в полной мере и с обычной для тех лет горячностью вместе с несколькими простыми женщинами, набросилась на созидательную работу.

В день, когда мы, двенадцать служащих, пришли в дом, строящийся под ясли, столы и шпатель осыпали его. Нам, бу-

дущим врачам, воспитательницам и няням, предстояло побелить дом, вымыть его, обставить и принять маленьких детей. И мы взялись за дело с тем вдохновением и радостью, которые всегда служат залогом успеха. Мы привезли мебель, сделанную в соседних столярных мастерских. Художники трудились вместе с нами. Нет ничего невозможного для людей, целеустремленных и захваченных трудом. Всем нам страстно хотелось создать среди чахлого леса и болот, в глухомани, куда кинула нас судьба, маленькое чудо, способное осветить людям жизнь, как столь редкое в этом крае солнце.

Для большинства из нас детский очаг, что мы создавали, стал как бы смыслом бытия, родным домом, к которому всегда неслись наши мысли.

Вот случайно уцелевшие записки тех дней.

«8-е августа 1947 года.

За окном три бураково-красных вагонов, того же цвета кирпичные дома, серые пни, раскидавшие по земле шупальцы спрута, а ребо, как серая тряпка с оборванными краями. Жидкие ветки хилых сосен на горизонте да гнилостный запах болот. Таков Микунь! Где-то наступило уже лето. Об этом твердят календари. Здесь же холодно и сыро.

Слушаю часто музыку по радио. Читала о влиянии звуков на человека. Они способны толкнуть на преступление, вызвать милосердие, буйство, умиротворение. Для меня музыка как запах. Она поднимает из недр полусознания, с полочек памяти забытое. Звуки, будто вода, размывают душу и в поднимавшемся со дна песке появляются чистые песчинки золота. Я думала—нет его во мне. Мелодии Скрябина, Шопена, Шумана, симфонии Калинникова, Чайковского, Берлиоза зовут к жизни, к любви, к счастью.

Я посвящаю эти записки моей матери. Когда мы были вместе, в сердце росла зеленая поросль, а за последние годы точно злые копыта вытоптали все и микуньский пеня напротив моего окна, как порченый больной зуб, горчит прямо в моем сердце».

Судьба, однако, порадовала меня ненадолго и вскоре я оказалась среди родных, в доме матери моей в Семипалатинске.

В ДЖАМБУЛЕ

Могила матери была на высоком холме, на неухоженном отдаленном кладбище. Весной алые маки покрывали надгробные насыпи. Иссиня-яркое небо да снежные вершины гор украшали этот погруженный в тишину приют мертвых. Внизу зеленым ковром казались густые сады Джамбула.

Много часов провела я подле праха моей матери. На пыльной проселочной дороге нашла обломок старого рельса и мы с дочерью Таней вбили его в изголовья могилы и прикрепили деревянную дощечку с над-

писью. Если бы скорбь и любовь могли превратиться в мрамор, он покрыл бы стелю эту священную для меня землю.

Наш домик совсем обветшал, соломенная крыша сильно прохудилась и во время дождя приходилось ставить на полу корыто, которое быстро наполнялось водой.

Наступила зима 1956 года и нужно было запастись углем. Мы не имели сносной одежды и обуви.

В горьдразе мне предложили поехать на работу в дальний аул на медицинский

пункт. Но там не было русской школы, а Тане следовало учиться и нагонять упущенное.

Девочка моя была дика, подозрительна, болезненна. Наиболее счастливым воспоминанием, которым она со мной поделилась, было ее пребывание в инфекционном изоляторе, куда она попала, заболев дизентерией.

— Как там было красиво, вы, наверное, никогда такого дома не видавали,— рассказывала моя дочь, долго обращавшаяся ко мне на вы.— На кроватях — белые простыни и пододеяльники. И кормят досьта! Я даже получала каждый день кисель. Не хотелось мне уходить оттуда! Но только десять дней я пробыла там и очень горевала, когда мне велели идти домой.

Как-то ночью, когда мы лежали, тесно прижавшись друг к другу под моей телогрейкой и смотрели на звезды, Таня сказала тихо:

— Кажется, я буду вас любить. А думаю, что у меня уже нет больше сердца.

На наше счастье, перед самой своей смертью, мама выиграла по займу несколько сот рублей. Деньги эти спасли нас.

Чтобы предельно экономить, мы разрыли заброшенную яму, куда в пору жизни моей матери выбрасывались отслужившие вещи, и отыскали в земле клад, состоявший из поломанных, но все еще годных к употреблению ложек, вилок, кастрюль.

Позднее я купила дочери первую в жизни школьную форму, ботинки, новые учебники и принялась лечить ее от детского туберкулеза, нажитого в трудные годы. Все мое время уходило на домашнее хозяйство, стирку и стряпню. Чтобы заработать хоть немного, я делала впрыскивания больным на дому и получила за это буханку хлеба, ведро угля и отрез ситца на детское платье.

В конуре подле нашего дома жила старая собака Лютра. Она добывала пропитание, главным образом, ворую кости в мясных лавках на базаре, и они валялись повсюду на дорожках нашего маленького сада. Нередко Лютру жестоко избивали за хищения и она хромала.

Несмотря на нашу бедность, Лютра оставалась верна своей любви к моей семье. Если бы она могла кормить Таню, добывая для нее мясо с риском для жизни, то делала бы это несомненно. Не раз она приносила обедки, клала их у моих ног и, глядя своими усталыми старческими человеческими глазами, как бы говорила:

— Ешь, пожалуйста, не брезгуй.

Вскоре к большой моей печали, Лютра заболела раком. В это время у нас были уже деньги и я варила ей бульон, доставала молоко, которых она никогда раньше не пробовала.

Но Лютра уже не могла есть.

На протяжении всей жизни у меня были многочисленные преданные четвероногие друзья. Родители позарили мне фокстерьера, когда я была совсем еще маленькой, желая, очевидно, не только смягчить, очеловечить мою душу, но и развить чувство ответственности. Пес зависел от меня и это

накладывало серьезные обязательства и подавляло эгоизм. У собаки я училась дружбе, неподкупности и верности.

В начале 30-х годов в Лондоне Илья Эренбург подсказал мне, какой породы купить себе пса. По его совету, мы приобрели шотландского терьера Будласа или Булька. Французы говорят, что на свете есть только одна безусловно надежная любовь, за которую однако платят,— это чувство собаки к своему хозяину.

Булька убедил меня в том, что и в человеческом сердце живет извечная атавистическая привязанность к домашним животным.

Он безошибочно угадывал все, что происходит в моем доме и удивительно тактично вел себя со всеми, зная, когда надо принести мяч и требовать игры, а когда приласкаться или тихонько улечься поблизости. В его вынужденном молчании было больше слов, чем в болтовне иного двуногого. Он был не только психолог, но и знаток людей и мы часто недоумевали, находя подтверждение его нерасположения к кому-либо. Когда бы я ни возвращалась домой, Булька ждал меня. Как долго, вероятно, для него тянулись часы. Ведь собачье время столь не совпадает с нашим. Они живут в четыре, пять раз короче и каждая человеческая минута для них мучительно длинна. Она — весьма заметный отрезок жизни. В радости и горе Булька был неутомим, неистов. Эмоции также его убивали.

Вскоре горе обрушилось и на него с разрушающей силой. Всегда спокойный, жизнерадостный пес совершенно изменился в трагический 1936 год, ставший переломным для меня и для всех моих близких. Задолго до рокового июля, Булька начал беспричинно выть и отказываться от пищи. Ветеринары так и не смогли объяснить нам причины его тревоги. Он не был болен, но предчувствовал нечто, о чем мы не подозревали. Я тщетно пыталась успокоить отчаянно рыдавшую собаку. А затем я ушла на много лет из нашего дома. Булька, по рассказам моей матери и дочерей, затих. Он совершенно поседел.

Шотландские терьеры чрезвычайно умны и чувствительны. В Шотландии они одни пасут огромные стада. Чтобы воспитать такого пастуха, его сразу же после рождения отдают на выкорм овце. Щенок растет среди тех, с кем будет позже бродить по отдаленным пастбищам, отлично зная каждого из своих питомцев.

Через десять лет я ненадолго вернулась в свою семью и мать сообщила мне заключение Бульки в Семипалатинске. Однажды его уворовали цыгане, которым, очевидно, понравилась необыкновенная собака, похожая на доисторического, густо обросшего человека, с квадратной седой бородой, с горящими пронизательными глазами. Маленький, ширококостный Булька был необыкновенно силен и без труда впрягся в сани, часто возил мою младшую девочку по заснеженным улицам.

Спустя две недели после похищения цыганами, Булька с куском веревки на шее, больной, хромающий, прибежал назад. Его обласкали, вылечили, но никто так не мог

уже вернуть собаке ее прежней беспечности. Булька болезненно тосковал по тем, кого любил и потерял.

В 1939 году на глазах моей матери Булька задавил грузовик. От меня это скрывали много лет.

Собакам нужнее всего любовь и они остаются с нами в беде.

Таня, я и умирающая дворняжка Лютра жили в Джамбуле в полном уединении, ожидая чуда. И чудо свершилось.

Наступил февраль 1956 года. Шел густой снег. Было холодно и вместе с тем пронизывающе сыро. Тогда мы решили свалить большое грушевое дерево и принялись за это спозаранку. Груша с протяжным стоном рухнула на талый снег.

— Теперь мы уже никогда не попробуем таких вкусных фруктов. Бабушка говорила, что это дюшес,— сказала с сожалением Таня и добавила, чтоб утешиться:— Зато у нас есть настоящие дрова, не хуже саксаула.

Вечером, когда дочь была еще в школе, я написала письмо, адресовав его в президиум Двадцатого съезда. Это была та единственная правда, которая дает силы жить и умереть.

Но как было отправить эту заветную, самую значительную из всех, что писала я за все годы, исповель? Старый пенсионер доставил пакет на соседнюю железнодорожную станцию, где опустил его в почтовый ящик экспресса, идущего из Алма-Аты в Москву.

Двадцать пятого февраля день начался безрадостно. Последние поленья догорали в печи. Болело сердце и я не могла встать с постели. Внезапно в дом наш вбежала соседка, а за ней девушка — посыльная с почты.

— Скорее, скорее, вас вызывают на телефонную станцию. Москва требует,— наперебой кричали они.

Кто-то помог мне обуть валенки и протянул свой тулуп и платок.

В сопровождении нескольких женщин, ведя за руку пугливую Таню, я вышла за ворота.

— Серебрячиху к телефону из Москвы,— оповещали встречных мои спутницы, и мы двигались уже толпой по улицам Джамбула навстречу возрождению.

Силы мои были уже на пределе и дух содрогнулся перед бытием, когда кто-то вспомнил обо мне, всеми забытой и отверженной.

Мы шли гурьбой к телефонной станции.

В этот удивительный день я говорила с московскими товарищами. Впервые, после почти двадцати лет, обо мне подумали, позаботились, ободряли. Вернувшись домой и обжившись с мыслью о возможном счастье, я вышла на улицу с ведрами и направилась к водопроводной колонке, чтобы запастись водой. Навстречу мне шла в густом сером пуху льинка, неуклюжая, молодая овчарка. Внезапно она доверчиво вста-

ла на задние лапы и уперлась передними в мою телогрейку. Я погладила серо-коричневую морду и заговорила с ней. С той минуты собака более не отставала от меня.

Мы с Таней накормили ее, но и после этого она не ушла из дома.

— Что ж, оставайся,— сказала я и отвела ей место у печки. Долго мы подбирали собаке, оказавшейся самцом, имя и решили назвать Ренессансом, сокращенно—Ренсом. Четвероногий друг вошел в нашу жизнь в день, когда мне сообщили о близящейся реабилитации.

У всякой собаки—своя судьба, часто горестная и сложная. Так было и с моим Ренсом. Он познал немало бед прежде чем он, после многих приключений, уже неожиданный и считавшийся потерянном, в 1962 году снова очутился у меня. Его преданность была беспрдельна и о нем сложится особый рассказ.

В 1956 году Ренс находился со мной в Джамбуле. Стоял удивительно жаркий августовский день. Я надела лучшее из двух имеющихся у меня платьев, штапельное, синее и уселась подле клумбы с буйноразросшимися лохматыми настурциями, ожидая часа, когда следовало пойти на заседание бюро Джамбулского обкома. Там должна была решаться моя судьба—быть или не быть мне партийным коммунистом.

Сильное беспокойство завихряло мысли. Как по взбаламученному морю, неслись они странные, отрывистые, а то и несуразные. У ног моих пылали настурции бурыми и красными солнечными лучи. Маленькие солнца на Земле. Все вокруг было в золоте и пурпуре.

Я попыталась мысленно приблизить день, когда в 1919 году в 13-й Красной Армии, меня приняли в ряды ВКП(б). Председателем приемной комиссии был обоготный, с виду крайне усталый, но энергичный, веселый старый большевик Магидов. Его прозвище было «Борода». Меня всегда удивляло, с какой тщательностью он сам нашивал все новые и новые заплатки на свою выцветшую гимнастерку. Поблескивая темными глазами, Магидов сказал, поздравляя меня:

— Помни, Галина, кому много дано, с того много и спросится.

Как давно это было. Я заглядываясь на цветы и вдруг среди зелено-коричневой резеды увидела маленькие, поникшие, как бы увядшие стебельки. Это была маттиола. Только в сумерки откроются ее лиловые скромные соцветия, издавая прайный, особенный аромат. Не знаю почему, слезы потекли из моих глаз, от счастья ли рожденья или от грусти, что мать моя не покидала до этого дня. А раскаленный ветер, будто африканское сирокко, шевелил, пригибал, зеленые зонтики-листья настурции и они открылись еще более пестрые, горячие, рдеющие. Точно сон солнечных лучей. Времени едва шевелилось и мучило мнительностью. В окно я следила за неважно шагающими в керосиновой лавке ходяками, на синем циферблате которых швейцарские мелведи взбирались на ствол позавленной сосны.

С узкой холодной речки Джамбулка, с купания, вернулась Таня. Мы принялись

разжигать керогаз и чистить овощи для борща.

— Возьмут тебя назад в партию?—допытывалась дочь.

Стрелка часов, дернувшись, добралась к половине третьего. Наконец-то!

На городских улицах было безлюдно. Температура в тени достигала 36 выше нуля. Обмахиваясь пышной веткой жудды, потная, внутренне заторможенная, я добралась до каменного здания обкома. Заседание бюро уже началось. В приемной нас, реабилитированных, собралось человека четыре. Все, как и я, жестоко волновались и молчали. Страшась думать о возможном счастье, я пыталась подготовить себя к любой неожиданности. Двадцать лет страданий не прошли даром. Столько горя рубцами легло на сердце.

«Будь готова к печали, не располагай на хорошее,—нашептывал в мозгу коварный голос опыта,—не твоя это доля. Кто-нибудь да замахнется отравленным ложью клинком, попытается убить тебя, развевать твои справедливые надежды».

Вдруг дверь открылась и меня окликнули. Настал долгожданный черед, сблизись сроки.

Тяжело переставляя ноги, вошла я в длинный зал с окнами на улицу. Села у белой прохладной стены и замерла. Десять три различных глаз напряженно всматривались в меня. Секретарь обкома встал и начал одной рукой, другая — протез бесильно висел вдоль тела, перебирать различные бумаги и оглашать их. Он перечислял обвинения, выдвинутые против меня, одно чудовищнее другого. Не все из них я

знала. Клевета, могучая, как цианистый калий и печи Бухенвальда!

«И все это обо мне,—стучало в моих висках.—А что, если эти люди тоже поверят?»

Секретарь обкома опровергал одну за другой ложь и она сгорала дотла на чистом огне фактов, истины.

Так меня восстановили в партии.

— Стаж ваш шел. Вы оставались коммунистом,—сказал мне секретарь обкома.

В учетной карточке, такой необычной и значительной, нашли свое отражение все минувшие двадцать лет.

— А сейчас вам надо полечиться, обратиться с силами,—говорили мне окружающие.

С ураганным сердцебиением, все время испуганно проверяя, не потеряла ли справку о реабилитации, я побежала из обкома на расположенный рядом пустырь. Когда-то тут было старинное кладбище. Ноги то и дело оступались об остатки каменных плит. Оглянувшись вокруг и не видя никого, я опустилась на чужую землю.

— Дожила!

Не то казалось мне удивительным, что я оправдана. Я всегда твердо верила в неизбежность этого, но дожить самой!..

Невероятно, сказочно!

Солнце, как гигантская настурция, стояло в зените. Жизнь начиналась заново. Это было подлинным воскресением. Я улыбалась всем встречавшимся людям и даже самые хмурые отвечали мне тем же. Счастливый человек готов излучать добро на все живущее.

Техн. редактор И. Нечаев.

Корректор З. Александрова.

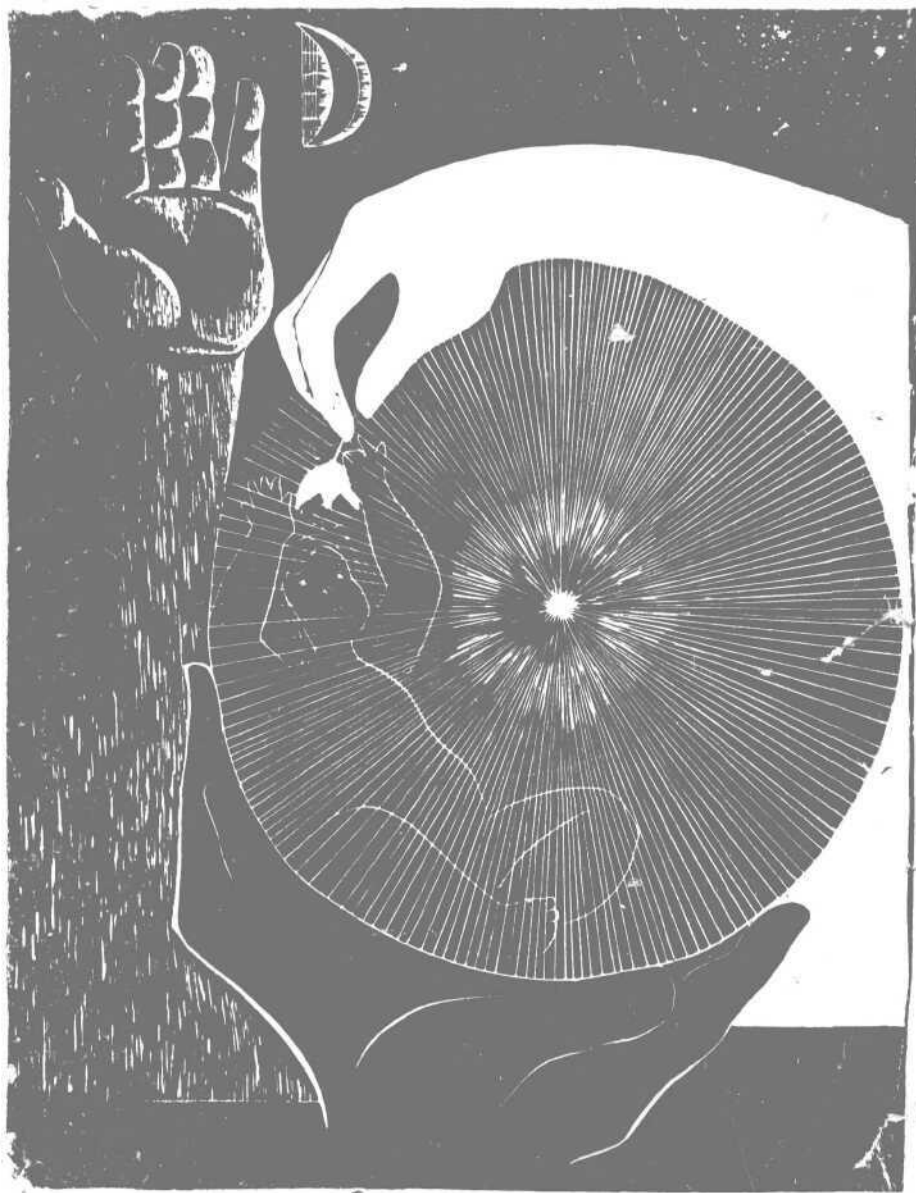
Подписано к печати 1/II-1968 г. Тираж 12.029 экз., 1 вклейка. Заказ 1947
Формат бумаги 70×108, п. л. 10 (13,7). Н-00318.

Адрес редакции: Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 20. Тел. 28-82, 26-91, 23-36.

Типография Управления по печати при Совете Министров БурАССР.



В. КАРАМЗИН. Сибирский пейзаж (линогравюра).



А. МУНХАЛОВ, «Счастье людское» (линогравюра).
I стр. обложки — В. КАРАМЗИН, «Землю свою отстоим» (линогравюра).